

Август Шеноа

Крестьянское восстание



Август Шеноа

Крестьянское восстание

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172940

Аннотация

«Было после полудня конца февраля, лета господня 1564. Снег на горах уже растаял от живительных лучей солнца, и набухшая от притока горных вод река Сава неслась все стремительнее, широко разлившись по равнине у замка Сусед. В небольшой комнате замка, у высокого окна, сидела пожилая, но крепкая еще женщина, вся в черном. Если б ее светлые седеющие волосы не были зачесаны по обе стороны высокого выпуклого лба, то можно было бы подумать, что перед нами голова мужчины: большое лицо с тяжелой челюстью, длинный, загнутый книзу нос, широкий рот с бледными тонкими губами...»

Содержание

1	5
2	23
3	39
4	60
5	83
6	96
7	120
8	126
9	135
10	154
11	173
12	188
13	202
14	213
15	222
16	226
17	235
18	244
19	253
20	262
21	275
22	280
23	288

24	294
25	304
26	311
27	316
28	324
29	336
30	344
31	352
32	356
33	375
34	388
35	394
36	416
37	425
38	433
39	443
40	449
41	455
42	460
43	463
44	470
45	474
Пояснительный словарь	476

Август Шеноа

Крестьянское восстание

1

Было после полудня конца февраля, лета господня 1564. Снег на горах уже растаял от живительных лучей солнца, и набухшая от притока горных вод река Сава неслась все стремительнее, широко разлившись по равнине у замка Сусед. В небольшой комнате замка, у высокого окна, сидела пожилая, но крепкая еще женщина, вся в черном. Если б ее светлые седеющие волосы не были зачесаны по обе стороны высокого выпуклого лба, то можно было бы подумать, что перед нами голова мужчины: большое лицо с тяжелой челюстью, длинный, загнутый книзу нос, широкий рот с бледными тонкими губами. Из-под густых сросшихся рыжих бровей глядели на мир бледно-голубые глаза с загадочным, почти угрюмым выражением. Напрасно было стараться прочесть в них, какие чувства владеют сердцем этой женщины и какие мысли зарождаются в ее голове. Морщины на щеках, около глаз и рта говорили о том, что в ее сердце боролись сильные страсти. Но теперь она была спокойна, словно каменное изваяние, и на ее строгом лице не было видно никакой женской мягкости, оно выражало лишь твердую, непоколебимую во-

лю, сильный дух и неодолимую решимость. Эта крепкая высокая женщина была одета в черное суконное платье со сборками, отделанное черным шелком. Вокруг пояса была обвита массивная серебряная цепочка, на которой висела связка больших ключей. Сухие, жесткие пальцы женщины покоились на серебряной шкатулке, стоявшей перед ней на столике. Взгляд ее то останавливался на голом лесе и затопленной Равнине перед замком, то на шкатулке. По временам губы ее вздрагивали от горькой усмешки и пальцы еще крепче сжимали шкатулку; тогда она делалась похожей на львицу, оберегающую своих детенышей. Вошедший в высокую дверь слуга вывел ее наконец из состояния оцепенения. Женщина слегка повернула голову и спросила хриплым голосом:

– Что тебе, Иво?

– Простите, благородная госпожа, – ответил смиренно слуга, – к нашему замку подъехал верховой, говорит как мадьяр, по виду дворянин.

– Как его зовут? Откуда едет?

– Этого он мне не сказал, а только велел доложить о себе вашей милости. Он должен предстать перед вами и переговорить о важных делах.

– Мадьяр? Дворянин? Переговорить со мной о важных делах? Посмотрим, какие хорошие вести привез этот мадьяр! Скажи ему, что он может войти. Да, погоди, поставь его коня под крышу и дай ему вволю овса и сена, чтоб этот мадьяр не жаловался на хорватских господ. Ступай!

Слуга, поклонившись, вышел, и через несколько минут по каменному полу комнаты зазвенели шпоры неизвестного гостя. Вошел высокий сухой человек с маленькой бритой головой и узким бородатым лицом. Под длинным коричневым плащом виднелся синий суконный кафтан, застегнутый на груди круглыми серебряными пряжками. Левая рука его была под плащом, а в правой он держал меховую шапку.

– Слава Иисусу и Марии, благородная госпожа! – сказал мадьяр, кланяясь порывисто и смело.

Женщина смерила его взглядом с головы до ног и через минуту спокойно ответила:

– Во веки веков, аминь! Кто вы такой? Из каких краев? С какой вестью?

– Я Михайло Палфи, венгерский дворянин, слуга вашей милости. На мою долю выпало счастье привезти привет и поклон, которые мой уважаемый господин, вельможный князь Андрия Баторий, королевский судья, посылает своей благородной родственнице, Уршуле Хенинг.

– Ну, ну! Спасибо ему, спасибо, – проговорила Уршула с усмешкой. – Вот как мой милый родственник хорошо меня помнит! Доброе он сделал дело. Садитесь, господин Палфи: положите плащ и шапку. Я вижу, вы очень устали после дальней дороги.

Приезжий исполнил ее просьбу, а потом сказал:

– Мой вельможный господин приказал мне прежде всего передать вашей милости, что сердце его сжалось от боли,

когда смерть похитила его дорогого родственника, а вашего достойного супруга, господина Андрию Хенинга.

– Как же господин королевский судья милостив ко мне, бедной вдове! Обремененный столькими важными делами, да еще в такое тяжелое время, он не позабыл меня. Да, да. В прошлом году, в восемнадцатый день октября, мой уважаемый супруг Андрия покинул этот мир и меня бедную, причем в самую тяжелую минуту. Значит, благородное сердце моего милого родственника и посейчас еще скорбит! Добрая душа, спасибо ему! Но, скажите мне, *egregie ac nobilis domine*,¹ неужели вы совершил столь дальний путь только для того, чтоб передать мне слезное соболезнование вашего господина? Не говорил ли он вам что-нибудь и о других делах?

– Да, ваша милость, господин королевский судья послал меня по делу о замках Сусед и Верхняя Стубица, дабы постараться лучше наладить общее владение.

– Вот как, мне очень приятно, что господин Андрия опомнился; правда, поздновато, но и то хорошо. Как только я схоронила покойного мужа, я написала Андрию Баторию письмо, прося его помощи, так как он нам родня, а Сусед и Стубица общее владение моей и его семьи; после этого я писала ему еще раз десять, но никогда не получала никакого ответа. А вместо помощи он послал мне помеху в лице своего управляющего Джуро Всесвятского, который, по совести

¹ Уважаемый и благородный господин (*лат.*).

говоря, должен был бы именоваться Вседьявольским. Этот сливар, у которого не найдется и двух пар волов, обнаглел только потому, что его брат Стипо – каноник в Загребе; заважничал так, как будто ему принадлежат и замки Зринских и герб Франко-панов. Он попал в Сусед, как муха в молоко, ведет себя, как барин, ставит мне палки в колеса, ворует у меня под носом, как будто все имение принадлежит Баторию, а я и мои бедные дети живем здесь из милости, получая лишь стол и квартиру.

– Простите, ваша милость, – проговорил несколько взволнованно мадьяр, которому эта отповедь была вовсе не по душе.

– Дайте мне докончить, господин Палфи, – резко прервала его госпожа Уршула. – Вы должны сперва все выслушать, а потом только судить. Говорю вам, господин Всесвятский – сущий разбойник, таковы же и оба его верные помощники – Янко Хорват и Никола Голубич. в замок то и дело приходят крестьяне жаловаться. Эти дьяволы с ружьями и саблями налетают на мирных крестьян и грабят без разбора. У одного моего кмета в Крапине они разрушили мельницу, у другого, из Яковля, увезли весь хлеб, а в селе Трговине, что под самым Суседом, Всесвятский увел у старшины двух лучших коров. Когда я его призвала к ответу и сказала, что буду действовать силой, он только усмехнулся, говоря, что не боится старухи и что в замке господами являются Батории. Потом он собрал все ружья, пушки и порох и запер все на ключ, хо-

тя это оружие общее. Весь доход с имения должен делиться поровну, но Всесвятский меня обманывает и на хлебе, и на сене, и на вине, а когда я ему делаю замечания, он со смехом кричит, что на него нет ни суда, ни закона, потому что его господин – верховный судья, которому бабьи речи не страшны.

– Но поверьте, ваша милость, – перебил ее мадьяр, – все это происходило не по воле моего вельможного господина.

– Неправда, господин Палфи, – воскликнула женщина, и глаза ее засверкали, – неправда! Я же вам сказала, что обо всем подробно написала моему родственнику Андрии, а он мне ни слова не ответил. А этот безбожный Всесвятский показал мне письмо Батория, в котором тот его хвалит и просит не обращать на меня внимания. А? Что вы на это скажете, благородный посланец? – воскликнула Уршула и быстро поднялась, окинув мадьяра таким взглядом, что тот потупил глаза и смущенно промолчал.

Стоя перед ним, она продолжала взволнованным голосом:

– Честному человеку нетрудно иметь со мной дело, но если кто строит козни за моей спиной, я забываю, что я женщина. А воля у меня сильная; сильнее, чем у господина Батория, хоть он и первый судья на венгерской земле. Уже свыше ста лет Хенинги сидят в Суседе и Стубице, свыше ста лет они здесь хозяева. Взгляните на этот женский портрет, что висит над камином: это несчастная Дора из старинного хорватского рода Арландов; она вышла за Андрию Хенинга Пер-

вого в принесла своему потомству замок Сусед и Стубицу, а ее внучка, Ката, мать моего мужа, вышла за господина Тойфенбаха, к которому перешла фамилия и имение Хенингов. Мой покойный муж и я достаточно намучились и потратились для того, чтобы вырвать Сусед и Стубицу из рук вельможных разбойников, которые обманом выклянчили у нового короля Фердинанда дарственную запись. Нам удалось выгнать из родовых владений и непрошеного гостя – испанца дон Педро де Лаза, и могущественного епископа Шимуна Эрдеди, и лютеранского барона Ивана Унгнада, и генерала Кациянара; когда князь Никола Зринский поделом снес этому изменнику голову, то все имение захватила королевская казна, и нам с трудом удалось вырвать из ее когтей Сусед и Стубицу, а Желин пришлось оставить в руках этого разбойника Бакача. Сколько мучений мы испытали, какие убытки потерпели! Выносила я семерых детей под сердцем, потеряла единственного сына, потеряла мужа, а из шести дочерей только троих выдала, замуж, несчастная я вдова. И вот теперь на наше старое гнездо налетел ястреб и хочет выбросить меня, бедную кукушку. И кто же? Мой родственник, верховный судья венгерского королевства Андрия Баторий! Горе стране, где правосудие находится в таких руках! Напишите же вашему господину, что его расчеты плохи, напишите ему, что у старой Хенинг голова крепкая, что она хорошо изучила свои права, которые хранятся вот в этой серебряной шкапулке, что она не хуже любого прокурора знает все ваши ла-

тинские извороты и что вам не удастся ее провести. Скажите ему, что у меня храбрые зятья Михайло Коньский, Мато Керечен и Степко Грегорианец, сын подбана Амброза. Так что, если у Батория, занятого борьбой с турками, найдется еще время, чтоб вступить в бой с женщиной, то придется и Уршуле пальнуть из пушки по этим несправедливым весам Фемиды, как подобает дочери Мекницера, пограничного воеводы. Но чего мы тут препираемся? Я уже в прошлом году подала две жалобы. Одну, в день святого Мартина, подал мои зять Михайло Коньский бану Петару Эрдеди – на Баториев, а другую, на Джуро Всесвятского, я послала лично, в день святой Елизаветы, его королевскому величеству в Пожун. Король приказал расследовать дело. Пусть сначала прозвучит голос суда, а потом уж, если потребуется, и голос ружей.

Благородный господин Палфи был поражен словесным потоком, вылившимся на его голову из уст старой Хенинг. Озадаченный, смотрел он на эту странную женщину, которая с Раскрасневшимся лицом и сверкающими глазами быстро шагала взад и вперед по комнате, где теперь слышался лишь стук ее каблуков о каменный пол да ее тяжелое, сердитое дыхание. Но вскоре мадьяр опомнился.

– Ваша милость, – начал он кротко, – я очень сожалею, что невольно стал причиной вашего гнева. Вы женщина почтенная, вдова, вы – мать. Вы страдаете от несправедливости, и это понятно. Вы сказали много дельных, веских слов, упомянули ряд причиненных вам обид, и я, понимая ваш благород-

ный гнев, не сомневаюсь в ваших доводах. Мой уважаемый господин подробно объяснил мне, кто имеет право на Сусед и Стубицу и откуда эти права происходят. Хотя все несправедливости, выпавшие на вашу долю, произошли не по вине моего вельможного господина, а в гораздо большей мере являются следствием того беспорядка, который возник в королевстве и в Венгрии после несчастного поражения при Мохаче, – тем не менее господин королевский судья признает и сожалеет, что и он до некоторой степени виноват. Правда, не столько по злему умыслу, сколько в силу жестокости нашего развращенного века и неправильных действий недобросовестных чиновников. Он об этом сожалеет и имеет твердое намерение все исправить. Я, таким образом, являюсь посланцем мира и прошу вас, благородная госпожа, выслушать меня спокойно.

Палфи умолк, ожидая, что ответит Уршула.

– Говорите быстрее и короче! – ответила она, даже не обернувшись к посланцу, и, скрестив руки, устремила взгляд в окно на равнину.

Магьяр продолжал:

– Владение, о котором идет речь, то есть Сусед и Верхняя Стубица, велико и плодородно. Оно простирается от села Стеневец до самой границы Штирии на Сутле и от Ступника до Бистрицы. Тут есть и пахотные земли, и луга, и виноградники, и леса, и пастбища, и хутора, и мельницы, и два укрепленных замка, и много крепких, работающих кметов.

Неудивительно поэтому, что многие зарились на него, хотя нет никакого сомнения в том, кто имеет на него право. Оно по наследству принадлежит пополам семействам Хенингов и Баториев, потому что и покойная госпожа Ката, мать господина королевского судьи, была по женской линии из рода Хенингов. Это неоспоримое право было, как вы сами сказали, грубо нарушено в то несчастное время, когда Фердинанд Габсбургский и Иван Запойяи боролись за венгерскую корону да вдобавок и турок опустошал эту землю. В такое время трудно защищать и самое неоспоримое право. Когда какой-нибудь государь посягает на новую корону, то главная его забота – привлечь к себе как можно больше сильных сторонников, и тогда в угоду им и ради своей пользы он не прочь вырвать то тут, то там несколько страниц из книги правосудия. При этом он нимало не заботится о правиле: *quid juris*,² а придерживается принципа: *do, ut des*.³ Мой господин стал приверженцем Фердинанда, так же как и покойный Андрия Хенинг, ранее носивший фамилию своей семьи – Тойфенбах, что вполне естественно, так как он был немецкого происхождения. Король Фердинанд сперва подарил имение своему конюшему, и в этом не было ничего удивительного. Испанец был льстивый болтун и всегда сопровождал короля. Потом он передал имение Шимуну Эрдеди, загребскому епископу, что тоже не странно. Семья Эрдеди богата, силь-

² то, что по закону (*лат.*).

³ Даю, чтоб и ты дал (*лат.*).

на, храбра, а самым крепким, непоколебимым, выносливым и смелым из них был покойный епископ Шимун, главная поддержка Ивана Запойя в Хорватии. Фердинанд рад был бы дать ему не только Сусед и Стубицу, а много больше, лишь бы переманить его на сторону Габсбургов. Кациянара король считал хорошим генералом, способным прогнать турок, – пока не выяснилось, что он куплен ими. Главное было тогда в том, кто угоден новому государю, а не в том, у кого есть право. Наконец Батории и Хенинги снова одержали верх над всеми непрошеными гостями. В 1559 году, в Линце, король Фердинанд подтвердил за семьями Баториев и Хенингов право владения именьями Сусед и Стубица.

– Да, – добавила госпожа Уршула, слегка обернувшись, – каждая семья, как по мужской, так и по женской линии, пользовалась половиной.

– Но как это вышло и кто этого добился, благородная госпожа?

– И Баторий и мой покойный супруг, вместе.

– Верно, – ответил Палфи, – Баторий и Андрия Хенинг подали прошение королю. Но победа вашего права (да простит мне ваша милость эти слова) была выиграна главным образом благодаря авторитету верховного судьи венгерского королевства. Мой господин теперь хочет, чтобы там, где король Фердинанд победил Ивана, право семьи утвердилось отныне крепко и нерушимо, и он, конечно, не имеет ни малейшего намерения касаться половины, которая принадле-

жит роду Хенингов.

– Другими словами, – и Уршула совсем обернулась к посланцу, – имение неделимое и родовое, и как пользование им, так и доход должны быть разделены поровну между нашими семьями. Таков смысл королевской дарственной и таков был договор, заключенный между моим покойным мужем и господином Баторием в Стубице.

– Да, да, – ответил несколько смущенно мадьяр.

– Надо вам еще сказать, – продолжала госпожа Уршула, – что в тысяча пятьсот пятьдесят девятом году я дала взаймы покойному господину Андрии семь тысяч венгерских флоринов из своего наследства и выговорила право залога на четвертую часть имения. Не забудьте и то, что когда мы приняли имение, на нем был долг. Кредиторы – барон Клайнах, Яков Секель и Ладислав Керечен – очень досаждали моему покойному мужу; по счастью, нашелся добрый человек, господин подбан Амброз Грегорианец, который выплатил этим пиявкам долг в размере двух тысяч тридцати трех венгерских флоринов, задержав, понятно, за собой право залога, которое он потом перенес на своего сына Степко, когда тот женился на моей дочери Марте.

– И это я знаю, ваша милость, но, по-моему, это обязательство падает на половину Хенингов.

– Замолчите! – крикнула госпожа Уршула, топнув ногой. – Тут не может быть и речи о половине. Долг лежит на всем имении. Пока я жива – ни королевский судья, ни сам

король не посмеют разрезать пополам наше наследие, хотя это двойное владение на одной земле мне всегда напоминает того странного двуглавого орла, одна голова которого смотрит направо, а другая налево.

– Ах, конечно, конечно, ваша милость! – вскрикнул Палфи, вскочив, и глаза его засверкали. – Так же думает и мой вельможный господин. Оставим подозрения и укоры. Закончим этот спор, который длится уже целый час. Мой вельможный господин не хотел бы, чтоб это дело дошло до суда; он ведь сам судья, а такие споры между родственниками – сущее проклятие.

– Ага, – злорадно засмеялась госпожа Уршула, – значит, мой милый родственник боится суда? Это надо принять к сведению. Он-то ведь знает законы. По-видимому, его право держится на волоске. Но послушаем, господин Палфи, ваши предложения.

Скрестив руки и глядя в пол, госпожа Уршула стала мерно ходить взад и вперед по комнате, а рядом с ней, кланяясь и размахивая руками, шагал Палфи.

– Pro grimo,⁴ – сказал мадьяр, подняв палец, – Джуро Всевысвятский будет убран. Он человек грубый, может быть из усердия к своему господину, а отчасти ради собственного кармана; но раз он не по нраву вашей милости – его надо убрать; к тому же он слабый и больной. Это и будет лучшим предлогом для его удаления.

⁴ Во-первых (лат.).

– Vene,⁵ – сказала госпожа Уршула, – продолжайте.

– Pro secundo,⁶ – продолжал мадьяр, подняв теперь кверху указательный палец, – своим управляющим мой вельможный господин назначит Грго Домброя, человека ученого, спокойного, справедливого, к тому же холостого, и в этих краях у него нет никакой родни. Ему по описи передадут вино, скот, хлеб, сено и обстановку из части, принадлежащей моему вельможному господину.

– Vene, – повторила Уршула, – но этих злодеев, Хорвата и Голубича, тоже надо выгнать, слышите?

– Непременно! Мы их сразу же и выгоним, ваша милость, – согласился мадьяр. – Pro tertio,⁷ имение остается неделимым quoad dominium et possessionem et omnia jura possessionaria,⁸ надо только найти способ, как разумнее согласовать это двойное владение.

– Дальше, – сказала старая Хенинг, поглядев исподлобья на посланца.

– Дело не такое трудное, как кажется с первого взгляда. Прежде всего надо помнить, что по закону весь доход следует делить поровну. Вы, конечно, согласитесь со мной, что очень плохо, когда в одном доме два хозяина; да и вообще это уже не хозяйство, если один начнет вмешиваться в дела

⁵ Хорошо (*лат.*).

⁶ Во-вторых (*лат.*).

⁷ В-третьих (*лат.*).

⁸ в отношении владения и всех владельческих прав (*лат.*).

другого! Но во всяком случае не годится, чтоб вашей милости надоедали какие-то приказчики и кастеляны, как это делал, например, Всесвятский. Я бы поэтому предложил следующее. Всему fundus instructus⁹ будет составлена опись, с тем чтобы имущество никогда не уменьшалось. Затем надо будет подсчитать доход от отдельных участков и кметов и разделить его на две равные части. На одной будете хозяйничать вы, уважаемая госпожа, на другой – управляющий моего вельможного господина. Опись будет проверяться каждый год. В одном, лучшем, замке будете жить вы, уважаемая госпожа, а здесь, в Суседе, будет жить управляющий Батория.

– А! – воскликнула госпожа Уршула. – Вы снова принялись делить, господин Палфи! А чем же я обеспечу свое право владения в Суседе? Никогда, никогда!

– Успокойтесь, ваша милость, – продолжал простодушно мадьяр, – я и об этом подумал и считаю вполне правильным, чтобы вы, хоть Батории вам и родня, обеспечили себя и с этой стороны. Я сейчас говорю с вами не как представитель королевского судьи, а как друг. Чтоб обеспечить ваше право владения, в этом замке будет жить ваш подкастелян, человек надежный, безупречный, дворянин, который и будет охранять ваши интересы. Все это мы можем изложить на бумаге в виде договора, обязательного для обеих сторон.

– Но почему же я не могу остаться в Суседе? – проговорила Уршула, помолчав с минуту. – Ведь тут исконное гнез-

⁹ поместье с постройками и хозяйственными орудиями (*лат.*).

до Хенингов!

Сказав это, Уршула стала исподлюбья наблюдать за мадьяром, который в первую минуту смутился, но вскоре оправился и быстро заговорил:

– На вашем месте я бы и не поднимал этого вопроса. Вы и так живете попеременно то в Суседе, то в Стубице, а етубицкая часть имения, во всяком случае, лучше суседской. Не взвешивать же нам каждое зернышко при составлении описи; мой уважаемый господин соглашается даже и на то, чтобы *in majorem vim juris*,¹⁰ вы проводили два месяца в году в Суседе; к вам же в Стубицу он не пошлет никого из своих людей. Вы спросите, почему господин королевский судья выбрал Сусед? Ближе к Загребу, на границе Штирии, недалеко от Краньской. В Загребе у него друзья, которые присмотрят за хозяйством; вы продаете урожай на месте, а Баторий живет в Венгрии, в Пожунском округе, ему нужно много денег, и он выгоднее сможет продавать урожай в ближайших местах. Мне кажется, что это предложение искренне и честно, хотя, может быть, и не так выгодно для моего господина. Но мне приказано предложить именно такие условия, дабы ваша милость могли удостовериться, что Батории не желают Хенингам зла, не хотят их обманывать, а, напротив, ла от в своем сердце любовь к своим родственникам, даже и себе в ущерб. Судите сами, благородная госпожа. Вдова, остановившись со скрещенными на груди руками, обратила свои

¹⁰ для большей силы права, чтоб закрепить наше право (*лат.*).

бледно-голубые глаза на господина Палфи, как бы стараясь прочесть на его лице – говорит ли он правду или лжет. Но посланец не потупил взгляда. Уршула опустила голову и погрузилась в размышления. Предложение было довольно выгодно: стубицкая часть имения была намного лучше. Она начала мысленно высчитывать: договор был даже очень выгодный. Да наконец – она жаждала мира. Первые годы ее брака были беспокойными, бурными. В королевстве было два короля, две своевольные партии вельмож, два враждующих лагеря дворян; законы почти ничего не значили, и суд и расправу творила сабля. Покойный Андрия Хенинг был человек слабый, и она с шестью дочерьми стала жертвой разбойничьей алчности, прикрывавшейся каким-то вымышленным королевским документом. Затевать новую тяжбу? С кем? С могущественным Андрией Баторием, другом и наперсником короля Фердинанда, верховным судьей?

Уршула вдруг подняла голову и спокойно сказала:

– Благородный господин! Дело, о котором мы вдоволь наговорились, очень важно и касается всей моей семьи. Я хоть и знаю немного ваши законы, но надо, во-первых, все хорошенько обдумать, а во-вторых, переговорить с остальными родственниками. Я посоветуюсь с зятями и с подбаном Амброзом. Ум хорошо, а два лучше. Поэтому потерпите. Не могу вам сказать, что я просто-напросто отвергаю предложенные условия, но не скажу и того, что я их принимаю. А пока вы мой гость, будьте как дома и считайте весь замок сво-

им. Через несколько дней вы сможете доложить вельможному господину Андрии Баторию, на чем мы порешили; но так как мужчина рассуждает хладнокровнее и у него больше искусства в делах, я поручу провести все соглашения моему зятю Михайле Коньскому, подававшему в прошлом году от моего имени жалобу бану. Он начал войну, так пусть и заключает мир, если только это возможно.

– Я буду счастлив, – ответил, заискивающе улыбаясь, мадьяр, – приложить печать на документе о примирении двух столь знатных семейств. А доброе предчувствие мне подсказывает, что мир будет.

– Но что бы там ни было, господин Палфи, – резко заключила Уршула, – помните вы и пусть помнит ваш господин, что Уршула Хенинг не любит шуток, и если в этом деле откроется хоть малейший обман, то, клянусь вам, быть беде, пролиться крови! А теперь покойной ночи!

Уршула сделала рукой прощальный жест, Палфи низко поклонился этой странной женщине и ушел отдыхать в комнату, которую слуга Иван приготовил для него в сторожевой башне.

2

Через четыре дня после переговоров с госпожой Уршулой, ранним утром, господин Михайло Палфи вскочил на своего коня перед замком Сусед и махнул на прощанье рукой Михаиле Коньскому, высокому крупному человеку, вышедшему проводить мадьярского гостя.

– Прощайте, *egregie domine*,¹¹ – сказал посланец Батория улыбаясь, – скоро опять увидимся.

– Буду очень счастлив! – серьезно ответил Коньский, поклонившись.

– И мне приятно, что мы расстаемся дружески. А через два дня я вернусь и привезу Грго Домброя. Было бы хорошо, если б к тому времени была составлена опись.

– Не беспокойтесь. Об этом я позабочусь.

– Ну, спасибо вам и прощайте! – произнес мадьяр, поклонился и с веселым лицом поскакал по направлению к Загребу.

Господин Палфи не щадил своего коня. Он яростно вонзал ему шпоры в бока, и видно было, что он очень торопился. Не обращая ни на что внимания, промчался он через села Стеневец, Врапче, Черномерец, и лицо его еще более прояснилось, когда из-за склона горы на фоне утреннего неба по-

¹¹ уважаемый господин (*лат.*).

казалась колокольня церкви св. Краля.

Резко натянув поводья и пригнувшись к шее коня, он еще прибавил ходу, так что крестьяне, шедшие вдоль садов Илицы в город, смотрели на него с удивлением. Сломя голову промчался он через площадь Тридесетницы, под воротами Капитула и остановился перед каменным домом каноника, недалеко от францисканского монастыря. Не дожидаясь, чтобы ему отворили, он быстро соскочил с седла, открыл боковую калитку и вошел в нее, ведя за собой под уздцы коня. Привязав его к столбу, он быстрыми шагами поднялся по лестнице и открыл наружные двери. В комнате, у окна, сидели двое: на скамье – толстый каноник с большим животом и с подбородком, свисавшим на черную рясу; его маленькие серые глаза весело сверкали над крупным, широким носом; возле него, на стуле, сидел худощавый, бледный человек с короткими волосами и подстриженными усами. Он, сторбившись, смотрел в землю, так что из-под густых бровей не видно было его глаз.

– Слава Иусу! – отворив дверь, весело крикнул мадьяр и бросил шапку на большую глиняную печь возле входа.

– Во веки веков, аминь! – ответил каноник. – Ваша милость явились, как гром с ясного неба.

– Почему гром? – засмеялся Палфи от всего сердца. – Ну, *admodum reverende*,¹² тонкая же вы лиса. Зовут вас Стипосвештский, ведете вы себя, как святой, а на самом деле –

¹² досточтимый (лат.).

в тихом омуте черти водятся! Не ожидали, говорите? Ха, ха, ха! Вы, хорваты, как будто научились притворству у турок.

– Эх, знаете, *egregie amice*,¹³ – засмеялся каноник, прищурившись, – если не у турок, так уж, наверно, у вас, мадьяр, научились. Уж вы-то на это мастера, вы и ваш господин. Ну, рассказывайте, как вы обделали ваши дела и чем я могу вам помочь!

С этими словами каноник поднялся и, зевнув, посмотрел на приезжего. Его худощавый приятель не шевельнулся, а только взглянул исподлобья на мадьяра.

– Вы меня спрашиваете о делах, *admodum reverende amice*!¹⁴ К черту дела! Едучи сюда верхом из Пожуна, я здорово порастряс свои кости. И чего ради я вообще сюда приехал, *domine* каноник? С турком помериться силами – это еще можно. Но играть в кошки-мышки со старухой – это уж прямо обидно для мужчины, лучше уж травой питаться. Ну, как бы там ни было, начнем во славу божию, если вам угодно.

– Как вам будет угодно, – ответил каноник.

– Но только посмотрите, пожалуйста, чтоб какой-нибудь незваный гость не помешал нам.

– Хорошо, – сказал Стипо, – я прикажу людям никого ко мне не пускать, даже самого святого Петра.

Толстый каноник заковылял к двери и вышел из комнаты.

¹³ уважаемый друг (*лат.*).

¹⁴ досточтимый друг, приятель (*лат.*).

– Ergo, domine Georgi,¹⁵ – заговорил Палфи, закручивая ус, – вбили ли вы в голову вашему брату Стипо, о чем идет речь?

– И да и нет, – ответил, кашляя, худощавый. – В подробностях не говорил, а так только намекнул издалека. Не было случая. По вашему указанию я отправился из Суседа в Загреб, как только вы туда приехали. Сказал, что еду в город посоветоваться с врачом. Все поверили, даже Уршула, этот черт в образе женщины. Да и немудрено, ведь лихорадка вцепилась в меня, словно клещами. В первый день брата не было. Он был где-то у святого Ивана «pro testimonio fide digno».¹⁶ А на второй день сюда нагрянула целая стая почтенных каноников. Тут был и болтливый писака Антун Вrameц, любитель бабьих сплетен, и резкий Фране Филиппович, который языком рубит туркам головы, и Крсто Микулич, Иван Домбрин, Джуро Херешинец и так далее, по синодику. Понятно, что перед этими свидетелями я не смел и пикнуть о желании господина королевского судьи. А теперь вы примчались, и я даже удивлен, как скоро вы успели. Старая Уршула – твердый орешек, законы-то она знает. Я с ней порядком намучился, но никак не мог ее одолеть. Ну, как вышло?

– Да хорошо, domine Georgi, – усмехнулся мадьяр, – я и сам себе дивлюсь, что...

В это время вернулся каноник.

¹⁵ Итак, господин Георгий (лат.).

¹⁶ для достоверного свидетельства (лат.).

– Теперь мы словно погребены, *egregie ac nobilis domine*; мои люди будут всем говорить, что каноник Стипо Всесвятский находится на своем хуторе в Биенике; Давайте начнем, – сказал каноник, положив свои толстые Руки на живот.

Палфи закинул ногу на ногу, подперев голову правой Рукой, сердито покрутил ус и начал:

– Ваш братец, *admodum reverende amice*, вероятно, вам намекнул о *meritum*¹⁷ нашего дела?

Каноник кивнул головой.

– *Vene!* Но для того чтоб дело было крепче, я вам повторю все снова. Вот в чем ваша основная задача: моему вельможному господину Андрии Баторию принадлежит половина Суседа и Стубицы «*secundum donationem domini regis Ferdinandi*».¹⁸

– Знаю, – подтвердил каноник.

– *Vene*, – продолжал мадьяр, – мой господин получал одну половину дохода, а другую – семья Хенингов. Частью Батория управлял вот этот ваш брат, Джуро Всесвятский, которого старая Хенинг бранит и проклинает.

– Знаю, – снова подтвердил каноник.

– Но вот чего вы, почтеннейший *amice* мой, не знаете: мой господин, *iudex curiae*,¹⁹ живет в Пожуне. Ваша Хорватия, *ergo* и Сусед и Стубица, у черта на куличках. Турки уже сту-

¹⁷ суть (*лат.*).

¹⁸ согласно дару господина короля Фердинанда (*лат.*).

¹⁹ куриальный судья (*лат.*).

чатся в ваши ворота. Вы же заняты междоусобной борьбой. Но судьба – цыганка, и может случиться, что турецкие кони будут молиться богу посреди Загреба, а от Загреба недалеко и до Суседа. Вы – герои, но и героям нужны червонцы, а королевская казна пуста, ergo – мой magnificus²⁰ боится за Сусед и Стубицу, потому что они висят на волоске. Он рад был бы избавиться от этого имения, но, с другой стороны, не хотел бы ничего терять. В этом вся загвоздка. Quod consilii?.²¹ Продать, и продать выгодно! Не так ли? Per se!²² Но это не очень-то легко. У старой Уртпулы язык острый, а ноготки еще острее; она, брат, ловкий адвокат. Мой господин долго обо всем этом думал, да к тому же нашел и покупателя совсем случайно.

Почтенный господин Стипо слушал рассказ посланца Батория все внимательнее, и его маленькие глаза раскрывались все шире и шире; но он не проронил ни слова.

– Вот как это случилось, – продолжал Палфи. – Восьмого сентября прошлого года пресветлый наш государь Фердинанд короновал в Пожуне своего сына Макса апостолическим королем. Вас, хорватов, был целый отряд во главе с князем Николой Зринским. Знаменосцы стояли как раз у коронационного холма, а во главе их, держа венгерское знамя, великий конюший Фране Тахи, родом также хорват, хотя

²⁰ вельможный (лат.).

²¹ Что посоветовать? (лат.).

²² Для себя (лат.).

дед его был мадьяр чистейшей крови. Но господин Тахи забыл свое происхождение, совсем перешел на вашу сторону и вместе с вами бил.

– Да, да, – добавил каноник, – господин Тахи сущий дьявол. Он, конечно, храбрец, но свои его боятся не меньше, чем турки, потому что, куда ступит его нога, там не растет трава.

– Так вот, в то время как главный конюший верхом, держа знамя, потел и морщился от подагры, подъехал на вороном коне *iudex curiae*, мой господин и говорит господину Фране: «Будь здоров, брат Фране, давно, ей-богу, мы не видались! Сидишь ты, словно медведь в своей берлоге, между Дравой и Савой. Как поживаешь?» – «Плохо, брат королевский судья». – «А что случилось?» – «Три беды свалилось, брат Андрия. Во-первых, подагра меня пренеприятно пощипывает, во-вторых, турки нас жмут все сильнее, а третья беда – мой милый шурин Никола Зринский. Он подарил своей сестре, а моей жене, Елене, имение Божяковину, а в этом году обманным путем налетел и выгнал меня оттуда с женой. Хорошо брат, а? Никола хуже турка!» – «Я слышал об этой вашей ссоре. Что ж, Никола всегда будет Николой, а король боится Зринских. Ну и где же ты постоянно проживаешь?» – «Да где попало, как цыган. То в Междумурье, то в Заблаче, то в замке Штетенберг в Штирии, то на хуторе в Берене. Слава богу, у меня довольно и без Божяковины, но нигде не могу свить себе гнезда, и моя жена Елена все время злится». Тогда

Баторий подумал и, как бы невзначай, спросил: «А деньги у тебя, брат, есть?» – «Да, слава богу, нашлась бы малая толика», – ответил Тахи. «Послушай, – продолжал Баторий, – я владею половиной двух имений, там, на краю света – Сусед и Стубица. Сусед стоит на реке Саве, как раз посредине между Штирией и Шомочем. Это райский уголок. Мне он ни к чему, слишком далеко. Я бы хотел приобрести имение в здешних краях. Купи Сусед и Стубицу». – «За сколько ты отдашь свою часть?» – спросил Тахи. «Дешево, всего за пятьдесят тысяч венгерских флоринов». Тахи закачал головой, намереваясь что-то сказать, но в это время затрубили трубы, молодой король въехал на холм, и стали собираться знаменосцы. Идя, что при таком шуме не до разговоров, мой господин издали крикнул Тахи: «Приезжай ко мне сегодня вечером, поговорим». Так они и расстались, а на другой день мой господин передал мне их разговор, сказав, что продал Тахи свою половину хорватских имений за сорок пять тысяч венгерских флоринов. Что скажете, *amice* каноник? Господин Стипо тер в раздумье свой нос.

– А скажу, – наконец проговорил он, – что тут можно нажать триста бед.

– Почему, *admodum reverende amice*?

– Потому что на пороге Суседа сидит госпожа Уршула, а эта старуха зубаста, как щука. Как же ввести во владение господина конюшего? Хенинги считают это родовым име-

нием, *jure haereditarium*,²³ которое должно при всех обстоятельствах оставаться в семье, и продавать его можно лишь родственникам. Госпожа Уршула будет защищаться ногтями.

– Ну, это пустяки, – язвительно усмехнулся мадьяр, – какие вы, хорваты, чудаки! Ведь что законно? Да все законно – только надо облечь в подходящую форму. По нашему закону, формой все можно оправдать.

– Ну, объясните, – сказал Стипо.

– Какой *jus haereditarium*? Король подарил имение Хенингам и Баториям пополам. Ergo – король может разрешить моему господину передать свою часть другому. Фердинанд ведь большой друг моего господина и Тахи, так как он знает, что лишь благодаря Баторию молодой Макс сможет усидеть на венгерском престоле. Он уже почти и обещал ему это. А ввод во владение? Вы ведь знаете, что такое *vis legalis*?²⁴ Я заключил с Уршулой договор, вот он. – И Палфи, вынув из-за пазухи документ, передал его канонику и, смеясь, добавил: – Читайте, каноник. Умно? Это написал зять старухи, Коньский. Удивительный человек! Я помазал его длинные хорватские усы медом моих речей, и этот загорский болван всему поверил. О Тахи, разумеется, я ни слова. Вашего же брата, конечно, бранил для виду и сказал, что сразу его прогоню. Это им понравилось и пришлось по сердцу старухе. Уршула переез-

²³ наследственное право (*лат.*).

²⁴ сила закона (*лат.*).

жает дальше в горы, в Стубицу. Сусед будет очищен. Домброя я уже научил, как себя вести. Наказал ему кланяться старухе, чтоб она ничего не подозревала, а потом мы сразу и введем конюшего во владение.

– Но, позвольте, – ответил каноник, возвращая документ, – по закону королевства Славонии, этот договор должен быть оглашен в собрании сословий, да еще перед баном.

– Брось ты свой славонский закон, – и мадьяр замахал рукой, – мы легко обойдем это препятствие. А бан? Боже мой! Да бан-то кто? Князь Петар Эрдеди. А разве его первая жена не была дочерью Тахи? Хоть она и умерла, а он после женился на Барбаре Алапич, но все же тесть и зять остались друзьями, и крепкими друзьями.

– Да, да, – в раздумье произнес каноник, – но на стороне старой Хенинг подбан Амброз Грегорианец, человек сильный.

– Этого я меньше всего боюсь. Амброз был кастеляном у Николы Зринского. Никола и бан Петар недолюбливают друг друга, с тех пор как сын Николы оставил дочку бана; ergo – Петар ненавидит Амброза; да, кроме того, бан видеть не может подбана – со времени их ссоры из-за самоборских границ. Бан будет на стороне Тахи, а Алапич поддержит бана. Ну что, теперь все ясно, каноник?

– Ясно. Но я-то тут при чем?

– Вы введете во владение господина Тахи.

– Кто? Я? – И каноник отступил на два шага.

– Вы, вы! Подождите, когда Уршула переселится в Стубицу. Получите от Батория договор и возьмете с собой окружного судью, имя которого я вам сообщу после. Когда путь будет свободен, Тахи приедет в Загреб с отрядом своих казначейских солдат и с несколькими друзьями. К ночи вы отправитесь в Сусед, введете его во владение; никто протестовать не будет. Тахи займет замок, зарядит пушки, запрет ворота, и тогда пусть госпожа Уршула приходит, если уж она такая любительница железных яблок. Дело, конечно, дойдет до суда; и пусть себе тянется; тем временем старая Хенинг может и умереть, а хорватский бан – зять Тахи, а Андрия Баторий – королевский судья.

Каноник молча стоял перед Палфи, который вперил в него острый взгляд, в то время как управляющий Джуро Всесвятский, приподняв голову, поглядывал то на брата, то на Михаила Палфи.

– Не могу, – наконец, как бы выдавил из себя каноник, – это дело опасное; никак не могу. Это было бы явным беззаконием.

– Да бросьте вы всегда думать о букве закона, – закричал мадьяр и вскочил. – Помните, что сильные люди, которым вы служите, никогда не дадут вас в обиду. От имени своего господина, князя Андрии Батория, ручаюсь, что вам ничего плохого не будет. Вот вам моя рука!

– Не этой ли рукой вы подписали и договор с Уршулой Хенинг? – спросил серьезно каноник.

Палфи бросил взгляд на священника и, теребя со злостью ус, стал быстро говорить:

– Давайте будем искренни, каноник. *Clara pacta, boni amici.*²⁵ Неужели вы думаете, что мой вельможный господин послал меня сюда для шуток? Он твердо решил, что это дело должно быть так или иначе сделано. Если вы не захотите, найдется, может быть, кто-нибудь другой, например Фране Филиппович, у которого совесть не так упряма. Но я хотел поручить это дело именно вам, ради вашего брата Джуро. Почему? Разве не ясно? У вашего брата куча детей и, говоря откровенно, распутная жена.

– Ваша землячка, – пробормотал, задрожав, каноник.

– Это безразлично, – холодно ответил Палфи. – Он по уши в долгах. И кредиторы его князь Андрия Баторий и Фране Тахи, барон Штетенбергский. Вот странное совпадение! Джуро Всесвятский жил, значит, от щедрот королевского судьи; а его щедрость велика, даже, может быть, чересчур. Мой господин взял вашего брата управляющим Суседа, а он не только кормился молоком этой жирной коровы, снимая себе все сливки, но и выдоил ее до крови: он обманывал своего хозяина.

Каноник задрожал, а его брат, застонав в отчаянии, еще больше поник головой.

– Да, обманывал, – продолжал мадьяр в сердцах, – мы знаем это из писем госпожи Уршулы, знаем, как он воро-

²⁵ Честный договор создает добрых друзей; кредит портит отношения (*лат.*).

вал, знаем и больше. Вы ведь любите вашего брата, *domine admodum reverende*, любите его детей, о них болеет ваше сердце, – я это прекрасно знаю. Так подумайте, что с ним будет; представьте себе, какая беда, какое несчастье, какой позор обрушатся на его голову, стоит лишь королевскому судье мигнуть. Имущество его продадут, дети его пойдут по миру, а дворянское имя будет опозорено. Неужели вы хотите, *admodum reverende domine*, чтоб ваш герб был перед всем светом запятнан, неужели ваше сердце сможет вынести плач малолетних детей?

Палфи, скрестив руки, наслаждался замешательством каноника, который стоял перед ним молча, глядя себе под ноги. Наконец священник прошептал:

– Господин Палфи, вы жестокий человек, вы человек без сердца!

– Вот тебе на! Без сердца? Вы шутите, что ли? А у вашего брата было сердце, когда он грабил? У меня нет сердца! Боже мой! Человек выказывает ум, а ему говорят, что у него нет сердца! Мой господин хочет во что бы то ни стало, чтоб Тахи был введен во владение. Это должно быть исполнено, понимаете ли, каноник, это должно быть исполнено! А я прекрасно придумал, как этому делу дать ход. Ну да к чему тянуть. Рука руку моет. Вы согласны ввести Тахи или нет? Если вы это сделаете – вашему брату простятся не только грехи, но даже и долги, а бан и Тахи (который имеет среди ваших дворян сильных сторонников) позаботятся о том, чтоб

ваш сабор выбрал его судьей. Не захотите сделать – пропадет и честь и имущество, а ваш брат попадет не на кресло судьи, а в тюрьму! Тут не до шуток, не до торговли. Да или нет, каноник? Говорите!

Стино Всесвятский смертельно побледнел, на лбу его выступили крупные капли пота, и он схватился рукой за сердце. Джуро, его брат, медленно поднялся. Лицо его пожелтело, мускулы щек судорожно подергивались; широко раскрытыми глазами он уставился на брата, ожидая услышать из его уст слово помилования или смерти. Каноник молчал. Наконец, Джуро шагнул вперед, стал на колени перед братом, обнял его ноги и закричал раздирающим душу голосом:

– Брат! Брат! Я великий грешник. Знаю, что я не достоин прощения, но пожалей детей моих, моих несчастных детей, которых ты крестил. Они ведь не виноваты!

И, плача, Джуро Всесвятский спрятал голову в колени брата.

– Боже! – вздохнул каноник. – Ты видишь наше горе и несчастье! Если я возьму на душу грех, то не из выгоды, а ради бедных детей. Господи, прости мне этот грех! Встань, брат Джуро! Успокойся! Видишь, что получилось? Говорил я тебе: остерегайся этой красивой черноглазой мадьярки, – кровь у нее горячая, да голова не на месте, свихнется. Вот и изменила она тебе, бросила тебя с детьми, и ты, несчастный, был бы опозорен перед всеми, если б твой брат не спас тебя своим честным именем.

По лицу старика текли горячие слезы, в то время как брат его тоже со слезами целовал ему руки. Палфи, с холодным лицом, холодной душой и окаменелым сердцем, смотрел в окно, скрестив руки на груди.

– Господин Палфи! – прошептал страдальчески каноник.

– Что? – спросил холодно мадьяр, повернув голову.

– Когда господин королевский конюший приедет в Загреб?

– Не знаю. Я вам напишу, *amice* каноник. Во всяком случае, через два-три месяца, не ранее. Тогда и надо будет действовать. Что же, вы решились?

– Да, – едва слышно проговорил каноник, кивнув головой.

– *Vene!* Вы надежный человек! Вашу руку! – сказал Палфи, протягивая Стипо свою руку. Тот схватил ее и опустил низко голову.

– Я сегодня же сообщу моему вельможному господину о вашем решении, – продолжал посланец, – и надеюсь, что он этим будет очень доволен. Вот вам договор королевского судьи с главным конюшим; когда дело будет сделано, князь Баторий вернет Джуро долговые расписки – как свои, так и Тахи. Но надо глядеть в оба, а главное – молчать, чтоб старая Хенинг ничего не заподозрила, иначе она сможет провалить все дело. Вы, *admodum reverende amice*, спокойно ждите. Вы, Джуро, завтра на заре возвращайтесь в Сусед. Не надо, чтоб нас видели вместе. Я туда приеду послезавтра, с Грго Домбром. Приготовьте опись, чтоб все можно было записать и

передать in optima forma.²⁶ Жалованье вы будете получать по-прежнему. Можете жить в Загребе. Я подожду, пока все будет передано по описи, а то как бы старая Хенинг опять не передумала. А теперь, amice каноник, прощайте. Мы еще увидимся до моего отъезда из Загреба. Пойду поищу Домбоя. Как я рад, что все так хорошо окончилось. Прощайте!

Палфи поклонился с достоинством и стал быстро спускаться по лестнице, до которой его проводил каноник, не проронив ни слова.

²⁶ в наилучшей форме (*лат.*).

3

Третья неделя после пасхи. По склонам хорватского Пригорья в жарких лучах весеннего солнца зеленеет молодой лес; сквозь листву его белеют господские усадьбы. Среди молодого желтого ивняка, сверкая на солнце, стремительно бежит река Сава. Полдень миновал, и солнце склоняется к западу. По голубому небу несутся легкие розоватые облака, иногда заслоняя собой солнце; к юго-востоку из-за облаков местами на равнину падают горячие снопы лучей, местами же стелются по ней огромные тени этих облаков. Воздух кристально чист. Куда ни помотришь – всюду молодые всходы, веселая, буйная зелень лугов и рощ, а на равнине можно разглядеть, как вдалеке идет по полю молодуха, как по дороге скачет всадник, как стройный, высокий тополь, одиноко стоящий среди ровного поля, бросает свою тень на светлую зелень. А там, к югу, высятся громады со множеством светлых и темных изгибов. Это горы Окич. Одна гора стоит одиноко, поодаль от гряды, и на вершине ее, на фоне ясного неба, вырисовывается замок Окич. Ближе под горой белеют, словно голубки, дома Самобора. Над Самобором блестит жестью колокольня церкви св. Анны. От Окича к западу тянутся Краньские горы; в их густых лесах, переливающихся темным багрянцем, виднеются серые круглые башни замка Мокрицы и живописное село Есеница, где находится

перевоз господина Грегорианца. На востоке небо понемногу светлеет, а на нем темно-синей полосой вырисовываются Загребские горы, которые спускаются к реке Саве. Тут, у берега на холме, стоит замок Сусед, на стенах которого играет жаркое багровое солнце. Посреди долины лежит село Брдовец. Оно едва приметно. Деревянные избы – седые старушки, – крытые старой соломой, скрываются в густых плодовых садах, уже осыпающих свой бледный цвет. Солнечные лучи с трудом проникают во двор, играют в луже, возле которой переваливается пара желтых пушистых гусенят. И только колокольня церкви возвышается над садами своей красной шапкой. А какой шум и гам за селом, на лугу! Посмотрите на детвору. Волосы – словно золотистые колосья, круглые лица – как румяные яблоки, на теле – ничего, кроме рубашонков, затянутых кожаными поясками. Прыгают, кричат, хлопают в ладоши и палкой подбрасывают большие мячи; гомон стоит оглушительный; даже смельчак воробей, что сидит на изгороди из цветущего боярышника и ловит золотистых мушек, и тот пугается и перепархивает через плетень. Приятно, тепло, благоухают цветы, и душа человека раскрывается наподобие цветка. Вот смолк орган, народ возвращается от всенощной. Крестьяне и крестьянки быстро идут меж изгородей. Иногда только остановится по пути какая-нибудь кумушка, вся в белом, с красным платком на голове, и, по женскому обычаю, начнет болтать с соседом о морозе, о пряже, о свадьбах...

На краю села, среди слив, стоит изба, подле пес хлев, сарай и навес. Белая, как молодуха в медовый месяц, она покрыта свежей соломой. Деревья густые, и солнце играет только по их вершинам, а под сливами приятный холодок. Возле деревянного крыльца, сразу над землей большая дверь – это погреб; перед дверью стоит стол и две деревянные скамьи. Меж деревьев, на лужайке, около дремлющего лохматого пса, ссорятся дети; на ступеньках крыльца сидит кошка и лапкой умывает белую мордочку, а из коровника выглядывает голова любопытной черной коровы. На всем видно божье благословенье и счастье; и это спокойное счастье ярче всего отражается на румянном лице красивой, дородной женщины, которая, положив на перила крыльца голые круглые локти, темными глазами глядит на этот уголок семейной идиллии. Тело ее бело, как ее одежда, губы сочные и красные, как частая нитка кораллов, что спадает по ее пышной груди; на полном лице нет морщин, а в черных волосах, собранных под медный гребень, ни сединок; на длинных ресницах и на сочных губах иногда дрожит улыбка, сверкают белые зубы; улыбка эта говорит, что и сердце ее озарено радостью. Но взгляд ее загорается еще ярче, когда останавливается на мужчине, стоящем в веселом обществе у стола, возле погреба. Это человек уже не молодой, но крепкий и привлекательный. Росту он такого высокого, что при входе в церковь должен нагибаться. Под открытым воротом белой рубахи широкая, словно из стали отлитая, грудь. На стройной

шее – большая круглая голова. Светлые волосы острижены, бороды нет, лишь вдоль энергичного рта свисают длинные седеющие усы – лучшее украшение этого крупного длинного лица, на котором, как два горных костра, горят темно-синие глаза. Боже, какие только бури не обветривали это лицо, какие дожди его не омывали, какой зной его не палил! Оно темно, словно медное, прекрасно и мужественно, как лицо героя. На мужчине надеты только рубаха, штаны и новые опанки. Видно: он у себя дома. Левым локтем он оперся о стену, правой рукой подбоченился, заложил йогу за ногу. Так стоит он и спокойно смотрит на трех мужчин, которые болтают за полной глиняной кружкой вина. Он говорит мало, слушает внимательно и то задумывается, то улыбается, а то потянет как следует из кружки.

– А что там у вас произошло в Суседе? – спросил мужчина звонким голосом, обращаясь к худому смуглому франту с продолговатым лицом, который, сидя на столе, болтал ногами, чтоб показать свои красивые сапоги с узкими носами и белые вышитые штаны.

– Э, – ответил франт, сдвинув черную шапочку набекрень и согнав муху с ярко-красного жилета, – переезжаем, кум Илия! То есть переезжает наша старуха и барышни Софика, Ката и Анастазия, а я и господин кастелян Фране Пухакович остаемся в Суседе на разводку. Так приказала наша уважаемая госпожа Уршула. Сама же она завтра или послезавтра уезжает в Стубицу.

– Чудеса! – пробормотал маленький, хилый, худощавый человек с головой, похожей на старую корявую иву, с рыжими волосами, торчащими, как сухой тростник. – Чудеса, – повторил он, подперев голову руками и уставившись на франта, – как это старая сова дала себя выкинуть из своего гнезда?

– Э, – сказал франт, щелкнув языком, – даже и мой умишко не может тут ничего распутать. Однако мне кажется, что ее выкурила из Суседа какая-нибудь мадьярская хитрость. И не будь я Андрица Хорват, служащий ее милости госпожи Хенинг, а черный цыган, если это не так.

– А скажи мне, дорогой Андро, – подхватил хозяин, Илия Грегориц, – что на все это говорят господа зятя?

– А бог их знает, – пожав плечами, ответил Андро, – довольны они или нет. Господин Коньский говорил далеко за полночь с тем мадьярским охвостьем, которого послал Баторий, а на прощанье они любезно пожали друг другу руки; господина Керечена нет, а из Мокриц неожиданно приехал господин Степко Грегорианец и, сойдя с коня, сильно ударил хлыстом слугу и был, по-видимому, очень Рассержен. Мы потом слышали, как он кричал и стучал по столу, разговаривая со старой Уршулой и Коньским. Чертов сын, такая у него привычка!

– Да, да, – подтвердил брдовецкий сельский судья Иван Хорват, сморщенный старик с подстриженными седыми усами, одетый в синюю суконную одежду, который до сих пор

спокойно сидел, положив обе руки на палку, и неподвижно глядел на дремлющего лохматого пса, – да, да, господин Степан человек неистовый. Это знает все Пригорье, знают и по ту сторону Савы, в краньской Есенине. С тех пор как он женился на нашей барышне Марте, господа в Суседе грызутся, как собаки.

– С него взятки гладки, – проговорил рыжий худощавый Матия Гушетич и засмеялся, оскалив свои зубы, словно волк, – это ведь по-господски, а господам все позволено.

– Я где-то слышал, – продолжал судья, – что трудно служить двум господам, а мы на собственном горбу испытали правдивость этих слов. Я уж тут тридцать лет мотаюсь по судейским делам, и, видит бог, часто даже трезвый не мог, бывало, сообразить – мужчина я или женщина, до того у меня голова шумела от этих господ. Один тянет туда, другой сюда, а мы стоим, словно распятые, и удары сыплются на наши спины с обеих сторон.

– Не волнуйтесь, дорогой судья, – засмеялся Андро, – теперь удары будут сыпаться только с одной стороны. И суседские и брдовчане принадлежат мадьяру Баторию, а стубичане – моей уважаемой старухе. Вместо старой Хенинг мы с господином Пухаковичем будем только со стороны смотреть, как мадьярские мыши уплетают наше сало. Мы здесь оставлены только как сторожа.

– А кто будет вести хозяйство Батория? – спросил Гушетич.

– А ты этого еще не знаешь, мой хромой Матия? – И франт всплеснул руками. – Разве ты еще не видел толстого Грго, господина Грго Домброя, который приехал на место Джуро Бсесвятского? Он откуда-то из Междумурья, не разберешь – то ли хорват, то ли мадьяр, но, судя по пузу, весом с откормленного вола. Кума Ката, – обратился франт к женщине на крыльце, – берегите своих гусей, индюшек и поросят, потому что новый управляющий Батория съест их у вас вместе с перьями и щетиной. Его желудок – настоящий поповский кошель. Честное слово, никогда не видел ничего подобного. Этот добрый Грго полдня ест и пьет, а полдня храпит, и вместо того чтоб острым пером писать счета, он макает свои острые усы в вонючее сало. Хозяйство придет в такое состояние, как после нашествия саранчи.

– А что случилось со старым управляющим, господином Всесвятским, – спросила Ката, жена Илии Грегорича.

– Черт его знает, – ответил франт, – ветер унес его бесследно за одну ночь. Говорил, что болен, что ему надо в Загреб, и тому подобное. Знаем мы эти странные болезни, когда здоровый должен глотать горькое лекарство. Но я опять-таки и тут всего не понимаю. Всесвятский, черт бы его побрал, по совести говоря, воровал и вредил, как мартолоз, но всегда работал на пользу Батория, даже под носом у старой Хенинг, которая любила его, как дьявол – восковые свечи. А теперь Баторий его прогоняет. Непонятные дела, не под силу нашим умишкам!..

– Э, будь что будет, – проговорил Илия, – известно, что нам, крестьянам, нечего ожидать райского житья от наших господ; но все же хорошо, что старого управляющего как водой унесло, потому что он был настоящий разбойник, проходимец, который по своему произволу грабил наше убогое достояние. Он и его два помощника – Янко и Никола.

– Ах, да, – вскричал Андро, – чуть не позабыл: ведь и им пришлось заболеть и последовать за старым управляющим в Загреб.

– Чего же лучше, эо счастье, подумаешь! – усмехнулся язвительно Гушетич. – С каждым днем нам все хуже и хуже. Что посадишь, то побьет мороз, а что не побьет мороз, то унесет Сава, а что не унесет Сава, то возьмут господа, а что не возьмут господа, то стащит управляющий, а если что и укроешь от него, то эти последние крохи съест пожунский сборщик податей. Только поспеет хлеб – зовут: иди сперва жать господский; настанет время пахать, а окружный чиновник гонит тебя под Иванич или под Копривницу рыть траншеи; пора собирать виноград, а тебя посылают воевать с турком, и если и вернешься с целой головой, то дом найдешь пустым. К черту такая жизнь!

– Э, мой Мато, – засмеялся Илия, покрутив ус, – ты, конечно, прав; тяжело живется, и каждый крестьянин несет свое бремя; это знает бог. Но мне сдается, что ты-то воевал больше с флягой, чем с янычарами, и не плохо было бы, соседушка, если б твои ладони были помозолистее – тогда лу-

на не заглядывала бы к тебе сквозь дырявую крышу и сапоги не просили бы каши.

– А ты что за барин, – и Матия скрипнул зубами, бросив на хозяина острый взгляд, – тебе что за дело до моей дражной одежды, не ты ведь ее покупал; ты, что ж, считаешь себя лучше оттого, что твоя изба крыта свежей соломой? Ты сумел кое-что припасти, но берегись, кум, еще не прозвонили третий раз к обедне: найдется какой-нибудь господский пес и про твою кость; мой же кошелек пуст, а там, где ничего нет, там и царю нечего взять. Не хвались, после воскресенья ведь бывает пятница.

– Не придирайтесь друг к другу, – пробормотал судья, нелегкая вас побери! Илия верно сказал – счастье, что Всевысвятский уехал; во всяком случае, я знаю, какою мнения он был об Илии, он и Никица Голубич. «Эх, только бы мне увидеть Илию на виселице», – говаривал управляющий.

– И нетрудно догадаться почему, – усмехнулся фронт, взглянув исподлобья на хозяйку, – у управляющего заболели глаза, так он заглядывался на Катю, и он пришел к ней за лекарством.

– Но когда он до нее дотронулся, – проговорила быстро женщина, покраснев, – то Ката кипятком окропила его грязные руки!

– А Илия благословил его дубиной по спине! – Грегориц засмеялся от всего сердца. – Знаю, что господин Джуро готов был съесть меня, не будь я солдатом, вспыльчивым и го-

рячим, и если бы госпожа Хенинг так обо мне не беспокоилась, а господин подбан Амброз не спасал от этой чумы.

– Говорите, что вам угодно, – равнодушно отрезал Гушетич, – выворачивайте мешок, как хотите, все равно доброго зерна не найдете.

– Ты все видишь в черном свете, кум Матия, – спокойно ответил Илия, – да кто бы хотел жить, не надеясь на лучшее. Видишь, на меня немало бед обрушилось, а я все-таки как-то счастливо вывернулся.

– Ладно, ладно, – Гушетич махнул рукой, – еще не все кончено. Помни, Илия, что я тебе сказал. Дай бог, чтоб я ошибался, но сердце мое не предчувствует ничего хорошего.

Так сидели они перед домом Илии Грегорича и толковали о своих бедах и надеждах, как вдруг на дороге у изгороди показались две весьма несходные фигуры: девушка лет четырнадцати вела слепого старика с палкой. Она шагала бо-сыми ногами быстро и свободно. Румяная, как спелая вишня, легкая, как птица, девушка подставляла весеннему ветру свое полное продолговатое лицо, на котором отражались и смелость и быстрый ум; ее черные торящие глаза весело смотрели на распустившиеся цветы, две темные косы падали на белую рубашку, вышитую красной шерстью. Так же была вышита и белая юбка, которая, под красным поясом, облегла ее стройный стан. В свежих губах у нее был белый цветок боярышника, а на груди, между красных кораллов, блестело зеркальце. Она шла быстро, словно летела на крыльях, ее де-

вичья грудь вздымалась, глаза блестели; если б не цветок во рту, она заливалась бы, как жаворонок. За девушкой, опираясь на палку, ковылял старик, сморщенный и сухой. Загорелое худощавое лицо его с остатками белой бороды было полно того спокойствия, которое все стерпит, всякое страдание перестрадает и не станет вдаваться в вопросы – есть ли разница между счастьем и несчастьем. Широкая ветхая шляпа сползла старику на шею, на спине, помимо бремени лет, он нес мешок, а у бедра болталась пестрая сумка. Он бил беден, но опрятен. Прежде чем эти двое успели пройти мимо дома Грегорича, Ката громко крикнула с крыльца:

– Эй, Яна! Куда это вы с отцом несетесь?

– Да вот, кума Ката, идем домой из села, – ответила девушка, вертя губами цветок, и остановилась; старичок тоже что-то пробормотал.

– Да что у вас дома, беда, что ли, какая стряслась? – продолжала Ката. – Зайдите-ка на минутку к нам: я знаю, что Юрко не повредит глоток вина.

Старик, улыбаясь, закивал головой и опять что то пробормотал.

– Зайти, что ли, отец? – спросила его Яна, повернув к нему голову.

– Что ж, во славу божию, раз сегодня воскресенье, а кума Ката такая добрая душа.

Отец и дочь вошли во двор.

– Слава богу и матери божьей, – приветствовала девушка

гостей, а старик пробормотал за ней:

– Слава богу!

– Аминь, – ответил Илия. – Садись, Юрко, садись! Пей на здоровье.

Старик, повернув голову в сторону говорившего, поднял кверху лицо, как бы желая разглядеть хозяина, и, улыбнувшись, добродушно прошептал:

– Бог вознаградит тебя, Илия!

Дочка между тем сняла у него со спины мешок, с головы шляпу и посадила его на скамью; судья подал ему кружку. Юрко отхлебнул два раза, причмокнул и, вернув судье кружку, вытер усы рукавом.

Яна взбежала по ступенькам к куме Кате и облокотилась рядом с ней о крыльцо, не обращая внимания на то, что франт Андро пожирал ее глазами.

– Ну, как, Юрко? – спросил Илия. – Я ведь тебя с пасхи не видел.

– Как? – Старик улынулся. – Как траве не жить без росы, так и человеку без глаз. Никто тебя не связывает, а ты словно в темнице; перед тобой дорога ведет на край света, а ты не можешь ступить шагу дальше своего носа. Беда, дорогие мои, беда, когда не видишь ни солнца, ни месяца, ни белого дня! Давно меня не видел, да, да! Не выхожу. Да и зачем? Когда знаешь, что ни к чему людям жаловаться. Но я благодарен богу за то, что подле меня Яна. В прошлом месяце исполнилось десять лет, как я ослеп после черной оспы. Еще

покойница была жива, а Яна гонялась по двору за цыплятами. То-то было счастье! Видел я тогда и солнышко, и зеленую травку, и живые человеческие лица, и господа на престоле. А теперь – ничего, так-таки ничего. Жена померла – не видел даже ее могилы, только иногда Яна водит меня на кладбище, и тогда я ошупываю крест. Да, Яна – это добрая душа, кум Илия. Ее глазами гляжу, ее руками кормлюсь, по ее следам хожу, да благословит ее бог! Не будь ее, я бы умер или, не дай господи, сошел бы с ума.

– Отец, дорогой, – прервала его девушка, краснея, – что это вы всегда всем обо мне говорите? Есть тысяча других вещей, да к тому же разве я не ваша дочь?

– Но такой Яницы, как ты, нету, – ответил старик, – нету от Загреба до Брдовца.

– Оставь, Яна, – сказала кума Ката, погладив девушку по голове, – не мешай отцу; это хорошо. Не надо стыдиться добра; а кто творит добро старым, тот готовит себе путь на небо. Дай бог, чтоб дети твоего крестного Илии были похожи на тебя.

– И послал же вам бог славную крестницу, кум Илия, – засмеялся Андро, – зятю Юрко достанется не репейник, а роза. Послушай, Яна, у тебя глаза проворней, чем у твоего отца, не заметили ли они уже какие-нибудь мужские усы?

Девушка смутилась и ничего не ответила, но Ката сказала за нее:

– Эй, Андро, что у вас за скверный язык! Что вам дались

Янины глаза? Думаете, это зеркальце для вашего бесстыжего лица? Этот цветок не про вас. Вы должны благодарить бога, если вместо розы получите хотя бы крапиву. Видно по вашей речи, что вы все среди господ бываете и слушаете безбожные слова. Как вам не стыдно!

– Ой, ой, кума Ката, – ответил Андро спокойнее, – отчего это вас моя шутка так задела? Пост ведь кончился, всенощная отошла и можно свободно поболтать. Но послушай, Яна, что ты теперь будешь делать? Старая хозяйка переезжает в Стубицу, а с ней барышни Ката, Анастазия и Софика, твоя молочная сестра. К кому ты теперь будешь ходить в замок, кто тебе будет делать подарки?

Девушка, слегка побледнев, посмотрела на Катю, и на ее глаза навернулись крупные слезы.

– Ну нет! – сказала Яна порывисто. – Я не верю Андро, он что ни скажет, то соврет.

– А все же это правда, – вставил Гушетич, до сих пор спокойно глядевший перед собой.

Девушка отступила на шаг, не переставая смотреть на Катю полными слез глазами.

– Да, да, Яна, на этот раз Андро не соврал, – подтвердила Ката.

Девушка ничего не сказала, но схватилась рукой за сердце.

– Госпожа Уршула вправду переезжает? – спросил Юрко, подняв лицо. – Что за новости? Почему переезжает, и кто

приедет на ее место? Храни нас бог от всякого зла, но у меня что-то на душе беспокойно. Я слышал на селе, что в Суседе хозяевами будут только Батории, а что старые господа уезжают. Говорю вам, детушки, быть беде. Я старик, мне ли не знать. Много тяжелых лет пронеслось над моей седой головой, как вода проносится над камнем в ручье, и если б я захотел пересчитать все тяжелые дни, которые пережил старый Сусед, не хватило бы пальцев во всем селе. Но в Доре ли дело?

– Кто эта Дора? – спросил Андрия с любопытством.

– Ты ее должен знать, – ответил слепой, – ты ведь служишь в замке.

– Я знаю только нашу толстую молочницу Дору из Яковля, – и слуга засмеялся, – дурная, ей-богу, испарапала меня всего, когда я хотел проверить, срослись ли у нее брови на переносице, но не из-за этой же толстухи наступят тяжелые дни.

– Смейся, смейся над стариной, желторотый, – продолжал недовольно старик, – разве может твоя неопытная голова знать о том, что было в старые времена? По-твоему, это все бабьи сплетни, не так ли?

– Но, дядя Юрко, и я ничего не знаю о Доре, а за двадцать лет, что я тут живу, я уж, наверно, раз сто бывал в замке, – сказал Илия.

– И выходит, – усмехнулся Юрко, – что вы слепые, а я зрячий. Подойдите поближе да послушайте, что я вам рас-

скажу, – добавил старик тише.

– Было это давно, еще до моего деда и прадеда; да, да раньше их. В Суседе вымерли все мужчины и осталась только одна девушка – Дора. Звали ее красавица Дора, потому что была она прекрасна, как белый снег и красная ягодка, но сердце у нее было змеиное и кровь грешная, – стоило ей заметить где-нибудь парня – будь то дворянин или кмет, – завладеет им и держит, пока всю кровь из него не высосет, а потом, стыдясь иметь такого свидетеля, отравит его потихоньку. Жила около Суседа одна старушка, бедная вдова, и был у нее единственный сын – кормилец. Сильный, красивый такой, ни один князь во всем королевстве не мог с ним сравниться. Дора и его заметила. Горе ему! Парень был красив, и Дора красавица. Заполучила его. Когда кровь играет, не разбираешь, кто дворянин, кто кмет. Все люди. Остерегала мать сына: берегись змеи! Да! Остережешься, когда слеп и глух! Раз пошел сын в замок. И стал ходить туда каждый день. Однажды мать ждет до полудня – нет сына; ждет до ночи – нет сына; ждет до зари – все нет. Похолодела. Знала она, что та змея и гладкая и пестрая, глаза что бисер, да зубы ядовитые. Пошла в замок, ворвалась к Доре, требует сына. Дора громко расхохоталась. «Дура, говорит, я им насытилась; сломал он себе шею, ищи его кости». – «Ой, – вскрикнула мать, – бесстыдная женщина! Пропади ты пропадом! Я тебе ничего не могу сделать, потому что ты сильна, а я немощная старуха, но бог, который все видит, все слышит, – может! Он

видел твой грех, пусть услышит и мое тебе благословение. Будешь искать мужа – не найти тебе его: а коли найдешь – не иметь тебе сыновей; если и родишь сына – чтоб род его пресекся в первом колене, а дочери чтоб грызлись из-за наследства, как волчицы из-за падали. Женщины владели этим замком, а мужчины его отняли; да будут прокляты это хоромы, будь проклята и ты, кровопийца! Бог тебе не даст ни рая, ни покоя в могиле; будешь ты блуждать по этим несчастным хоромам, как привидение, и сама, исчадие страха, нагонять страх на владельцев; будешь, проклятая, блуждать по этим хоромам, пока от них камня на камне не останется, пока божья кара на них не обрушится!»

Так старуха проклинала Дору, но та смеялась. У Доры было два мужа и один сын. Да... и сын ее Иван женился и взял дочку бана. Но вот Дора стала слабой и старой, успокоилась, кровь остыла, но воспоминание о прошлых грехах не покидало ее, а в сердце остался червь, который точит, пока ты жив, и поедает, когда ты умрешь. Дора плакала, постилась, бичевала себя до крови; сошла с ума и, безумная, бродила по замку, словно привидение, пока, наконец, не выбросилась из того самого окна башни, в которое она когда-то выбросила сына той старухи. И как прокляла ее старая мать, так все и случилось. У сына ее было пятеро детей, из них двое прекрасных сыновей, но они умерли прежде, чем у них выросла борода; остались дочери – род прекратился; вместо крови – молоко, да и то ядовитое. Дочери грызлись из-за наследства;

пришли чужеземцы, полилась кровь, много невинной крови. В замке грабили и убивали, а несчастные кметы напрасно зывали к богу. И каждый раз как появляется новый хозяин, каждый раз как встает угроза новых бед – по ночам показывается Дора, бледная, безумная, и плачет, плачет о своих грехах; из сердца ее вылезает золотая змея и просит бога, чтобы он разрушил замок. Немногие знают это сказание; знают пожилые господа, да скрывают от людей. Видели вы старинный портрет в комнате госпожи? На старом полотне изображена красивая женщина. Как сейчас ее вижу. Она в черном, не так ли? На голове золотая корона, вокруг шеи жемчуг, а в руке яблоко, дар дьявола. Когда глянешь в эти карие томные глаза, мороз пробирает по коже, и стоишь, как пригвожденный к месту. Ты посмотри на нее, Андро, посмотри. И вот, подите же! Несколько времени тому назад я видел старую Дору во сне. Сто раз видал я портрет, когда моя покойная жена была кормилицей барышни Софики, и теперь, во сне, она была, как на портрете, только из сердца у нее выползла золотая змея. Все это уже почти вылетело из моей старой головы, но когда этот мадьяр приезжал к нашей госпоже и убирали комнаты, портрет упал со стены. «Берегитесь! Дора зашевелилась!» – мне это сказал Иван Сабов из замка, а на следующую ночь я видел во сне Дору. Берегитесь, быть беде!

Наступило гробовое молчание; только кума Ката прошептала: «Сохрани нас от напасти!» – и, перекрестившись, увела Яну в дом.

– А, теперь знаю! – первым быстро заговорил Андро. – Это тот старинный портрет в комнате госпожи Уршулы. Ей-богу, Сабов правду сказал. Мы убিরали комнаты, портрет упал, и госпожа перепугалась. Вправду упал. Поди ж ты. Я не знал – Мара это или Дора, не знал ничего о всех этих ужасах. Храни нас бог!

– Аминь, – добавил старый судья. – Я тоже не знал о том, что нам сейчас рассказал Юрко, но какое-то проклятие как будто и впрямь тяготеет над замком. Ни тишины, ни покоя, вечно ссоры и споры, так что иной раз хочется сложить свои старые кости в сырую землю. Живем да дни считаем – один хуже другого. Сын спрашивает отца: «Как жилось?» Отец говорит: «Так же плохо, как и теперь». Отец спрашивал дед: «А тебе счастье улыбнулось?», а дед отвечал: «Какое там счастье!» Вот и я говорю себе: сможем ли мы сказать что-нибудь лучшее нашим детям, и будут ли они с нашими внуками вспоминать более счастливые дни? Гм, выходит, Юрко правду сказал, тут не без проклятья. Помилуй нас бог!

Гушетич все это слушал спокойно. Только изредка на лице его появлялась язвительная усмешка. Наконец он потянулся за кружкой, хлебнул как следует и, ударив кулаком по столу, закричал:

– Дурачье! Какая такая Дора? Что за привидения? Какие черти? Какие ангелы? Все это выеденного яйца не стоит, а Юрко спяну приснилось. Зло не от каких-то там привидений, а от живых людей, от господ, которых, как и нас, матери

носили, которых, как и нас, попы крестили и которых в конце концов черти унесут. Поверьте мне, я человек бывалый.

– И тебя также, – раздраженно сказал Юрко.

– Ну и пусть, – ответил резко Мато, и краска разлилась по его желтому лицу, – хуже чем здесь, мне там не будет, и если б я действительно не знал, что меня крестил поп и что я имею право слушать орган и всенощную, то я мог бы считать себя скотом, даже хуже скота, потому что скотине господа дают хоть охапку сена, тогда как мы... – Гушетич снова потянул из кружки, – нам хоть глодай вот тот голый камень, что лежит у дороги. Что такое Дора, которая нас бьет, швыряет, топчет и вешает? Да ведь это наше рабство. Вот кранцы – это люди, они уже несколько раз выкуривали свою Дору. Я там бывал. Мне рассказывали, как все произошло. Когда их немецкие господа начали им вбивать гвозди под ногти, они взялись за свою «старую правду», за толстую дубину, и ударили по господским спинам, а когда, на их счастье, им попадались какие-нибудь каменные палаты, они пускали красного петуха, так что господам и зимой становилось жарко. Вот это люди!

– Мато, Мато, – заметил Андро, – от вина у тебя волдыри в мозгу пошли. Попридержи язык, а то уж больно резво он скачет. Я тебя, честное слово, не выдам, да и ни один из нас не выдаст, но если какой-нибудь господский сынок услышит, как ты разглагольствуешь о старой правде, придется тебе почувствовать, чем хороша и чем плоха пеньковая веревка.

– Ну, и что ж? – отрезал Гушетич. – Лучше умереть человеком, чем жить скотом. Я уже сказал тебе, что мне все равно, куда меня черти унесут. А теперь прощайте!

С этими словами Мато вскочил, нахлобучил шляпу и, пошатываясь, направился к селу.

У всех стало тяжело на душе. Вино застревало в горле.

– Пойдем и мы, – сказал судья, – дай бог, чтоб все было хорошо. Прощай, кум Илия!

Сказав это, он подал хозяину руку и пошел с Андрией в село, а немного погодя и Яна повела слепого отца на покой.

Дети вошли в дом, кошка пробралась на кухню, а пес лег под лестницу. Все успокоилось; и когда закат озарил белые цветы боярышника, Илия запер двери.

Тихая майская ночь прекрасна, как сон. В траве не слышно сверчков, не чувствуешь ветерка на лице, звезды мерцают в ясном небе. На горизонте высится черная громада мрачных гор, а из-за деревьев на горном кряже то выглянет, то снова спрячется желтая луна, как будто и ей жалко смущать своим светом таинственный ночной мир, который, наподобие гигантской черной паутины, покрывает и горы и доли, и замки и хижины. Если б в кустах не блистал иногда светляк, то можно было бы подумать, что жизнь замерла!

По дороге, ведущей из Загреба в Сусед, ехала телега. Правил лошадьми крестьянин. Седок, казалось, дремал, а возница то напевал, то щелкал языком и понукал лошадей, то умолкал, прислушиваясь, как в темноте шумит Сава. Доехали до места, где дорога под Суседом идет вверх, достигли и вершины. Крестьянин слез, чтоб надеть цепь на колесо. Седок встрепенулся и закричал:

– Что случилось, Илия? Где мы?

– На горе под Суседом, господин священник; тут крутой спуск. Как бы лошади не понесли в Саву, – молоды, горячи, боятся всякого шума.

– Ладно, Илия, держи крепче да гляди в оба!

Илия Грегориш сделал, как сказал брдовацкий священник, сел в телегу, натянул вожжи, и так, потихоньку, поскрипы-

вая колесами, они спустились с горы. У священника уже сон прошел, и, когда под горой телега снопа поехала быстрее, он вступил в разговор с крестьянином.

– Ну спасибо тебе, Илия, за эту услугу, – сказал дружелюбно священник, – у меня были кое-какие свои дела в капитуле, но главное, надо было купить в городе лекарств. Мои все вышли, а больных в селе много. В прошлое воскресенье, после всенощной, я навестил десять человек. Да, доброе ты сделал дело!

– Почему бы мне не оказать вам услуги, господин священник? – ответил весело крестьянин. – От господ никаких распоряжений не было, свои полевые работы я почти что закончил, так как же мне было не услужить вам, когда вы наш друг, утешаете нас и лечите наши раны.

– Ну, как дела дома, как жена и дети? – спросил брдовацкий священник Иван Бабич.

– Все, что есть крещеного под нашей крышей, слава богу, здорово, да и на немую скотину жаловаться не приходится. Хлеба хороши, и виноград много обещает. Если не будет засухи или града, будет и благословение; морозов уже больше не боюсь. В Стубице же им, ей-богу, не повезло. Намедни мой кум, Матия Губец, шел по господским делам в Мокрицы и завернул ко мне. Так он рассказывал, что мороз у них все жестоко побил. Виноградники стоят черные. Госпожа Хенинг, ей-ей, не к добру переехала. А знаете ли вы, господин священник, не в обиду будь сказано, почему старуха

убралась из Суседа?

– Не знаю, дорогой Илия, я мало интересуюсь господскими прихотями. Эдак спокойнее.

– Верно, – согласился крестьянин и погнал лошадей.

Они проезжали теперь через село под Суседом. Собаки яростно залаяли из-под заборов, но огней в домах не было видно. Крестьянин продолжал:

– Поглядите-ка, ни одного огонька во всем селе. Они и летом живут, как настоящие барсуки. Ведь, по моему расчету, не больше десяти часов. Так по крайней мере по звездам.

– Верно, – ответил священник.

Илия погнал лошадей быстрее, а когда проехали село Запредиц, снова заговорил:

– Скажите мне, уважаемый господин, что предвещает эта перемена? Вы добры к бедным кметам, вы человек ученый, вы должны знать.

– Кабы знал, дорогой Илия, объяснил бы тебе, в чем тут дело, – ответил священник. – Но господа мне ничего не рассказывают; они (это я говорю только тебе) как-то косо на меня смотрят, потому что я друг крестьянам.

– Знаю, – подтвердил Илия, – бог вас вознаградит, – и добавил тише: – но их...

– Да, будем уповать на бога, сынок, – сказал старый священник спокойно, – будем сохранять хладнокровие, когда все хорошо, и не будем терять рассудка, когда плохо. Средний путь – лучший. И на нем есть ямы, ухабы и камни, –

да разве жизнь смертного обходится без несчастий? Но спокойная душа знает, что в этом мире у всякого крест; несем его и мы.

– Эх, ваша милость, – и крестьянин покачал головой, – мы-то ведь его несем за двоих.

– Знаю, – сказал священник, – но бог даст, придут и лучшие времена. В терпении – спасение!

– Эх, уж больно долго длится это терпение! Одни хозяин бросает нас в руки другому, словно мы початки кукурузы, и у каждого в руках остается по нескольку зерен, так что в конце концов мы становимся похожими на голый стебель. Хенинги, правда, не пьют пашу кровь, но, поверьте, народ по селам недоволен.

Они уже были вблизи Брдовца, и можно было на фоне неба разглядеть черный силуэт церковной колокольни, как друг из-за придорожных кустов выскочил дюжий детина и, подняв руку, закричал:

– Стой!

Илия одной рукой натянул вожжи, а другой потянулся за пистолетом, который был у него за поясом. Телега остановилась, и священник вскочил на йоги.

– Кто ты? – сердито крикнул Илия. – Зачем пугаешь лошадей?

– Убери руку с пояса, – спокойно ответил незнакомец, нет надобности. Я не турок и не гайдук, а честный человек. Помогите вам бог и святой Никола, люди божьи, и не досадуйте,

что я вас остановил среди темной ночи. Ответьте мне, бога ради, на мои вопросы.

– Говори, – сказал священник, продолжая спокойно стоять в телеге.

Человек приблизился, и так как из-за горы поднялась луна, то при ее свете его можно было разглядеть. Он был высок и худ. Хотя лицо и было освещено лунным светом, трудно было определить, какого оно цвета. Казалось, что вытянутое костлявое лицо с орлиным носом, из-под которого свисали длинные черные усы, так же как открытая грудь были из темной ореховой коры. На голове незнакомца была черная меховая шапка с красным верхом, на плечи накинута безрукавка; лунный свет причудливо играл в его черных глазах, на серебряных пуговицах жилета, на ноже и пистолетах за поясом и на тонкой цепочке длинного ружья, перекинутого через плечо.

– Если хотите знать, люди божьи, – продолжал неизвестный воин, положив правую руку на телегу, – я Марко Кожина, ускор из Сошица, и несу по поручению моего начальника, капитана Йосы Турна из Краньской, письмо господину бану. Не знаю, в чем дело, но мне сдается, что в Крайне неспокойно, хоть наш пресветлый император и заключил с турками мир. Вы знаете, чего стоит слово турка, и поэтому паши ружья должны быть всегда наготове. Ну, что бы там ни было, я несу письмо по приказу; и на прощанье господин капитан сказал мне: «На письмо, Марко, отнеси его бану. Знаю, что

ни сам черт, ни тем более турок его у тебя не отнимет. Но помни, молодец, не болтайся зря, – пропадет письмо, пропадет и твоя голова». Вот я и пустился в дорогу. Но, люди божьи, и борзая устаёт, – как же не утомиться человеку. Очувтившись перед вашим селом, я почувствовал такую усталость, что начал подумывать, не найдется ли добрая душа, которая Христа ради даст мне ночлег, накормит и напоит. Надо вам сказать, что в наших местах у меня по селам много знакомых, с которыми я сражался против турок под знаменем бана. А здесь – только куры сели на насест – все вымерло, точно какой-нибудь босанский паша опустошал этот край в течение трех дней и трех ночей и истребил весь род людской. Стучишься, стучишься, ни один человек не откликнется, только собаки на тебя лают, словно ты антихристово отродье. Спрятался я с горя за куст – думаю, не пошлет ли бог счастья. Вдруг слышу, телега – подъехали вы. Умоляю вас, не оставьте крещеного на ночной росе. Я, поверьте, не баба. Достаточно меня солнце пекло и дождь поливал, я не жаловался, раз нужда подошла и капитан приказывает. А зря зачем муку терпеть? Ну вот, я вам все сказал, а вы теперь покажите, что у вас есть сердце.

Пока ускок говорил и умолял их, во имя бога, о ночлеге, священник успокоился и сел; Илия, нагнувшись, спросил незнакомца:

– Если ты Марко Ножина из Сошица, скажи-ка мне, где ты воевал?

– Много спрашиваешь, – ответил ускок, – я только это и делаю. Скажу тебе только, что пошел седьмой год с тех пор, как я бился с антихристом Ферхадом под Единой, под командой Ивана Алапича и Иво Ленковича. Это стоит вспомнить, о всяких там перестрелках не следует и говорить.

– А кто был начальником? – продолжал допрашивать Илия.

– Огнян Страхинич.

– Так. А знал ли ты солдата, у которого дом в этом селе, а сам он родом из Лики?

– Честное слово, знал. Ты, верно, думаешь о Мато Гушетиче? Его нельзя назвать богатырем, но сабля его не знает пощады.

– Ну, ты наш человек, – сказал Илия, – вижу, что ты говоришь правду. Мато мне несколько раз упоминал о тебе как о храбром и честном человеке. Садись рядом со мной. Будешь моим гостем, ведь и я тоже провел немало кровавых дней под знаменем бана. Садись, Марко!

Илия обернулся к священнику:

– Не обессудьте, уважаемый господин, я по голосу слышу, что это человек хороший.

– Возьми его с собой, сынок, – сказал старик, – сделаешь доброе дело. Бог велел насыщать голодных, поить алчущих и давать путникам пристанище. Прими его.

– Я знаю, господин священник, что у вас дома все спят и нет огня, – думают, что вы только через два дня вернетесь.

Ведь вы, наверно, тоже голодны. И раз на мою долю выпал такой хороший случай – принять во имя божие этого славного молодца, так не сердитесь, если я и вас угощу чем бог послал. Не посмел бы этого сделать, если б вы уже несколько раз не удостаивали посетить мой убогий кров.

– С радостью, дорогой Илия, – ответил священник, – наш спаситель преломлял хлеб не только с богатыми, но и с убогими. А твой хлеб – честный хлеб.

После этих слов Илия завернул к себе во двор; на крыльцо вышла Ката. Она немало подивилась, увидев в столь поздний час таких неожиданных и странных гостей, по когдa Илия ей объяснил, кто такой Марко и как он его подобрал на дороге, голодного и жаждущего, она сейчас же принялась за дело. Хозяйство Илии, который не был уроженцем этого села, было лучше и чище, чем у других крестьян, живших большими семьями и не выделявших сыновей. Гости разместились в просторной горнице за дубовым столом, стоявшим в углу; другой угол был занят большой глиняной печью. Стояли еще две широкие кровати, два расписных ларя и ткацкий станок, а над столом внесло изображение святого Илии, ружье, два турецких пистолета и кожаная сумка.

– Скинь оружие, приятель, – сказал Илия, – довольно ты его потаскал.

– Верно, – Марко улыбнулся, показывая крупные белые зубы, и бросил гунь, торбу и пояс на ларь, а ружье прислонил у окна. Потом, потянувшись, он сел подле священника,

который спокойно расположился в углу. Пока гости усаживались, из постели высунулись две русые головки, поглядывая как-то боком, словно мышки, по когда ускорок потянулся, они быстро спрятались под одеяло; не испугалась только третья головка, которая показалась из-за большой печи. Это был черноволосый, черноглазый мальчик лет шести, в полотняной рубашонке. Заложив руки за спину, ребенок встал перед усатым Марко и начал его бесцеремонно разглядывать.

– А ты чей будешь, сынок? – спросил воин малыша.

– Я Степко Грегориц, – ответил тот серьезно, не моргнув.

– Ну, пошли тебе бог здоровья, сынок! Ты послушный?

Молитвы знаешь?

– Знаю, – ответил ребенок, – а ты кто?

– Я воин, сынок.

– А на что тебе оружие?

– Убивать турок.

– Посмотри, вон там ружье, – и малыш показал пальцем на ступу, – и мой тятя убивал турок.

– Поди-ка сюда, сынок, – сказал воин и, взяв ребенка, посадил его на колени; малыш молча то смотрел на его длинные усы, то трогал пальцами блестящие пуговицы. В это время Ката внесла ужин, а Илия кувшин вина.

– Иди в постель, – сказала Ката сыну с упреком, – что ты надоедаешь гостю? Тебе не ужинать надо, а спать.

– Оставьте, кума Ката, – перебил ее Марко, погладив малыша, – пусть посидит молодец. Ей-богу, красавчик, весь в

мать!

– Он же вам надоедает, кум, вы устали с дороги, – заметила Ката, покраснев от похвалы Марко.

– Оставьте. У меня дома тоже сынок. Глаза, как угольки, здоровый, крепкий, как кизиловое дерево. И когда, бродя по белому свету с ружьем, я встречаю такого соколика, сердце радуется и хочется поцеловать его, как сына.

На глаза у храбреца навернулись слезы, он поцеловал мальчика в лоб и добавил:

– Эх, что поделаешь! Видно, мать меня родила не для того, чтобы мирно глядеть, как растет мое потомство, а для того, чтобы бродить по свету и сносить туркам головы.

– А ну-ка, кум Марко, – пошутила Ката, – бросьте вы турок и турецкую кровь и займитесь-ка моими клецками и нашим вином.

Марко принялся за дело и ел и пил, как настоящий богатырь, а вместе с ним и господин священник подкреплялся так, словно и его родила женщина из горного племени. Говорил он мало, а все улыбался счастливой улыбкой; да он и не мог бы говорить, так как вино развязало язык Марко, и он пустился в молодецкие рассказы про князя Юро Слуньского, про бана Николу, про Ленковича, про то, как он убивал под Вировитицей, как грабил Винодол и в Лике туркам беды наделал, как его под Единой турецкая сабля полоснула по плечу, а другая в Крбаве разукрасила лицо. Говорил молодец, как сказку сказывал, и пил притом, как королевич Марко у

шинкарки Яни. Ребенок слушал его, как попа, разиня рот. Развеселившись, Марко сказал:

– Эх, брат Илия, всем тебя бог наградил. Скажи-ка, святой отец! – обратился он к священнику, – разве нехорошо Илии, разве не живет он, как пчела в полном улье?

– Бог наградил Илию, – сказал священник, – потому что он добрый и терпеливый человек и умеет одолевать всякие невзгоды.

– Это верно, ей-ей! – воскликнул ускок и так ударил по столу кулаком, что мальчик перепугался. – Видно, что он человек стоящий. Но, послушай-ка, Илия, мне твой малыш говорил, что ты стрелял в турок. И по-видимому, малый не выдумывает, потому что вон на стене ружье и пистолеты в серебряной оправе. Хорошее, видать, оружие! Такого плугом не заработаешь, да и ворон из него не стреляют. Бьюсь об заклад, что эти красивые серебряные доспехи были за поясом у какого-нибудь турецкого пограничника и что Илия добыл их в поединке.

– Несомненно, – заметил священник.

– Так оно и есть, брат Марко, – подтвердил Грегорич, сидевший рядом с Катой.

– Но как же ты бросил ружье и взялся за плуг, кум? Ну-ка, расскажи!

– Раз ты меня просишь, – ответил Илия, – я расскажу, и не посетуй, если я вернусь несколько вспять. Надо тебе сказать, что родился я не в этом селе, а в Рибнике, там дальше, за Ду-

бовцем, во владении Франкопанов. Франкопаны не плохие господа для кметов: ни кнута, ни побоев. Но они отважны, и кровь у них беспокойная, воюют с целым светом; а куда они с саблей, туда и их кметы с ружьями и копьями. Мне, брат, было тогда двадцать лет, кровь-то молодая. Проклятые турки владели Никой, а наши часто и охотно наезжали к ним на кровавый пир. И у меня явилась охота к этому, привык понемногу к ружью и к ножу, а так как я был молод и храбр, то старшие меня не раз хвалили. Однажды (был тысяча пятьсот тридцать пятый год) мы дошли до Обровца; турки нас потеснили, мы его отдали. Немногие унесли ноги, а меня, раненого, захватили турки. Был я красивый и бедовый парень. Понравился туркам, и они все закричали: «Сделай обрезание, будь нашим». Я сызмальства добрый христианин и душу за деньги не продаю. Но плен – страшная доля, а турецкий – просто смерть! Заковывают, бьют, морят голодом и жаждой; забываешь – человек ты или собака. Трудно мне было, знаешь, очень трудно. Как быть? Сказал турку: «Ладно, буду вашим». Дураки и поверили. Сняли с меня оковы, накормили, напоили, дали денег, а один их почтенный поп стал меня учить, какой великий святой был их пророк. Я слушал все эти длинные литании, как будто меня сам Магомет родил, и вот наступил канун дня, когда мне было назначено обрезание и я должен был растоптать крест. Была ночь, темная ночь. Днем я веселился, угощал турок, ругал (прости меня, господи!) христиан и пил, да так, что они решили, что я со-

всем опьянел. Закрыв глаза, а они подумали, что я пьяный заснул. Но когда они захрапели, я открыл глаза, взял пистолет, нож и кошелёк с цехинами, дополз до реки Земани, а там добрался и до моря. Нашел лодку, дал моряку половину моих цехинов, и он довез меня до Сеня, а оттуда я пришел домой. Прощай, Магомет! Но мне все же никак не сиделось на месте. Снова взялся я за оружие. Стоял со своим отрядом в Дубице. Это было в тысяча пятьсот тридцать восьмом году, когда баном был Петар Кеглевич. Господа Зринские, которым принадлежала Дубица, велели нам защищать ее. Были мы все молодцы как на подбор, но мало нас, а турок – уйма... Десять против одного. Как сейчас помню. Капитан послал около двадцати стрелков Зринского занять лесок над дорогой, по которой должны были пройти турки. Отправились мы на холм с песнями, хотя на душе было вовсе не весело, так как дело шло о нашей голове. Спрятались за дубы, зарядили ружья и стали ждать, что будет. Было, наверно, около полуночи. Луна стояла над рекой Уной, и я смотрел, как на воде играл ее свет. Вдруг послышался отдаленный шум, и вдаль запылало. Гляжу, а на той стороне церковь горит. Вскоре на дороге взвился столб пыли. Сомнения не было – идут турки. Я присел за дубом и поставил ружье на колено. Вот из облака пыли показалось несколько всадников. Можно было хорошо разглядеть их чалмы, копья их сверкали в лунном свете. Впереди гарцевал смуглый турок на вороном коне; у седла его болтались две окровавленные

головы. У меня застучало сердце, вскипела кровь. Подожди же! Прицелился, нажал курок. Грянул выстрел. Турок прохрипел «аман» и рухнул навзничь, а его вороной взбесился и понес, волоча за собой в стремени полумертвого всадника. Из-за дубов выстрелы вспыхивали один за другим, как молнии, и прямо в гущу турок. Тут падает конь, там всадник; поганые пришли в замешательство, ругались, кричали. Мы были высоко, а они все на конях. Турок стекалось все больше и больше. Под горой они выстроились, натянули луки, и в лес полетел дождь стрел. Я слышал их свист, слышал, как трещат ветки и падают листья. Пустили стрелы во второй раз. Три воткнулись в мой дуб, а четвертая пронзила шею моего соседа. Он на месте испустил дух. Но наши пули сыпались на турок градом. Ежеминутно какой-нибудь конь взвивался на дыбы, кто-нибудь из всадников валился на землю. Наконец, они спешили, и с криком «аллах!» орава повалила в гору. Первых мы уложили, по за ними шел второй ряд, потом третий, все больше и больше, а по дороге огромное множество их хлынуло по направлению к Дубице. Я крикнул товарищам отступать к замку. Мы стали отходить к Дубице. Слишком поздно! Путь был отрезан. Я потерял товарищей в лесу. Блуждал, блуждал, выжидая, поганые нас разыскивали меж деревьев. Погибать, что ли, зря? Не хотелось. Спрятался в кусты. Отсюда хорошо была слышна сильная стрельба. Наконец, Дубица запылала, турки взяли ее. На заре я спустился на дорогу и направился в сторону Костайницы; все было

тихо. Я даже ружья не зарядил. Как вдруг вижу, за мной погнались на копях два босняка.

– Стой, гяур! – крикнул первый. Я хотел защищаться, но в эту минуту второй палицей выбил у меня из рук ружье. Он уже замахнулся, чтобы раскроить мне голову, но первый ему сказал:

– Оставь, Юсуф, продадим его в рабство!

Отняли у меня нож, шапку и плащ, и зашагал я между двух всадников к Дубице. Тяжко мне было. Сто раз на ножах бился, саблями мерился с турками в Крайне, а тут не успел даже выстрелить, как уже попался в плен. Эх, почему у меня не было коня! Вдруг один говорит другому:

– Послушай, Юсуф! Я спущусь к Уне напоить коня, а ты подожди тут и постереги гяура.

– Ладно, Ибрагим, – ответил босняк; Ибрагим ушел. Я присел на пень у дороги. Юсуф тоже слез с коня и сказал: – Эй, гяур! Поди-ка сюда, я тебе свяжу руки, – и, сняв с коня ремень, шагнул ко мне. Смерив его взглядом, я сказал себе: «Ты, Илия, еи-ей, сильнее», и в голове у меня блеснула мысль. Я сделал вид, что протягиваю к нему руки, но в ту же минуту опустил голову и бросился турку между ног. Юсуф упал через меня, я живо перевернулся, вскочил коленями ему на спину и, выхватив у него нож, вонзил его в бок босняка. Ибрагим был довольно далеко и не мог нас видеть. Снял я с мертвеца оружие, доломан и чалму, спрятал труп в густом кустарнике, засыпал пылью следы крови, вскочил

на коня и помчался к Костайнице. Вдруг слышу позади себя крик:

– Эй, Юсуф! Эй, парень! Где ты?

И вижу, Ибрагим скачет вдогонку. Нельзя было показывать ему спину. Я повернул коня и поскакал навстречу. Турок встрепенулся. Видит чалму, доломан, копье, но не видит гяура. Было еще слишком далеко.

– Где же гяур?

– А вот где, – закричал я и выстрелил в голову коню, который свалился и придавил всадника. Долго еще слышались громкие причитания и брань Ибрагима, но я спешил в Костайницу. Когда князь Никола Зринский узнал об этой проделке, то подарил мне десять цехинов и два пистолета и велел служить при себе. И я служил ему; приятно служить герою, а Никола, брат, такой герой, какого не сыщешь между Дравой и Савой. С ним я защищал Зрин, с ним был и под Пештом. Боже мой, то-то было раздолье, когда мы скакали на янычар! Сказать правду, они воины хорошие, и каждый скорее умрет, чем уступит пядь земли. Но и смешные ж они! У каждого в шапку вложена ложка, а шапка-то похожа на мешок. Сперва все шло хорошо – и все ядра, стрелы, ружья и сабли благополучно миновали меня. Но, как говорится, не дремлет нечистая сила. Было это как раз в тот год, когда князь Никола стал баном. Мы в Загребе точили сабли, так как туркам никогда нельзя верить. Мне, ей-ей, надоело бить баклуши. Газ ночью затрубили сбор. Мой хозяин, са-

пожник, у которого я жил, сильно перепугался, а я схватил саблю, шапку и копье, пожелал ему «покойной ночи», да и был таков. Повел нас сам бан. Ну, думаю, пролиться крови, – потому что когда Никола садится на коня, он уж шутить не станет. Я служил в коннице бана. Шли мы все на север и так спешили, словно нас духи несли. Едва успевали кормить коней. Помнится, шли мы вдоль реки Крапины. У Запрешича присоединилась к нам штирийская конница; вел ее какой-то долговязый шваб со страшной бородищей. В пути мой товарищ Мийо Ковачич, почтенный загорец, рассказал мне, что турки взяли Мославину и, пожалуй, прошли уже через Крижевцы к Свети-Ивану, направляясь на Вараждин. Пришли мы к замку Конщина, что недалеко от реки Крапины. Расположились на равнине, а позади пас был лес. Отсюда, сказали, придет турок; и так оно, ей-богу, и вышло. Издалека заметил я их чертовы башки. Все всадники с копьями. Штирийские латники спокойно сидели на своих конях, но мы, всадники Зринского, – не могли! Битва еще не начиналась, и мы стали как бы шутить, забавляться. Мой отряд подкрался к туркам с фланга. В этой игре не одна чалма осталась пустой. Бан похвалил нас перед своим свояком Тахи, стоявшим рядом с ним, назвал нас молодцами, но игру приказал прекратить, потому что он с турками заключил перемирие. К черту перемирие, когда пришел сражаться! Мой отряд поставил копья, привязал коней, и всадники принялись пить загорское вино. Так же и другие войска. На турок мы не обращали внимания;

нехристи стояли напротив, в лесу. Я был зол, лег на брюхо в траву, возле своего коня, которого привязал к старому грабу. Солнце прогревает спину, а я лежу и смотрю кругом. В это время мимо меня проезжает бан. «Эй, Илия, – закричал он смеясь, – что ты тут баклуши бьешь?» – «Ваша милость, – отвечаю я, – мне охота драться». – «Погоди, будет и драка», – говорит бан.

Ждать пришлось недолго. Вдруг раздался такой шум и гам, словно все черти вырвались из преисподней. Обманул нас турок, нарушил мир.

– Накажи его бог! – закричал Марко, ударив кулаком о стол, а глаза его засверкали, как у дикой кошки. – Что же, вы дали ему за это?

– Какого черта! – продолжал Илия. – Не мы ему, а он нам дал. Я, право, и не знаю, как это случилось. Вижу только, что турки прут из лесу, как муравьи. Каналья заключил перемирие в ожидании, что к нему подойдет сильная подмога. Я вскочил на коня, схватил копье, шапка у меня свалилась, но было не до того, и бросился с голой головой на турка. Блеск, пыль, гром, ничего не видно, кроме копий, сабель и стрел; все это вертелось в каком-то клубке, пока не прилетело железное яблоко и не разметало толпу. Сабля бана сверкала как молния. Я прямо остервенел. Спервоначально немного дрожь пробирает, когда дело идет о твоей голове, ну а потом делаешься зверем. Наши всадники мчались, как черти, через кусты, через трупы людей и лошадей; а штирийцы так лупи-

ли турок, что весь лес гудел. Но вдруг (эх, я чуть не заплакал!) вижу: наша пехота без оглядки бежит. Трусы! Накажи их бог! Бросает ружья, патроны, сумки и шапки, словно сеет их. Саблями наголо мы стали гнать ее назад, и я своими глазами видел, как бан рассек голову одному пищальнику. Все напрасно. Бегут, сукины дети! Бегут в лес и нас тянут за собой. Турки прут отовсюду – спереди, справа и слева. Чисто саранча. Так и победили нас, канальи, обманом!

– А ты? – спросил Марко.

– Я, понятно, отступил с другими к лесу. И почти что спасся. Но в недобрый час пуля сразила моего коня. Я упал, ударился о пень, потерял сознание. А когда пришел в себя, то понял, что попал к туркам в плен. Будь здоров, Илия! Некогда было раздумывать о своем несчастье. Нас, пленных, собрали и, как скот, погнали в оковах в Дубицу, Баня-Луку, Дринополе и в Стамбул, где сидит турецкий султан. По дороге сняли с нас все до рубахи, били кнутом; спали мы на камнях под открытым небом, кормили нас крошками черствого черного хлеба. Оковы врезались до крови; половина из нас погибла в пути. Боже мой, и сколько же стран я, несчастный, прошел! Но, кроме своей беды, почти ничего не замечал. Однако это еще не было концом мучений. В Стамбуле нас бросили в вонючее подземелье и отсюда должны были распределить на галеры, на которых, закованные, мы бы и гребли до самой смерти. Значит, всему конец! Настал день, когда нас должны были вести на галеры. Вывели во двор. Я съежил-

ся, скорчился, как настоящий Лазарь, и стал причитать. Ко мне подошел какой-то старый турок, должно быть офицер, и спросил по-хорватски: «Ты что скулишь, мошенник?» Меня как громом поразило. Да и не мудрено, когда среди чужого тьявканья услышишь родную речь. «Напала на меня тяжкая болезнь, господин, – ответил я, – колет, болит, едва на ногах держусь». – «А откуда ты родом, гяур?» – «Я хорват, почтенный ага, из владений Франкопана». Турок подумал, оглядел меня и сказал часовому что-то по-турецки. Не знаю, о чем они говорили, но под вечер часовой вывел меня со двора и тесными улицами провел к большому дворцу. Тут он похлопал в ладоши, передал меня привратнику-негру, который повел на верхний этаж к хозяину. Это был тот самый старый турок. Он сказал мне по-хорватски: «Слушай, гяур, ты не пойдешь на галеру; ты мой раб и будешь работать в саду». Подумайте, господин священник, как я был счастлив. Я забыл о тяжелых оковах, забыл, что стою перед хозяином; сердце мое развеселилось, и я спросил старика: «А ты, почтенный ага, не сын ли нашего народа и нашей страны?» Старик побледнел, покраснел, отвернулся и махнул рукой: «Ступай!» С тех пор я его больше не видел. Проводил я дни за высокой стеной, поливая цветы и вырывая сорную траву. Боже, что за дурацкая работа для воина! От скуки и злости я иногда рубил головки цветам, воображая, что это турки. Нас, рабов, часто водили в город за покупками для хозяина. Как-то раз по дороге на базар познакомился я с моряком из Вене-

ции, понимавшим по-хорватски, потому что он был далматинец. Я поведал ему о своей беде. Он и говорит: «Это дело поправимое, земляк». – «Как?» – «А здесь за деньги можно все сделать, я подумаю!» Через несколько дней я его снова встретил, и он говорит мне: «На, возьми, это бутыль ракии, ее сам черт сварил. Угости привратника и садовника, да так, чтобы они упились, как скоты, а я тебя буду поджидать перед дворцом». Сказано – сделано. Напоил я чернолицых пьяниц. Ракия их одолела, а я схватил топор, разбил оковы, так что кровь пошла, и выломал двери. Далматинец сдержал слово. Под покровом темноты добрался я до судна, а через два дня ветер помчал нас домой. Когда наши меня увидели, решили, что мертвый встал из могилы. Но я сказал, что я живой и что с меня довольно шуток. До трех раз бог помогает, а в четвертый может и черт попутать. Тогда я бросил солдатскую жизнь, но с той поры за мной осталась кличка «Беглец», потому что я три раза бежал из турецкого плена.

– Ты, ей-богу, герой, и даже больший, чем я, – сказал Марко, глядя на Илию с восхищением, – жаль, что ты бросил ружье, потому что такие люди, как ты, не каждый день рождаются. Эй, вернись-ка!

– Что вы соблазните моего мужа, Марко, – перебила быстро Ката, схватив Илию за руку.

– Не бойся, родная, – и Илия улыбнулся спокойно, – я в жизни испытал довольно мучений и теперь хочу отдыхать возле моей милой.

Ускок опустил голову и задумался.

– Да, – сказал он наконец, – человек похож на пробку, плавающую на воде. Вода его носит туда-сюда. Счастлив тот, кто выплывет. Не так ли, отец святой?

– Человек предполагает, а бог располагает. Милость божья велика и не покидает добрых людей, – ответил священник.

– А как ты попал сюда? – спросил ускок.

– А так, случайно. Я и раньше знал эти края. Дома, в Рибнике, все мои померли, кроме брата Николы, которым я как раз похвастаться не могу. Бан разрешил мне не нести барщину, а служить где хочу. Пришел я сюда, служить госпоже Хенинг, по рекомендации господина подбана Амброза, тому девятнадцать лет. Потом дали мне эту усадьбу; и так как тут было пусто, я сказал себе: надо жениться, Илия. Скоро представился случай. Однажды пошел я по хозяйскому делу в Пищец, в Штирию, в дом некоего Освальда, который покупал у господ вино. У Освальда была славная служанка, – вот она, моя жена. Околдовала она меня, и я спросил ее: «Пошла бы ты за меня, Ката?» А она вместо ответа скинула черную штирийскую юбку, надела опанки и оплечак. Так мы встретились, так поженились, тому будет девять лет на масленице, и, ей-богу, даже во сне никогда не пожалел, что из штирийки сделал хорватку.

– Ну, это прекрасно. Послал вам бог счастья, дай вам бог и здоровья! – И ускок поднял кружку. – Хороший ты чело-

век, Илия, и, если ты согласен, давай поцелуемся крепко и побратаемся.

– Давай, Марко! – сказал Илия, протягивая ему руку.

– За молодецкое здоровье, за молодецкую честь, дорогой Илия! Вот кладу руку на голову твоего сына и клянусь богом и святым Николой быть тебе братом в счастье и несчастье, твоей жене быть вместо брата, а твоим детям – вместо отца. Моя правая рука – твоя надежда, моя молодецкая честь – твоя защита. Если я нарушу клятву, пусть бог не даст счастья ни мне, ни моему потомству. А ты, отец святой, благослови!

– Слово крепко, как бог свят, – ответил Илия.

– Аминь! – заключил священник с кротким лицом и благословил старых героев и новых братьев.

Возле старой ратуши, напротив женского монастыря св. Клары, стоит дворец князей Эрдеди. Первого августа 1564 года сюда спешно прибыл бан Петар из своего имения Желина. Вероятно, по срочному делу. Петар, в дурном настроении, с заложенными за спину руками, шагает взад и вперед по просторной комнате. Его ясные синие глаза устремлены на каменные плиты пола; он то поглаживает длинную светлую бороду, то проводит рукой по коротким волосам и высокому нахмуренному лбу. Лицо бана осунулось, пожелтело; он, видимо, много пережил; он задумчив, его гнетет какая-то забота. Он не обращает внимания на то, что его длинный вишневым камзол запылен, бирюзовые пуговицы кое-где расстегнуты, что его высокие сапоги из грубой кожи в грязи; он даже не замечает женщины, которая сидит у окна на расписном ларе и держит на руках трехлетнего мальчика. Женщине можно дать лет двадцать семь. Она довольно полная, с румяным лицом и черными волосами; глаза у нее словно черные вишни, но в них нет души. Черты лица ее грубоваты, лоб не выказывает ума, толстые губы и короткий нос изобличают гордость, даже высокомерие. Да и не удивительно! Она супруга бана, вторая жена Петара Эрдеди и дочь славного героя Ивана Алапича. Она не умна, но, пожалуй, несколько хитра, как все дочери Евы. По всему видно, что

это жена бана и важная дама, хоть она только что с дороги. На ней кунтуш из черного Дамаска, отороченный кунным мехом. Из-под кунтуша стелется сборчатая юбка, из гранатового сукна. Из-под юбки виднеются довольно толстые ноги в желтых башмаках с узкими носками, положенные одна на другую. На шее кунтуш застегнут двумя литыми серебряными бляхами: на одной изображен герб Эрдеди – наверху пол-олена, внизу полколеса; на другой герб Алапичей – корона и над ней железная рука, которая замахивается саблей на звезду. Ее густые волосы покрывает бархатная шапочка, вышитая жемчугом. Склонив голову, жена бана глядит на своего ребенка, который вырывается из ее рук, и гладит его златокудрую головку. Мать ласково смотрит на сына, слегка улыбается, и лицо ее озаряется нежностью. Может быть, в этом малыше она видит залог своего счастья. Вдруг она поднимает голову, открывает крупный рот и, пристально глядя на бана, говорит:

– Господин Петар, друг мой! Что с вами? От Желина до Загреба вы не проронили ни слова, да и сейчас шагаете по комнате молчаливый и задумчивый, как будто тут нет ни вашего сынка, ни вашей жены. Что с вами?

– Барбара, жена моя, – ответил бан, подходя к ней и лаская сына, – не спрашивай. Эти заботы не для женского ума, здесь нужна железная голова, голова мужчины.

– Ну вот, – продолжала вкрадчиво Барбара, – значит, твоя жена ничего не стоит? Глупа, что ли? Но ты неправильно су-

дишь, мой друг! Ты не знаешь, что такое женщина. Сердце женщины не может биться спокойно, когда мужчина хмурит лоб; женский глаз легко читает в вашей душе, даже без помощи святого духа.

– А что же читает твой глаз? – спросил Петар.

– Отгадать?

– Отгадай, госпожа супруга бана, – сказал, улыбаясь, бан.

– Вы думаете о том, каков будет новый король Макс.

– Пожалуй. А еще что?

– И сердитесь на Николу Зринского.

– Не говори мне о нем, – отрезал недовольно Петар, быстро отвернувшись к окну.

– Вот и угадала! – сказала Барбара живее. – Да, вы сердитесь на князя Николу, потому что он для вас вечная помеха. И это верно. Этот ростовщик, эта рвань отравляет вам жизнь. Разве не обманул он вас, как настоящий гайдук? Сосватал за своего сына Джуро вашу дочь Анку, и по этому случаю вы ему передали мадьярские замки.

– Все это дело рук его покойной жены Каты Франкопан и моей покойной жены Маргариты Тахи, а ее научила тетка Ела; мне же нужны были деньги.

– И к чему же привели эти женские хитрости? Твоя Анка была оставлена, Джуро женился на немке Арко, а Никола тебе ничего не вернул и только вовлек тебя в тяжбу с Грегорианцами.

– Оставим это, Барбара, – ответил бан, – это старая исто-

рия, и не она меня заботит; да и со Зринским я помирился.

– На словах, но не в сердце, – заметила язвительно жена бана, – а вот у меня голова полна забот, потому что и я и сыновья мои Петар и Томо обобраны. Разве этот жадный Никола не хотел отнять у меня и Цесарград? Но погоди еще несколько месяцев, когда он женится на этой пышной чешке Еве Розенберг, у которой, говорят, целые мешки пражских денег. Вот тогда-то и покажет себя владелец Озаля! А разве Грегорианцы сейчас на тебя зубы не точат?

– Правда, – ответил бан, – я никогда не забуду князю Николе того, что он осрамил мою родственницу, дочь Бакача, и не думаю, что наши два рода могли бы когда-либо искренне помириться, но я достаточно силен, чтобы обуздать Грегорианцев. Меня не мучит забота обо всем этом. Но я ненавижу Николу, потому что всюду он стоит на моем пути и делает вид, что я для него как бан не существую. Был он баном – от банства отказался, был королевским капитаном – и от этого отказался. Король Фердинанд его очень боялся. Убил Кациянара – и ничего ему за что не было; турки сами говорили королю, что они его подкупили. Я этому не верю, но надеялся, что уже из-за одного подозрения он впадет в немилость; однако опять ему ничего не было... да, впрочем, он получил все Междумурье. В прошлом месяце умер Фердинанд; сын его Макс созвал, как я слышал, государственный совет в Пожуне, чтоб переговорить об угрозе от турок. Что ж, позвал он меня, бана? Нет. А позвал Николу, опять Николу, кото-

рый «и храбр, и славен, и знатен». Не поймешь этого человека: то запрячется в один из своих замков, отказывается от почестей, противится королю, а потом как вскочит, как начнет швырять деньгами да бить турок, – ну, народ его и прославляет. Никола ведет себя с королем, как девушка, которая отнекивается и прячется от любимого, чтоб его больше раззадорить. Он стоит у меня на пути; он меня заслоняет, но что я могу поделать, – он герой, он могуществен, за ним стоит сильная партия. Вот почему я ненавижу его.

– Но разве нельзя победить эту партию? – спросила Барбара.

– Трудно. Может быть... Попробую.

– Как? – спросила она с любопытством.

– Никола на ножах со своим свояком Тахи. У Тахи здесь много приверженцев, да и при дворе у него есть друзья; он станет на мою сторону, он мне поможет. Из-за него-то я и приехал.

– Из-за него? – спросила женщина удивленно.

Петар собирался уже отвечать, но вдруг повернул голову в сторону двери, за которой слышались громкие голоса. Вошел слуга и доложил, что господин подбан и какая-то пожилая дама хотят видеть бана. Слегка смутившись, Петар проговорил внушительно:

– Скажи, что не хочу... Нет, что не могу, что у меня срочные дела... Никак невозможно!

Но в эту минуту дверь позади слуги отворилась. В ком-

нату стремительно вошел высокий красивый старик, лысый, смуглый, с длинной седой бородой и серьезным гордым лицом. Отстранив слугу, он шагнул вперед, а за ним вошла госпожа Уршула Хенинг, бледная, гневная и заплаканная. Петар вздрогнул и изменился в лице.

– *Magnifice domine* бан, – произнес спокойно и отчетливо старик, – простите! Слышал, что у вас дела. Но самое важное для вас дело – это то, с которым пришел я. Произошло нечто неслыханное – разбой. Бан в нашей стране – все равно что король, должен во всякое время охранять справедливость, для него ничего не может быть более важного.

Бан нахмурился и окинул пришельцев злым взглядом, но старик гордо поднял голову и спокойно смотрел на Петара, заложив руки за широкий серебряный пояс, охватывавший его камзол.

– Что вам угодно, *domine Ambrosi*? – спросил серьезно Петар, в то время как жена его кидала быстрые взгляды то на подбана, то на его спутницу.

– Для себя – ничего, – ответил Амброз Грегорианец, – но я ваш заместитель, я привел к вам эту благородную даму, которая намерена просить вас о многом...

– Которая вынуждена просить обо всем... – воскликнула Уршула, едва дыша от злобы. – Прошу обо всем, бан, потому что всего лишилась. Вы, конечно, знаете, кто я.

Петар кивнул головой и сказал вполголоса:

– Говорите, госпожа Хенинг.

– Да, я буду говорить, – вспыхнула Уршула, подняв голову и положив руку на кипевшую гневом грудь. – Не знаю, с чего начать, что сказать. Змея лютая легла на мое сердце, боль и горечь сжимают горло. Простите! Какой грех, какой позор! Но вы меня выслушаете, не правда ли? Вы должны меня выслушать, потому что я женщина, вдова, мать, потому что я умею быть и львицей. Слушайте же, прошу вас! Если на вас в лесу набросится человек и сорвет с вас золотую цепочку, вы скажете: это разбойник, таково уж его ремесло; если я его поймаю, то поташу на виселицу. Если зимой на вас нападет голодный волк, вы скажете: это бессловесная бешеная тварь, таков уж его нрав, и пулей прострелите ему голову. Если на вас в поле налетит дерзкий турок, вы скажете: это враг креста и моей свободы, и лихой саблей отрубите ему голову. Все это естественно. Но что вы скажете, когда крещеный человек обольщает несчастных родственников поцелуем Иуды, когда главный судья в королевстве вымогает обманным путем договор у вдовы, а потом рвет его, топчет и плюет на свой древний герб? Что? Что вы скажете, когда седобородый вельможа, который рядом с королем носит его королевское знамя, темной ночью, тайно, словно разбойник, выгоняет несчастную вдову с детьми из старого родового гнезда прямо на голую землю, на жесткие камни, без всего? Это неестественно, это бесчеловечно; так поступают звери, дьяволы! Что вы на это скажете, domine бан, что?

Петар Эрдеди ничего не ответил.

– Я вижу, вы меня не понимаете, – продолжала Уршула, – я, наверно, говорю глупо! Язык заплетается, я потеряла разум. Да и может ли быть иначе? Я почти потеряла веру в бога. Я постараюсь успокоиться. Слушайте. Вот как было дело. Баторий заключил со мной договор; вы это, вероятно, знаете?

– Знаю, – ответил бан, спокойно глядя на разгневанную женщину.

– Согласно договору, я переехала жить в Стубицу, и это вы знаете.

Бан подтвердил.

– И вот что произошло. Некоторое время мы хозяйничали спокойно, как было договорено. Я была счастлива, что настал мир; и была глупа, что поверила. Неделю тому назад я поехала с детьми погостить в Брезовицу. Там со своей второй женой, Дорой Мрнявич, живет господин Амброз Григорианец, свекор моей дочери. Еду назад, приезжаю в Загреб. Тут ко мне является бледный, взволнованный зять мой Степко и кричит: «Теща, убей их бог, они ограбили вас! Я узнал, что Баторий тайно продал Тахи все имение, и свою и вашу часть. Намедни хитростью удалил ваших людей из Стубицы. Ночью приехал каноник Всесвятский и судья Моисей Хумский и ввели Тахи во владение всем поместьем. Вещи ваши выбросили. Никто не протестовал. Тахи засел в вашем родовом гнезде. Все это я узнал в городе, в доме князя Коньского». Так сказал мой зять Степко... У меня потемнело в

глазах. Я закричала: «Зять, ты с ума сошел, ты лжешь!» И нарочно засмеялась. Но это была не ложь, а сущая правда. Села я в экипаж и поехала по направлению к Суседу. Смотрю, а на башне развевается не знамя Батория или Хенинга, а черный лев на синем поле; да вы его знаете, это знамя вашего первого тестя. И когда я подъехала к замку, когда постучала в ворота, то в окне показался этот черт Петар Петричевич и крикнул: «Идите себе с богом, госпожа, это замок достопочтеннейшего господина Ферко Тахи, а я его кастелян». Ворота так и не открылись, а под горой я нашла раненым своего слугу, Андрию Хорвата, которого Тахи прогнал из замка. Он мне подтвердил все, что сказал Степко. Сердце у меня закипело, но я смолчала. Что могла сделать женщина с тремя девушками против твердыни, полной слуг и солдат? Так ночью мы приехали в Стубицу, в нашу Стубицу. И опять мне кто-то из замка крикнул сквозь смех: «Это принадлежит Тахи», а все мое несчастное имущество валялось под стенами замка под открытым небом. У меня не было ни дома, ни приюта, не было даже того, что имеет последний мой кмет. Боже! Согрешила я тогда. Прокляла день, прокляла ночь, прокляла мир, все прокляла! Ох, не дай бог ни вам, ни вашим детям дожить и пережить такую ночь. Не всякий ветер сгибает меня. Но эта стрела пронзила мое сердце. Господин Джуро Рагдкай принял меня на ночь; потом я поехала к своему зятю Степко, в Мокрицы, а сегодня пришла к вам, domine бан, и взываю во всеуслышание: верните мне отнятое родовое гнездо,

защитите вдову, защитите сирот, решите это быстро, мечом, докажите, что на свете есть еще правда, что жадный зверь не смеет вырывать изо рта у несчастных их насущный хлеб. Бан! Во имя чести королевства Славонии я обвиняю перед вами Тахи в разбое! Правды прошу, правды!

Голос изменил женщине. Дрожа всем телом, сжимая свои сильные руки на взволнованной груди, стояла Уршула перед баном. Лицо ее пылало, губы тряслись, глаза сверкали. Стоявший рядом с ней, как каменное изваяние, подбан Амброз кратко сказал:

– Все, что говорила эта благородная дама, сущая правда, клянусь честью!

Бан молча глядел в землю; наконец он проговорил:

– Возможно, верю, что все это правда. Господин Тахи поступил не умно. Но у нас в королевстве есть, слава богу, судьи и законы, а судьей вместо короля являюсь я. Но здесь не суд, и вы, благородная госпожа, должны будете доказать все, что вы сейчас сказали. Тяжба должна идти законным путем. Кроме того, надо расследовать, в какой мере князь Баторий нарушил закон. Должен вам еще сказать, что *judex curiae* неподсуден бану. Все это, значит, надо хорошенько расследовать.

Уршула отступила на два-три шага, широко раскрыла глаза и посмотрела на бана, а старик Амброз нахмурил брови.

– Так вот ваша правда, ваш суд? Я должна все доказать? Да разве надо доказывать, что солнце сияет в небе? Действо-

вал ли Баторий законно, когда убил человека? Законная тяжба! Ох, знаю я, что это значит. Знаю я, какими путями идет эта правда. Кривыми, долгими, узкими, где на каждом шагу зияет пропасть. Законная тяжба, говорите вы, хорватский бан? Да разве разбойник заслуживает что-нибудь, кроме виселицы? Ваша законная тяжба будет тянуться сто лет, и я и мои дети подохнем с голоду! – взвизгнула Уршула и закрыла руками мокрое от слез лицо. – Но, говорю вам, бан, – и она резко выпрямилась – вы судите неправильно, не как хорватский бан, а как зять Тахи; это не правосудие *juris civilis*,²⁷ а насилие, это *nota infidelitalis*,²⁸ это преступление, в котором и вы становитесь виновным...

– Госпожа Хенинг, – вспыхнул Эрдеди, и яркая краска залила его лицо, – обуздайте ваш язык, вспомните, что перед вами королевский наместник и что в моем лице вы оскорбили и короля.

– Не боюсь я вас, дорогой мой бан, – взвизгнула Уршула, подняв кулак. – Прикрывайте сколько хотите ваши собственные интриги плащом его королевского величества – не боюсь я вас; я сброшу эту высокую защиту, расшатаю столбы, на которых покоится ваша ложная правда, и пусть узнают, что весы вашего правосудия изъедены ржавчиной, а ваши законы – червями. Вы сражаетесь с турками во имя святого креста, а сами клятвопреступничаєте, вы сами – турки!

²⁷ по гражданскому праву (*лат.*).

²⁸ знак вероломства (*лат.*).

И чего вы стараетесь? Бан Петар. ваше преступление падет на вас, на вашу жену, на ваших детей...

Услышав это, жена бана, еще теснее прижав к себе ребенка, вскочила. Ее черные глаза загорелись злым огнем.

– Пусть отсохнет ваш язык, госпожа Хенинг! – крикнула она.

– Довольно, – загремел Петар, шагнув к Уршуле, – я вам повторяю – здесь не суд. Подайте жалобу, как того требует закон. У вас есть и адвокат – господин Амброз опытный юрист.

У подбана задрожали веки, его лицо побагровело. Спокойно, но громко он проговорил:

– *Magnifice domine!* Госпожа Хенинг сказала правду. Это не имущественный спор, это преступление. Бан! Неужели вы не хотите прийти на помощь этой вдове?

– *Via juris*,²⁹ – сухо ответил бан. – Это все, что я могу вам сказать, господин адвокат!

Амброз вздрогнул, ноздри его расширились, он сжал губы, помолчал, а потом сказал:

– *Magnice domine* бан! Да, я буду ее адвокатом, так как убедился, что ваша богиня правосудия хромает. Это говорю вам я, подбан. Родственные связи туманят вам глаза. Горе отчизне, горе народу, где грубый обман и дикий произвол дерзают укрываться под сень правосудия. И хоть вы и князь Петар Эрдеди и жезл вашей власти расточает гром, я

²⁹ Законным путем (*лат.*).

его схвачу и сломаю, чтоб он не мог больше позорить дворянство и чтоб эта страна, сто раз растоптанная, не была добычей неумной алчности господ.

– Ха-ха! – засмеялся бан, смертельно побледнев. – Завыл старый волк из замка Медведь, сподвижник Николы Зринского; но пусть этот хитрый бывший кастелян остерегается моей железной руки.

– Да, – сказал Амброз, – суровой расправой отомстит старый волк за поруганное право.

– Да, видит бог, – крикнула Уршула, – и старая Хенинг поднимется. Прощайте! Готовься, бан! У меня зубы железные.

– Прощайте, – воскликнул бан. – Петар Эрдеди не боится ни бабьих набегов, ни стариковских проклятий.

Амброз и Уршула быстро вышли во двор, а Петар устало прошептал Барбаре:

– Ну вот, выстрел грянул! Я знал, что буря надвигалась. Тахи мой, я докажу этим трусливым сливарам, что Петар Эрдеди все-таки бан, пусть даже ценою боев и крови!

6

На расстоянии приблизительно двух ружейных выстрелов за церковью Верхней Стубицы, по направлению к селу Голубовцу, стоит, словно прислонившись к горе, небольшой дом. Трудно сказать – крестьянский он или господский. Дом каменный, с дощатой крышей. Позади него, на горе, зеленеет виноградник, а по бокам прячутся в кустах амбар, хлев и пресс для выжимания винограда. Перед домом холм постепенно спускается к дороге. Пространство это огорожено забором, по которому ползет выюнок. На лужайке кое-где посажены подсолнух и мак, по дому вьется плющ, а посредине двора раскинуло свои ветви старое ореховое дерево. Полдень давно миновал, солнце склонилось к западу; в низины Стубицких гор медленно спускается мрак, и лишь на вершинах играют золотистые лучи. На скамье под ореховым деревом сидит мужчина и обтесывает ярмо для волов. По всем признакам – это хозяин дома, но не знаешь – кмет он или свободный крестьянин. По одежде судить трудно. Кметы такой не носят. На нем штаны из дорогого сукна, сапоги светлые, из тонкой кожи, с узкими носами, белая вышитая рубаха, на темном жилете тесно нашиты серебряные пуговицы, шея обмотана красным шелковым платком, на голове кунья шапка. Еще труднее судить по фигуре и по лицу: он высок, тело могучее, как дуб, мышцы словно из камня, пле-

чи ровные, широкие, а грудь на двоих. Шея крепкая, голова большая, немного удлинённая сзади. Блестящие русые волосы расчесаны надвое, над крупным носом высокий лоб, внизу узкий, вверху широкий, с двумя-тремя поперечными морщинами. Из-под прямых густых бровей загадочно сверкают темные глаза. В них видны и мужской разум, и женская мечтательность. Лицо у мужчины крупное, продолговатое, к подбородку округленное. Бороды нет, усики маленькие, подстриженные. Лицо спокойное, бесстрастное; ни один мускул не дрогнет, – как у человека, который много думает, редко сердится и ничего не боится. Кожа у него ни белая, ни смуглая. Он работает усердно, не меняя выражения лица даже и тогда, когда твердое дерево не поддается топору. По временам, однако, выражение это меняется. Когда он о чем-то задумывается, лицо становится серьезнее, глаза темнеют, как бывает, когда умный человек испытывает глубокое страдание. И тогда он принимается тесать еще усерднее, стараясь разогнать невеселые думы. Дворянин ли этот человек? Если и нет, то, во всяком случае, облик у него благородный.

Вдруг он опустил топор и посмотрел в сторону Стубицы, откуда быстрыми шагами шел молодой, худой и смуглый крестьянин, который, видимо, спешил. Войдя во двор, он подошел к хозяину.

– Слава Иисусу Христу! – сказал он.

– Во веки веков! Джуро! Что случилось? Почему ты так спешишь? Ты ко мне бежал? – спросил старший.

– Да, дорогой дядя, – ответил парень, – дай дух перевести. Если б ты знал, что случилось! Прокля...

– Сядь, Джуро, успокойся и расскажи!

– Ох, ох, дядя, сам черт принес нам этого нового владельца. Горе горькое. Слушай! Ты знаешь эту бедную вдову Катку Марушич из Запрешича?

– Знаю.

– У нее пятеро малолетних детей. Мужа ее забрали в солдаты, турки его зарезали. Мучается, бьется, бедняжка; ее ведь все уважают...

– Ну?

– Ну, приходит к ней слуга Тахи, Петар Бошняк, убей его бог. Этот антихрист наговорил и нашептал госпоже Тахи, что Марушич за старую госпожу и против новой. Правда, госпожа Марта и барышня Софика часто навещали Марушич и не раз приносили ей, бедной, подарки, но чтоб она бранила госпожу Елену, так это неправда: она бы побоялась это сделать. Но ложь подобна сорной траве: где упадет зерно, там за ночь бурьян покроет все поле. И что же? Подумайте только, дядя! Госпожа Елена и этот наш новый владелец поверили пустым словам Петара, и плохо пришлось Марушич. Приходит Петар в Запрешич с бандой таких же, как и он. «Покажу я тебе госпожу Уршулу! – крикнул он ухмыляясь. – Увидишь, где твой бог, поганая собака!» И так ударил бедняжку кулаком в спину, что она упала ничком. Разбойники выломали ворота, забрали весь хлеб, гречиху, кукурузу и откормлен-

ного вола, которого ей подарили старые господа. Мало этого. Отняли прекрасный виноград, разграбили кладовую, взяли вино; бедняга сидит на камне перед своим домом и плачет, плачут и дети, так что сердце разрывается.

– Неужели это правда? – спросил Матия Губец; побледнев, он бросил топор и вскочил на ноги.

– Это такая же сущая правда, дядя, как то, что меня зовут Джуро Могаич, что я круглый сирота, которого вы с малых лет кормите и защищаете. Я сегодня был в Запрешиче, видел бедную вдову и готов был заплакать. Что ж, эти господа бога, что ли, не боятся? Спросите сами Грго Зделара, Степана Елаковича и старого Мато Ябучича из Запрешича. Они вам еще больше расскажут; они все видели собственными глазами.

– Видели собственными глазами? – переспросил Губец с гневом. – А что же они делали собственными руками?

– А что же было делать? Собрались, пошумели. Да что толку? Вскоре в село пришел целый отряд, вооруженный острыми копьями. Разместились у судьи. Тут всю ночь пили, все побили, а судья молчал. Боже мой! Сила!

Губец опустил голову и прикусил нижнюю губу.

– И такие же черные вести, дядя, приходят и с других сторон, – продолжал Джуро. – Старый Тахи – сущий черт! Кто до зари не выйдет на барщину, того палками бьют перед Суседом, а опоздает приказчик на минуту, его – в колодки, где он и жарится целый день на солнце. Да, у Мато Мандича в

Брдовце отняли дом, поле и виноградник и прогнали с побоями, как собаку.

– Эх! – вздохнул Губец гневно.

– Беда, дядя, беда! А теперь господа грозятся, что будет еще хуже и что, кто только посмеет слово сказать, тому голову долой. Они разузнают повсюду, вокруг Суседа, в Тргови-не, в Яковле и в других селах, кто остался верен старой госпоже, и тому угрожают кнутом. Старый, сивобородый Тахи – черт, и жена его Елена – тоже с рогами. У бедного кмета, что служит при церкви в Пуще, был единственный поросенок; госпоже надо было приготовить жаркое, – ну, этого послед-ного его поросенка и погнали в Сусед. Но самый сумасброд-ный из них – это молодой господин Гавро. Он стреляет из ружья по кметским лошадям и коровам, водит всюду с собой целую свору собак и натравливает их на крестьян. Намедни они едва не растерзали старого Юрко из Брдовца, и сделали бы это, если б моя Яна не принялась лупить их палкою по морде.

Губец стоял в раздумье, скрестив руки. Он погрузился в тяжелые мысли, в его груди словно шел великий бой.

– Да, – продолжал парень торопливей, – я ведь, дядя, при-шел и по своим делам; и у меня не все ладно, хотя я и не кмет, а свободный.

– Что случилось, Джуро? – спросил Губец, поднимая го-лову.

– Скажите, дядя, когда же вы, наконец, пошлете сватов к

Яне?

– Не бойся, будет и это! – успокоил его Губец.

– Ах, дорогой дядя, «будет» – так цыгане говорят, гадая. Что я не отступлюсь от Яны, вы знаете хорошо, и она привязалась ко мне, да и вы не противитесь. Ни я, ни она никакого зла вам не причинили. Мое хозяйство, слава богу, не из плохих. Я построил себе славное жилье. Родственники на меня злятся, завидуют мне, не лежит у них ко мне сердце. И вот я, ей-ей, один, как дерево среди ровного поля. Эх, скорей бы этому конец, очень уж мне тяжело ждать.

– Вот тебе на, паренек, – сказал Губец, – ему тяжело ждать! Погляди-ка! А где у тебя борода? Садись на скамью и слушай.

Джюро, недовольный, сел; сел и Губец. Дядя опустил голову, положил руки на колени и спокойно сказал:

– Ты, правда, еще без бороды, но тебе уже пошел девятнадцатый год и молоко у тебя на губах уж обсохло. Когда твоя покойная мать, моя сестра, умирала, она подозвала меня к постели и сказала: «Брат! Моя песенка спета, пора покидать этот свет. Грудь мою словно камень давит, плохо мне, плохо; слава богу, что еще не хуже. Богом заклинаю тебя, брат, об одном! После меня останется мой единственный сын Джюро; глаза его отца давно уже закрылись, а теперь скоро их закроет и мать, некому будет о нем позаботиться. В доме моем живут мои родственники, и так как моему сыну по наследству принадлежит половина, то они завсегда против него и,

как только представится случай, будут ему вредить. Будьте ему вместо отца-матери, ты и наша старуха мать. Берегите мальчика, потому что кости мои не найдут покоя в могиле, если ему будет плохо. Поклянись мне, что ты будешь думать и заботиться о нем, поклянись, и тогда я умру спокойно». И я поклялся, слышишь ли, честью поклялся ей перед смертью, а она повернулась и спокойно уснула навеки. И что я обещал, то и исполнил. Кормил и охранял тебя как от чужих, так и от родственников в твоём доме.

– Да, дядя, и спасибо вам за это.

– Ты видишь, Джуро, что я желаю тебе добра. Поэтому надейся на меня. Я всегда думаю о тебе, и я и твоя бабушка, моя мать. Взял бы я тебя в свой дом, но ты свободный, а я кмет, тогда и тебя могли бы сделать кметом. Лучше, что ты живешь на своей земле, хотя, как я уже сказал тебе, твои сородичи зарятся на твою часть; знаю я, что ты задумал, – сердце твое пленила Юркина Яна. Бедная она, но это не важно; она честная и работающая. Сородичи твои подбивают тебя жениться на богатой, а я говорю: бери Яну, потому что у одних девушек богатство в одежде, а у других – в сердце. Но всему свое время, сынок, и поверь, не напрасно у меня выросла борода. Легко найти жену, которая народит детей, но в хозяйстве нужны крепкие руки, чтобы крыша не завалилась. Слишком вы молоды, вы еще дети, – ей пятнадцать, тебе восемнадцать. Ей еще самой надо молоком питаться, а не кормить детей, подождите еще немного!

– Эх, дорогой дядя, – и парень почесал за ухом, – знаю, что вы говорите дело, недаром весь край слушает вас больше, чем попа или судью. Но... гм... я все боюсь, как бы не было слишком поздно там, где вам кажется слишком рано. Неспроста пришел я поговорить. Старый господин Тахи назначен капитаном в Великую Канижу; поэтому он изо всех мест набирает себе отряд всадников – кого за деньги, кого под угрозой – «должен». Не так давно этот старый волк встретил меня на дороге возле Яковля. Я ехал верхом в Загреб. Тахи остановил меня и спросил, кто я и что я, а я ему ответил: «Джуро Могаич, свободный крестьянин из Стубицы». На это он говорит своему спутнику Петару Петричевичу: «Этот парень словно создан для конницы. Запомни его имя, Петар!» И поехал дальше. Подумайте, что у меня было на душе. Я, слава богу, не трус; если б понадобилось, то поборолся бы и с волком среди лютой зимы, но сейчас, боже мой, когда все думаешь о Яне, как тут сядешь на коня, как понесешь голову свою туркам на расправу! Вот что тяжело. Сами посудите.

– Не бойся, сынок, – ответил Губец, – ты свободный человек, живешь на своей земле. По закону, Тахи не имеет права забрать тебя в свой отряд.

– Знаю, – ответил недовольно Джуро, – но закон, когда дело касается Тахи, мало помогает, как будто он и не про него писан. Несколько дней тому назад господин Тахи созвал в замок всех сельских старейшин и велел им подать пи-

сарю имена всех холостых парней, кметов и свободных, которые бы годились во всадники, а когда ему брдовацкий судья заметил, что спокон веков свободные в счет не идут, что это ему известно, так как он много раз занимался подсчетом мужчин, которых призывали на службу по дворам, – то старый Тахи налетел на него, крича, что свободные такие же крестьянские собаки, как и кметы, и что он сам пишет законы, а «старые болваны», то есть старейшины, пусть держат язык за зубами. Вы видите, дядя, что я пришел к вам не из-за пустяков, а потому, что боюсь беды, наш старейшина записал и мое имя, а потом рассказал мне все, что произошло в Суседе. Жените меня, дядя, и нечего будет бояться; если я и молод, то не дурак, а вы умный и будете возле нас. Не хотелось бы там, в Венгрии, сложить голову, – жени его, жени нашего Джюрко, – раздался из дома слабенький голос.

На пороге показалась старая крестьянка, вся в морщинах, с высохшим лицом и седыми волосами. Держась обеими руками за дверь, старая Губец медленно добралась к сыну и внуку и села на скамью между ними. Взяв Джуро за руку, она обратилась к сыну:

– Да, Мато, жени его! И твой отец был не старше, когда привел меня сюда из Пущи. Яна – хорошая девушка; правда, бедная, но и я ничего не принесла в дом. Не всегда так бывает, чтобы, когда двое договорились между собою, все шло гладко, по расчету и обычаю. Это старая песня. Что поделаешь, когда нас бог сотворил такими. И как раз теперь, когда

его хотят угнать на турок. Не дай бог!

Губец сдвинул брови, провел рукой по волосам и задумался.

– Хорошо, мама, – сказал он, наконец, – пусть будет по-вашему, раз уж так. Я знаю, по закону господин Тахи не имеет права забрать Джюро в солдаты. Но парень прав. Что такое нынче закон? Сабля и виселица. Пойду к старому Тахи. Я скорее согласился бы потерять лучшую корову, чем идти к нему, но все-таки пойду, раз уж я дал клятву матери Джюро, хотя я и не знаю точно, можно ли считать этого старого насильника здешним господином. Не буду ни просить, ни кланяться, а скажу только правду. Завтра, значит, придется отведать этого кислого яблока. Ты, Дядаро, скажи своим домашним, на чем мы порешили, и можешь завтра пойти в Брдовец и сказать Юрко и Яне, пусть будет по-вашему и пусть девушка все приготавливает. Что ж, хорошо так, мама?

– Да, сын мой, – ответила старуха, – делай, как лучше; я знаю, что ты поступишь умно.

– Ну, спасибо вам, спасибо, дорогой дядя. Теперь конец нашему горю! Эх, Яна, Яночка, душа моя! Бог даст, в будущем году будем вместе собирать виноград! – от радости парень подбросил в воздух шапку.

Но в эту минуту со стороны Голубовца послышался конский топот. Матия посмотрел в ту сторону и вздрогнул; потом сказал парню:

– Темнеет. Возвращайся в село, Джюро, и делай, как я те-

бе сказал; а вы, дорогая мама, идите в дом, я скоро приду.

– Хорошо, – весело сказал Джуро. – Прощайте, дядя! Прощайте, бабушка, покойной ночи!

И он вприпрыжку побежал к селу, а старуха медленно поплелась к дому.

Губец спустился с холма к ограде. Через две-три минуты перед воротами остановился всадник на вороном коне. На нем был длинный черный плащ, на голове черная бархатная шапка набекрень. Это был крепкий черноглазый молодой человек. По горящему взгляду и по жестким чертам крупного лица видно было, что это человек нехороший.

– Добрый вечер, Мато! – закричал приезжий, соскакивая с коня.

– Это вы, уважаемый господин? – спросил Губец с удивлением.

– Да, я, – коротко ответил молодой человек, – ты удивляешься, что Степко Грегорианец приехал к тебе, а? Отвори ворота, чтоб я мог ввести коня. Мне надо сказать тебе несколько слов с глазу на глаз, понимаешь? Мы тут одни?

– Кроме моей матери, никого нет поблизости, – ответил Губец, поглядывая на приезжего, и отворил ворота. Степко ввел вороного коня во двор, привязал его к дереву и сел на скамью под орехом.

– Садись, Мато, – сказал он, распахнув плащ, под которым виднелась широкая сабля и два пистолета за поясом. Матия сел.

– Я не хотел, чтоб меня здесь видели люди Тахи, – продолжал Степко. – Поэтому я приехал не через Сусед, а с другой стороны.

– Что прикажет ваша милость? – спросил Губец.

– Я приехал узнать – по сердцу ли вам ваш новый хозяин?

– А кто наш хозяин?

– Разве вы еще не почувствовали его кнута? – язвительно спросил Степко.

– Вы спрашиваете о Тахи, – сказал Губец, – чувствуем ли мы его кнут? Он ранит нас до крови.

– Вы и дальше будете слушать его?

– Кого же слушать, раз он наш законный хозяин?

– Разве ты не знаешь, на чьей стороне право?

– Откуда нам знать? Мы кметы. Закон – ваш, суд – ваш.

Посмотрим, что скажет суд.

– Не прикидывайся, Мато, – проговорил нетерпеливо молодой господин Грегорианец, облокотившись на колено и глядя в землю. – Ты не такой кмет, как все остальные, ты человек умный. Суд! К черту суд, если он несправедлив!

– Так вы, господа, сделайте так, чтоб он стал справедливым.

– Мы этого и хотим. Ты здешний, а тут каждый ребенок знает, что Стубица законное имение моей тещи.

– Знаю, что так было.

– И есть, перед богом и людьми! Ты знаешь также, что Тахи его отнял, как разбойник.

– Знаю, что дело было нечисто, потому что он приехал ночью, а не среди бела дня.

– Ладно. Ну, скажи, мучила ли вас моя теща, угнетали ли вас мы, ее зятя?

– Нет.

– Ну, вот видишь, Мато, а теперь что творится? Скажи, скажи сам. Тахи вас обдирает, отнимает у вас скот, землю, а теперь погонит ваших сыновей биться с турками. Что ж, вы с этим согласны?

– Нет, – ответил спокойно Губец.

– И вы молчите?

– А что ж мы можем? Скажите, что? – отрезал Губец и спокойно посмотрел на вельможу.

– Требуйте справедливости.

– А кто нам ее даст? Почему вы не скажете все это бану, суду?

– Уже сказали. Но плохо помогает.

– Какой же это бан, если он не заботится о справедливости? Коль уж вы, господа, ничего не можете, то что же можем мы, крестьяне?

– Очень просто. Вас много. У вас есть кулаки, косы и ружья. Навалитесь!

– А вы помиритесь с Тахи и будете нас вешать?

– Клянусь господом богом, что нет. Я приехал не только от своего имени или от имени моей тещи. И мой отец, подбан, так же думает.

– И ваш отец? Честь ему и слава. Справедливый человек, наш человек.

– Видишь, я приехал с полномочиями.

– Но скажите мне, уважаемый господин, я в толк на возьму: баи так говорит, а подбан – эдак; кто же говорит правильно?

– Бан – зять Тахи.

– Верно, это вы хорошо сказали, – горько усмехнулся Губец. – И господа иногда с пути сбиваются. Наши спины это знают, и много раз уж во мне кипела кровь, потому что мы, крестьяне, все же не скотина. Но почему вы приехали именно ко мне, Матию Губцу, уважаемый господин?

– И ты еще спрашиваешь? Ты же прекрасно понимаешь. Ты кмет, но во всем крае крестьяне тебя слушают больше, чем приказчика и кастеляна, больше, чем самого помещика. Как ты скажешь, так оно и будет. Когда крестьяне ссорятся, они приходят к тебе на суд, потому что ты умен, потому что ты знаешь больше других. А разве они не приходили к тебе с жалобой?

– Приходили.

– Помни, что старые господа были к тебе добры, считались с тобой.

– Что я должен сделать? – спросил крестьянин, вставая.

– Скажи слово своему куму Или и другим людям по селам. Через несколько дней Тахи уедет со своим отрядом в Канижу. Замок будет пуст, жена Тахи не идет в счет. Не сда-

вайтесь, бог дал вам руки, все остальное получите.

– Все останется по-старому. Выслушайте меня, уважаемый господин. Был у меня родственник, священник. В молодости я у него служил. Он слишком рано умер, а то, может быть, и я носил бы рясу. Тому немногому, что я знаю, я научился у этого почтенного старца. Будь умным и сердечным человеком, говаривал мне старик, и бог тебя не оставит. Но одно без другого не приносит счастья, и дела твои не пойдут, если ты выкажешь слишком много ума или слишком много сердца. Надо соблюдать равновесие. Этот человек научил меня и читать. Писать же, к сожалению, я не умею. Когда старик умер (он был беден), мне ничего от него не досталось, кроме одной только книги – Священного писания. В долгие зимние вечера я часто, часто читал эту книгу, и на душе у меня становилось легко. Я и теперь ее читаю. Все, что там написано, совсем не похоже на то, что творится на белом свете.

– Зачем ты мне читаешь эту проповедь? – спросил недовольно Степко, глядя с удивлением на крестьянина.

– Погодите, ваша милость, сейчас узнаете зачем. Библия говорит, что все люди происходят от Адама и Евы, – значит, и дворяне и кметы; что все люди братья, – значит, мы и вы – одна кровь. И когда сын Адама убил своего брата, бог его проклял. А разве наш спаситель не сказал: люби ближнего своего, как самого себя; не сказал ли он также, что всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвы-

сится? Когда я вошел в разум, то смекнул, что и я – сын Адама и что мой род так же стар, как род любого князя, только у князя имена его предков записаны на пергаменте, а у нас, кметов, нет. Видел я потом, как благородный брат убивает и мучает своего брата кмета, и сказал себе: «Это неправильно, бог учит другому; неправильно все в мире. Придет суд божий и все исправит!»

– Что ты такое говоришь? – И, вскочив на ноги, Степко устоялся на Губца.

– Я вам это говорю, – продолжал спокойно крестьянин, – для того, чтобы вы знали, как думает Матия Губец. Что вы, господа, хотите от нас, что вы из нас хотите сделать? Почему вы не позволяете нам стать хоть наполовину людьми, раз уж в ваших документах написано, что вы лучше, а мы хуже? Хорватский крестьянин тогда и хорош, когда от него ждут помощи, когда он должен давать либо свои деньги, либо свою кровь, а во всем остальном – он кмет, то есть дерьмо. Вы и теперь пришли просить нашей помощи, – вельможа натравливает крестьянина на вельможу, чтоб защитить свои права. Я тоже ненавижу Тахи, – продолжал Губец глухим голосом, и глаза его загорелись, – ненавижу за то, что он считает себя богом, а нас собаками. Но если мы будем проливать кровь ради ваших прав, то какие же права получим мы, сермяжные крестьяне?

– Даю тебе честное слово, – сказал Степко, глядя с некоторым уважением на крестьянина, гордо поднявшего голо-

ву, – когда моя теща вернется в Сусед, ты получишь свободу, станешь вольным.

– Благодарю вас, господин, – усмехнулся Губец, – неужели вы думаете, что я за свою помощь требую вознаграждения? Ошибаетесь! Что я? Я одинок и останусь одиноким; но когда я вижу, как бедняки в округе плачут и вздыхают, у меня сердце болит.

– Послушай, Губец, клянусь тебе, если мы снова получим наше имение, мы будем заботиться о вас и никогда вас не оставим.

– Вы в этом клянетесь? – строго спросил крестьянин вельможу.

– Клянусь богом и моим спасением! – ответил молодой человек.

– Дайте мне поразмыслить три-четыре дня, а потом я пошлю за кем-нибудь из ваших людей и скажу ему, что будет.

– Ладно! Пошли за приказчиком Степаном или за Иваном Сабовым, которые живут в Брдовце с тех пор, как Тахи прогнал их из замка. Значит, через три дня.

– Через три дня, – ответил крестьянин, – а теперь покойной ночи, ваша милость!

– Покойной ночи, – сказал Степко, подав кмету руку.

Он ушел. Вскоре в ночной тишине раздался конский топот, удалявшийся по направлению к Голубовцу и постепенно замерший в горах. Но Губец еще долго сидел под ореховым деревом, подперев ладонью голову; он старался сквозь

мрак ночи разглядеть грядущие дни. Пока он так размышлял, от Стубицы к Суседу быстро шагал пожилой человек, Андро Могаич – дядя Джуро, в ту же ночь он был принят владельцем замка.

Когда на следующее утро, около девяти часов, Матия Губец подошел к Иванцу у большой дороги, один знакомый сказал ему, что Джуро Могаич уж добрых полчаса как прошел тут, направляясь к крапинскому мосту; а когда он достиг села под Суседом, там было на что поглядеть. Стоял шум и гам. У столбов было привязано много коней; на дороге и в домах орали какие-то странные люди: мадьяры, штирийцы, славонцы, посавцы, все в шапках и синих доломанах, с необычными, дерзкими лицами; казалось, будто вороные слетелось со всех концов света в это мирное село. Ела Филиппчич, вышедшая как раз в это время из дому, по пути объяснила Губцу, что это и есть канижские всадники господина Тахи и что они сущая напасть, ибо во всем селе не осталось больше ни гусей, ни кур, а девушки и молодые женщины не смеют показываться на пороге; она-то, слава, богу, старая и ей нечего бояться этих головорезов. К счастью, добавила она, вся эта нечисть через три-четыре дня двинется с хозяином в Венгрию, но до тех пор прольется еще много слез, потому что Тахи намеревается насильно забрать в свою конницу холостых мужчин из всех сел, пусть бог смилуется над бедными матерями. – При этом известии у, Губца похо-

лодело на сердце, и, не интересуясь больше шумными всадниками, он попрощался со старой Елой и стал подниматься к замку. Наружные ворота были широко открыты; кметы, слуги, офицеры и солдаты с криком и шумом сновали взад и вперед. Губец мог поэтому беспрепятственно войти на первый двор. Недалеко от ворот, прислонившись к стене, стоял маленький толстый человек в темной одежде, с опухшим лицом, с торчащими черными усами и маленьким острым носом, и внимательно наблюдал за тем, что происходило во дворе.

– Послушайте, любезный, – проговорил Губец, подходя к слуге.

– А? – крикнул тот, смерив крестьянина глазами с головы до ног.

– Где уважаемый господин Тахи? – спросил Губец.

– А вон там! – снова крикнул слуга, показав пальцем на старика, стоявшего посреди двора. Губец посмотрел, куда указал слуга.

Посреди первого двора замка стоял пожилой человек среднего роста, коротконогий, короткорукый, но на вид необычайно сильный. На высоко поднятых плечах возвышалась крупная остроконечная голова; над узким высоким лбом вились длинные белые пушистые волосы. Лицо у него было красное, грубое, нос приплюснутый, ноздри широкие, губы толстые, борода и усы длинные и седые. Из-под густых, словно метелки, бровей глядели раскосые маленькие колю-

чие серые глазки, всегда немного прищуренные. Поперек лба шел длинный шрам, а от ноздрей ко рту – две складки, так что казалось, будто на его лице всегда играет злорадная усмешка. Это и был Тахи, барон Штеттенбергский. Правая рука его была заложена за борт зеленого расстегнутого камзола, а в левой он держал за спиной плеть; ноги его, в кожаных штанах и высоких сапогах, были широко расставлены. Он смотрел, как черноволосый, дерзкий на вид молодой человек в синем суконном одеянии с бранью и проклятиями укрощал взбесившегося коня. Из окна замка за молодым человеком наблюдало еще одно лицо: пожилая, белотелая, черноглазая и черноволосая дама; по ее тонкому носу и надменно приподнятым губам легко было угадать высокомерную породу Зринских. Дама в светло-зеленом платье, с белой шапкой на голове, судя по сходству лиц, была, несомненно, матерью молодого человека. Да, это была жена Тахи, урожденная Елена Зринская, а молодой человек – ее сын Гавро. Впрочем, это скорее был мальчишка, чем молодой человек, и скорее чертенок, чем барчук. Невдалеке от хозяина стояло несколько крестьян без шапок; здесь была и крестьянка с грудным ребенком на руках. Она горько плакала.

– Ну, Гавро, ну же, Гавро! Садись на него, взнуздай его! – кричал Тахи хриплым голосом, не обращая внимания на крестьян. Молодой белый конь турецкой породы был неукротим. Он извивался, как черт, становился на дыбы и тряс головой, но молодой человек сжал его ногами, пригнул-

ся к шее, прилип к нему, как репейник, как змея.

– Вот так! – воскликнул отец и хлестнул и коня и сына плетью.

– Вот так! – крикнула и госпожа Елена из окна. – Эй, держи его, держи, не сдавайся!

– Это твой конь? – обратился Тахи к крестьянину, стоявшему поблизости и зорко следившему за всем происходящим.

– Да, ваша милость, – подтвердил крестьянин.

– А откуда у тебя такой конь?

– А он турецкий, я его у турка отнял, ваша милость, в прошлую войну.

– На что тебе такой породистый конь, – спросил Тахи, – на что он мужику? Я тебе окажу милость. На этом коне я сам поеду в Канижу, он лучше, чем Мркач моего свояка Николы. Понимаешь, этот конь мой.

– Но, ваша милость, – заговорил жалобно бывший кавалерист бана.

– Убирайся отсюда! – крикнул Тахи. – Благодарю бога, что жив остался. Марш отсюда!

Несчастный крестьянин еще раз бросил взгляд на красавца коня и побрел, опустив голову. К Тахи подошла женщина с ребенком.

– Ваша милость, – проговорила она сквозь слезы.

– Ну-ка, Гавро, прогони его еще разок по двору, – крикнул Тахи, не обращая внимания на женщину.

Молодой человек понесся как сумасшедший, а женщина повторила:

– Ваша милость...

– Что тебе? Кто ты? – спросил Тахи.

– Я Марушич из Запрешича.

– Ну?

– Ваши слуги отняли у меня все мое убогое имущество.

– Будет меньше забот, – засмеялся Тахи. – Давай, Гавро!

– Но ведь я голодна, гола, боса; это же все мое было.

– Твое? А что может быть твоим? Ничего нет твоего. А, теперь припоминаю. Своего откормленного вола требуй с госпожи Уршулы.

В эту минуту Гавро подскочил к месту, где стояла женщина с ребенком, и сбил бы ее с ног, если б не неожиданно подбежавший Губец, который схватил коня за узду. Женщина с плачем отошла... Конь стал. Старый Тахи остолбенел и посмотрел на крестьянина.

– Ты кто? – спросил он.

– Матия Губец, – спокойно, но смело ответил крестьянин.

Хозяин смерил его взглядом.

– Губец? Губец? – спросил он. – Ах да! Ты из Верхней Стубицы, не так ли?

– Да, ваша милость.

– Это ты – ложный пророк, крестьянский бог, – заметил насмешливо хозяин, – мой кмет.

– Я кмет стубицких господ, – ответил спокойно Губец.

– Чего же ты, редкий гость, хочешь, какой милости? – спросил Тахи. – Слышал я, что ты гордец; я тебя еще не видел.

– Я не милости искать пришел, – продолжал крестьянин, – а права.

– Кмет – права? – удивился Тахи.

– Да, ваша милость; я слышал, что ваша милость записывает молодых людей в конницу.

– Да, ну и что ж?

– Я слышал, что записан и Джуро Могаич из Стубицы, сын моей сестры.

– А, да! Могаич? Да, записан, – вспомнил Тахи.

– Но Джуро свободный, – сказал Губец, – он не обязан служить в войске, да к тому же он собирается жениться.

– А тебе-то какое дело?

– Я ему дядя, вместо отца и матери. Он на моем попечении, вот я и пришел напомнить вашей милости.

– Что он – свободный! – оборвал его Тахи. – Мне все равно. Он пойдет со мной, всадником. Он не смеет жениться, понимаешь? Он должен быть со мной. Он, мерзавец, бунтует.

– Он свободный, – возразил спокойно Губец, – он не обязан идти в солдаты, он может жениться.

– Ферко, – закричала из окна госпожа Елена, – и ты все это спокойно слушаешь?

– Не обязан, – Тахи вспыхнул и поднял плетень, – не обязан,

крестьянская ты собака! – И он замахнулся плетью на Губца.

– Остановитесь, сударь, – и, поглядев на Тахи, крестьянин с серьезным видом поднял руку. – Меня никто не бил, кроме турецкой сабли на службе короля.

Рука соседского господина опустилась. Он прищурился и окинул крестьянина злобным взглядом.

– Скажите мне, уважаемый господин, что вы намереваетесь делать с Джуро?

– Это ты вскоре увидишь, каналья, а пока я тебе велю попридержать свой собачий язык! Не выходи из дому, иначе я прикажу впрячь тебя в ярмо в воскресенье, перед стубицкой церковью, – крикнул Тахи и быстрыми шагами пошел к замку.

А крестьянин стиснул зубы, сжал кулаки, посмотрел в сторону высокого замка и прошептал:

– И ты вскоре увидишь, кровопийца!

И быстро пошел под гору к селу.

Высоко над Брдовцем плыла луна, и неподвижные листья блестели в ее лучах, словно серебро; не слышно ни души; во всех окнах села уже темно, только из одного струился свет. Около него, облокотившись на забор и повернув к луне лицо, стояла Яна, а перед ней молодой Джуро Могаич. Темные глаза девушки сияли необычайным блеском, а лицо было озарено такой улыбкой, словно ей снился рай. Джуро прислонился к столбу, глядел на девушку и никак не мог наглядеться.

– Яна, – сказал он нежно, – довольна ты, что все так вышло?

– И ты еще спрашиваешь, Джуро! – ответила девушка улыбаясь. – Я знала и верила, что ты меня не обманешь, потому что ты честен, но мне и во сне не снилось, что я так скоро буду твоей. Я даже боюсь, не верю такому близкому счастью.

– Неужто ты меня боишься? – спросил парень.

– Смотри-ка! Воображает, что я его боюсь! Я-то? Да я ни одного мужчины не боюсь. И с какой стати? Но у меня прямо голова закружилась: сперва ты мне сказал, что тебя хотят забрать воевать с турками, а потом – что мы вскоре повенчаемся. Не знала, смеяться мне или плакать. Все у меня в голове перепуталось.

– Не бойся, Яна, и эта забота пройдет, а через несколько дней ты увидишь, что все это правда.

– Ах, – продолжала девушка полушутливо, – ты ведь меня обманул! Боже мой, вот беда!

– Какая беда? – спросил Джуро с удивлением.

– Эх, я была такой прилежной пряхой и, слава богу, достаточно напярля, но соткано мало, а сшито еще меньше. Прямо стыд!

– Об этом, Яна, не беспокойся. И после найдется время.

– Да, после; но что скажут твои родственники, как станут по пальцам считать белье и каждую ложечку и упрекать меня, что я ничего не принесла в дом. Но, ей-богу, это не моя вина. Я сама хотела сделать все как можно лучше, и сделала бы, да отец не давал: «Не порти глаза по ночам; ты не знаешь цепы этого божьего дара, а свадьбу, может быть, придется ждать до морковкина заговенья». И я думала так же и довольно наплакалась, как вдруг свадьба-то на носу, а пряжа еще за печкой висит! Грустно.

– Разве тебе грустно идти за меня?

– Поди ты, – рассердилась притворно девушка и ударила жениха по плечу, – что за глупые шутки! Бога ты не боишься, что всякое слово оборачиваешь в худую сторону. Знаешь ведь, если б я не хотела пойти за тебя, так не пошла бы. Но мне грустно, что я так вхожу в твой дом. Я хоть и бедная, но милостыни не прошу.

– Вишь, какой кипяток! – Джуро улыбнулся, схватил де-

вушку за плечи и посмотрел ей весело в лицо. – Эх, Яна, родная, брось мотать пряжу. Главное, что ты моя, моя. О другом я не забочусь. И пусть только кто-нибудь посмеет тебе слово сказать, я ему все кости переломаю.

Девушка легонько выскользнула из его рук и отступила на шаг, а он продолжал:

– Боже мой, и наговорились же мы с утра... Смотри, где луна и где Стубица. Право, мне пора идти.

– Ну, прощай, родной мой! Счастливого путь, и береги себя, – сказала девушка нежно.

– Прощай, Яна, покойной ночи! – ответил парень, протянув руку, которую она быстро схватила, и, опустив голову, прошептала:

– Покойной ночи, Джюро!

Так они расстались. Девушка медленно вернулась в избу, а парень, освещенный ярким лунным светом, быстро пошел к селу Запрешич, от Запрешича к мосту через Крапину, и дальше за Крапину до Иванца, что под горой, чтоб оттуда идти к Бистре. На сердце у него было радостно, ноги его несли быстро, ночь была светла, горячая кровь не чувствовала ночной прохлады. Все было тихо и мирно вокруг, птицы не чирикали, вода не журчала, лес, кусты и дома словно превратились в темные глыбы. За селом Иванец путь идет под горой, а лес спускается к самой дороге. Вся облитая лунным светом, без единого темного пятнышка, она убежала далеко вперед. Вдруг как будто что-то зашумело в кустах. Джюро

остановился, нагнул голову, прислушался. Ничего, ни дуновенья. Пошел дальше. Но чу! Опять что-то, как будто человеческий голос бормочет. У парня сжалось сердце. Стиснув покрепче дубинку, он замедлил шаг, так что почти слышал биение своего сердца. Но вскоре покраснел от стыда. Кашлянув, зашагал быстрее и увереннее и стал вполголоса напевать песенку. Миновал большой куст, ветви которого свисали на дорогу, сделал шага два, как вдруг раздался свист. Не успел он опомниться, как у него потемнело в глазах, его толкнули, и он упал навзничь. Это ему на голову набросили мешок и повалили. В испуге он стал отбиваться руками и ногами. Напрасно. Вне себя от ярости, он мог только разобрать, что нападающих было несколько человек. Они связали его по рукам и по ногам, еще крепче замотали вокруг головы мешок, так что он не мог ни видеть, ни слышать, ни кричать; из-под мешка слышалось только его глухое мычание. Невидимые нападавшие взвалили связанного парня на коня и быстрой рысью понесли то в гору, то под гору. Скоро дорога стала опять подниматься; Джуро услышал, как открылись большие ворота, туда ввели лошадей. Его сняли с коня и понесли куда-то дальше. Наконец он почувствовал, что его посадили на землю и развязали ноги. Потом неизвестная рука скинула мешок, и перед глазами у него засверкал пламень факела, который держал высоко перед собой смуглый чернобородый парень в железном шлеме. Джуро осмотрелся. Он лежал на голой земле, в каменном подземелье без окон. Воз-

ле него стояли двое мужчин, одетые по-военному, в синее; один худощавый и рыжий, с курчавой бородой, а другой – толстый, среднего роста, с длинными черными усами. Это, очевидно, и были те, что его схватили. Парень застонал:

– Пустите меня, разбойники, пустите! Что вам от меня надо? Что я вам сделал? Бога ради, освободите мне руки. Пустите меня, разбойники!

– Молчи, собака! – крикнул толстый солдат и так хватил парня веревкой по голове, что потекла кровь. Связанный Джуро пришел в бешеную ярость. Как безумный, вскочил он на ноги, но в то же мгновение рыжий толкнул его древком копья в грудь, и парень, заскрежетав зубами, свалился в угол. Отворилась маленькая дверь, и просунулась толстая голова с острым носом и торчащими усами; голова эта принадлежала Петару Бошняку.

– Что, попалась птичка? – спросил он.

– Как же, Петар, вот она, – засмеялся рыжий солдат, показывая пальцем на Джуро. – Этот молодой пескарь попался нам в сети возле Бистры и отбивался, как черт, когда его загоняют в святую воду.

– Не сопротивляйся, голубчик, – сказал Бошняк ехидно, – а радуйся. Эх, и хороший же всадник из тебя выйдет! Ну и будет же доволен достопочтенный господин Тахи, что ты зачислен в его войско.

Джуро тяжело дышал.

– Молчи, злодей! – крикнул он. – Я не пойду в войско

Тахи, я свободный, я пожалуюсь на него королю.

– Жалуйся, жалуйся, голубчик, – продолжал Петар, – да вот, к сожалению, в твоей комнатке нет окна и король тебя не услышит. Знаю, что тебя грызет: парень надумал жениться.

– Яна, моя Яна! – застонал Джюро в отчаянии.

– Подожди, – сказал Бошняк, – ты еще молод. Через пять, шесть лет, когда вернешься, птичка оперится, – ну, тогда сможешь и жениться, если только турки не снесут тебе головы. Айда, ребята, пошли! А тебе, свободный человек, желаю покойной и приятной ночи.

Воины вышли вслед за Петаром, который запер дверь. И Джюро остался один, на голой земле, в мрачной тюрьме Тахи, в замке Сусед. В отчаянии, он тихо стонал и, чтобы не сойти с ума, прислонил горячую голову к холодному камню, моля бога сохранить ему здравый рассудок для мести.

Громкий плач несчастных матерей разносился по селам, горькие слезы орошали землю хорватских крестьян. Отряды грубых ратников Тахи гнали на веревке молодых кметов и свободных крестьян, забранных в солдаты. Тысячи проклятий неслись к высоким башням Суседа. Злодеи, понятно, не интересовались Джуро Могаичем, но о нем справлялся Губец, справлялась Яна. Напрасно! О нем не было ни слуху ни духу. Ушел ночью из Брдовца, а до Стубицы не дошел. Пропал – как в воду канул!

Губец стоял посреди двора, уперев руки в бока, и мрачно смотрел в землю.

– Да, – говорил он про себя, – он мне сказал: «Это ты вскоре увидишь», а я ему ответил: «И ты вскоре увидишь». Да, да, это дело рук Тахи.

Перед Губцем стояла и плакала Яна, а на скамье под ореховым деревом сидел с поникшей головой Юрко. Яна, прижав руки к груди, громко стонала, и крупные слезы текли из распухших глаз по ее лицу. Наконец она стала на колени, в отчаянии припала к ногам Губца, схватилась за голову и закричала:

– Заклинаю вас господом богом, заклинаю вас кровью Иисуса, помогите, кум Мато! Если вы не поможете, то и ангелы небесные не помогут.

– Успокойся, Яна, – сказал Губец, положив руку на голову бедной девушки, и на глазах его показались слезы, – попробую еще раз.

И Матия вторично отправился в Сусед, а с ним пошел и брдовацкий священник Иван Бабич. В замке и около него сновали всадники; этой ночью господин Тахи должен был двинуться с отрядом в Венгрию. Владелец Суседа допустил их к себе. Сперва говорил Губец, потом поп; они просили его, ради всего святого, отпустить Джуро. Но Тахи спокойно ответил:

– Дивлюсь я вам, что вы ищете Джуро у меня; скорей бы мне искать его у вас и спрашивать, где он. Я тогда на тебя очень рассердился, Мато, да потом передумал. Ты прав: Джуро свободный; он мне не нужен. В моем замке его нет. Пусть себе женится. Прощайте.

Кмет и поп грустные вернулись в Брдовец. Не солгал ли этот господин, спрашивал себя крестьянин. Без сомнения, солгал. В это время мимо них проходил молодой Андрия Хорват, слуга госпожи Хенинг, которого Тахи прогнал.

– Андро, – позвал его Губец, – поди сюда, мне надо сказать тебе два слова. Этой ночью Тахи с отрядом выступает в Венгрию.

– Ну?

– Беги со всех ног в Сусед. Заберись в лес, что над дорогой, но которой отряд пойдет из села.

– Зачем?

– Хочешь отомстить Тахи?

– Еще бы! – быстро сказал Андрия.

– Ладно. Так сделай, как я сказал; и когда войско будет проходить, крикни что есть мочи: «Джуро Могаич, Яна тебя зовет». Следи хорошенько – отзовется ли кто-нибудь. Разузнай также, сколько воинов осталось в замке. И потом возвращайся поскорее сюда; я буду у Илии Грегорича.

Парень открыл рот и с минуту глядел в удивлении на Губца, потом прищурился, кивнул головой и понесся к Запрещичу; Губец же простился со священником и пошел к дому своего кума Илии.

Медленно текли ночные часы; тихо разговаривали за столом Матия и Илия. Дети давно легли. Одна лучина уже догорела, и Ката, протирая сонные глаза, воткнула другую. Вдруг залаяла собака, крестьяне подняли головы, и сразу же кто-то постучался в окно. Ката отворила дверь, и в комнату вошел запыхавшийся Андро, весь в пыли, и со вздохом тяжело опустился на скамью, рукавом вытирая пот с лица.

– Говори! – закричал Матия, приподнимаясь из-за стола.

– Дайте вина! – прохрипел Андро, потянулся за кувшином и осушил его. – Слава богу, я здесь. Ну, слушайте! Дошел я до Иванца. Тут своротил с дороги и полез в гору. Пробирался через шиповник, кусты и колючки. Посмотрите, все руки в крови. Около часовни святого Мартина спустился в ущелье и потом поднялся на противоположный склон, как раз над загребской дорогой. Склон довольно крут, и лес густой.

На другой стороне, на горе, стоял замок Сусед с освещенными окнами, похожий на страшного черного кота с горящими глазами. Внизу, в селе, горели костры, а около них копошились всадники. Было хорошо слышно, как они кричали и ругались и как бряцали оружием. Я влез на старый толстый граб и лег на брюхо меж веток, как кошка, подкарауливающая воробья. Вдруг в замке затрубила труба, а потом и на селе отозвалось с десятков труб. Всадники построились, сабли и копья засверкали в лунном свете. Ворота замка распахнулись, и показалась процессия. Впереди ехал здоровенный всадник в высокой шапке. Мне виден был только его черный силуэт на склоне горы. Это был Тахи, накажи его бог! За ним ехали другие вооруженные всадники, но были и пешие, без оружия; всадники гнали их перед собой на веревке. Это были наши парни, которых Тахи насильно забрал в солдаты! Ух! Горло пересохло! Дайте-ка еще вина.

– Пей и рассказывай дальше, – закричал Губец, уставившись на Андрию.

Подкрепившись и причмокнув языком, Андрия продолжал:

– Весь отряд во главе с Тахи направился по дороге в Загреб. Он уже был почти подо мной. Я просунул голову между веток граба и заорал во все горло: «Джуро Могаич, Яна тебя зовет!» И сейчас же из отряда отозвался печальный голос: «Яна, моя Яна», – и один из пеших упал.

– Ага! – И Губец ударил кулаком по столу. – Это Джуро,

это мой Джуро!

– Не знаю, кто это был, – ответил Андро, – но я видел, как его подобрали и взвалили на коня. Раздалось два-три ружейных выстрела в мою сторону. Пуль, слава богу, я не почувствовал, только слышал эхо в горах. Отряд прошел мимо, и все смолкло. Тогда я спустился в село, и тут Филиппчич сказал мне, что в замке до шестидесяти ратников с ружьями и много пушек. Ну, а потом... вот я и пришел. Это, что ли, твоя месть, Губец?!

– Слышал, кум Илия? – воскликнул Губец, сжав кулаки на столе. – Это был мой Джуро, мой Джуро! Разбойники поволокли его, как собаку. А кровопийца Тахи сказал, что его нет в замке; таковы слава вельможи, такова господская правда!

Илия Грегориич спокойно проговорил:

– Не злись, кум Матия. Теперь мы наверное знаем, в чем дело и что надо предпринять.

– Да, – ответил Губец серьезно, – давайте действовать, благословясь. Ты, Андро, скажи Ивану Сабову, чтобы он завтра пришел ко мне в Стубицу. Ты, Илия, знаешь своих людей; обойди Запрешич, Ступник, Стеневец, Трговину; я буду действовать там, за горой, ты, Андро, пойдешь в Мокрицы и скажешь господину Степану, что через неделю будет полнолуние и что в полнолуние поднимутся кирки и мотыги.

Таковы были распоряжения Губца; Илия и Андро с ним согласились, кума же Ката, проводив Губца до сеней, поже-

дали ему покойной ночи.

Прошло восемь дней. Тахи, вероятно, уже в Венгрии. В краю все мирно, крестьяне нигде не выказывают непослушания, не ропщут. Жизнь течет своим чередом, все молчат, словно воды в рот набрали. «Собаки вдруг превратились в ягнят», – сказал в шутку Петар Бошняк суседскому кастеляну Петару Петричевичу.

Наступила ночь. На небе сияла полная луна. Село у замка Сусед, казалось, спало мертвым сном. Да и в замке все спали, кроме сторожа на башне и госпожи Елены. Жена Тахи сидела за большим столом в маленькой комнате, обитой голубым. На столе стоял светильник, и его слабое пламя дрожало в полумраке, причудливо играя на старинном портрете Доры Арландовой.

Госпожа Елена, в длинной белой рубахе, в большом чепце, бледная, сидела, подперев голову рукой. Ее черные глаза блуждали по искусно расписанной книге, лежавшей перед ней. Среди ночной тишины она читала вечернюю молитву. Вдруг грянула пушка. Госпожа Елена вздрогнула, изменилась в лице и вскочила. Второй выстрел, третий. На селе, у церкви св. Мартина, ударили в колокол. Елена задрожала; послышались крики и бряцание оружия. В испуге подбежала она к окну, распахнула его и вскрикнула.

Луна освещала страшную картину. Вся Суседская гора была усеяна копьями, косами, ружьями. Шум, крик и гам

разносились в ночном воздухе. В комнату ворвался полуодетый Гавро.

– Мать, – закричал он в отчаянии, – мы пропали! Крестьяне идут на замок.

– Пусть идут, – воскликнула в гневе Елена, и глаза ее за сверкали, – мы будем защищаться!

– Бесполезно, – ответил молодой человек, – они уже ломают топорами ворота и лезут на стены по лестницам.

– Пусть откроют огонь из пушки по этим собакам! – закричала Елена.

– Петричевич и Бошняк уж этим заняты. Но все напрасно. Ядра летят в толпу, десять человек падает, а новая сотня лезет.

Громче звонил колокол, громче орала толпа; теперь раздавались одни ружейные выстрелы; пушка слышалась лишь изредка. Вдруг раздался такой треск и грохот, что, казалось, небо дрогнуло. Ворота были сломаны, и обезумевшая толпа крестьян хлынула в замок. В комнату ворвался бледный, окровавленный Петричевич.

– Спасайтесь, уважаемая госпожа, бога ради, спасайтесь! – закричал он. – Крестьяне перебили наших ратников. Иван Гушич ведет мужиков. Петар Бошняк ранен, начальнику ратников Бартаковичу снесли голову косой, на башне развевается знамя Уршулы Хенинг. Спасайтесь!

– Нет, – дрожа от гнева, но гордо ответила Елена, – не пойду; пусть приходят! Ты, сын, и вы, Петричевич, оставай-

теть здесь.

Бряцание оружия становилось все слабее, колокола умолкли, изредка слышались выстрелы, но всюду толпа ревели, как море. Она приближалась. Двери распахнулись, и в комнату влетел огромный воин с секирой. Он повернулся лицом к разъяренной толпе, пытавшейся ворваться вслед за ним. В бешенстве он стал размахивать вокруг себя секирой. Один, два, десять крестьян упала под его ударами, но вдруг раздался выстрел из пистолета, и верный ратник, обливаясь кровью, грохнулся к ногам Елены, которая в ужасе стала цепляться руками за стену.

– Смерть Тахи, смерть его жене! – гремело по коридорам замка, куда ворвались разъяренные крестьяне.

– Стойте! – раздался громкий голос. Крестьяне притихли. В комнату вошел разгоряченный господин Степко Григорианец, без шапки и с окровавленной саблей в руках; за ним шла взволнованная госпожа Уршула. Ее бледно-голубые глаза блестели, лицо горело, губы были сжаты.

– Госпожа Елена Тахи, – начал запальчиво Степко, вытирая саблю о плащ, – мы привели в этот замок законную владелицу, Уршулу Хенинг. Ваше владычество кончилось.

– Да, гордая дочь Зринских, – закричала Уршула, – мы раздавили голову проклятой змее. Отцовский замок опять принадлежит мне. Приветствую тебя, Дора Арландова, – обратилась она к портрету, – видишь теперь, что легенда лжет. А вы, люди добрые, – сказала она крестьянам, – берите все

добро, мне ничего не надо из имущества этого злодея!

Елена стояла, словно окаменев, только глаза ее сверкали гневным огнем.

– Сударыня, – сказал Степко, – приехали законные владельцы, незаконным надо уезжать. Петричевич отвезет вас и ваших сыновей в полной безопасности в Загреб, так как и Стубица уже наша. В селе вас ждет экипаж.

Елена подняла голову и спокойно сказала:

– Госпожа Уршула! Грабительница! Этого я вам не забуду до гроба! Легенда о Доре не лжет. Запомните мои слова. Зуб за зуб, кровь за кровь, до последней капли!

Схватив сына за руку, Елена в сопровождении кастеляна покинула замок, в стенах которого крестьяне с криками делили имущество Тахи. И, когда низвергнутая госпожа была уже далеко от Суседа, до ее слуха все еще доносился в ночи крик:

– Смерть Тахи!

9

В Мокрицах сегодня большое веселье. Господин подбан празднует день своего рождения в кругу родных и друзей, хорватских вельмож и дворян. Тут и его неистовый сын Степко со своей женой – нежной черноглазой Мартой, и второй сын Бальтазар, хилый и вялый, и вторая жена подбана, Дора Мрнявич. Приехала и госпожа Хенинг из Суседа, где она проживала одна, в то время как ее незамужние дочери, красивая София и две девочки – Анастазия и Ката – ради большей безопасности в это беспокойное время жили у господина Степко Грегорианца в Мокрицах. Но есть и гости издалека: так, из Загорья приехали к празднику сестры Марты – кичливая и черствая Анка со своим мужем Михаилом Коньским из Конщины, богатая Кунигунда с мужем Мато Кереченом из Турништа. Есть и чужие: братья Михайло и Лука Секели из Ормуджа, Гашо Друшкович и Фране Вурнович – доджупаны славной загребской жупании, Мийо Вурнович – серьезный турополец, храбрый дворянин Томо Милич, Михайло – священник церкви св. Недели, отец Дидак – гвардиан самоборского монастыря, и много светских и духовных лиц. Но, как ни странно, одни хорваты. Отец Дидак, сидевший за обедом рядом с господином Коньским, немало этому дивился.

– Как это так, *egregie domine*, – спросил гвардиан у своего

соседа, – что господа из Краньской нам сегодня изменили? Мокрицы стоят на краньской земле, и господа из Костаневицы, Турнограда и Кршко тут, под боком. Однако я не вижу здесь ни Йошко, ни Вука Турна, ни Валвазора, ни Ауэршперга, ни Ламберга. Обычно эти господа охотно сюда приезжают, в особенности капитан ускоков Йошко Турн, который чрезвычайно ценит наливку господина Амброза. В чем дело?

– А мы их не приглашали, – ответил господин Коньский, – речь идет о наших домашних, хорватских делах, и краньских соседей это не касается. Да кроме того, отец честной, все они немцы.

Гвардиан кивнул головой и, не посмев больше расспрашивать об этих туманных делах, взялся за ножку жирной индейки.

Обильное пиршество подошло к концу. Под громкие крики «*Vivat³⁰ dominus Ambrosius!*» еще раз зазвенели полные чаши, общество встало, гвардиан прочел молитву, и гости с веселыми шутками и смехом разошлись по длинным коридорам, просторному двору и тенистым садам мокрицкого замка. Господину Амброзу тоже захотелось подышать свежим воздухом, и он сошел по широкой каменной лестнице во двор, где оживленно щебетало целое сборище благородных дам. Среди них была и Марта Грегорианец.

– Уважаемая сноха, – крикнул подбан, увидев Марту, –

³⁰ Да здравствует! (*лат.*)

как хорошо, что я на тебя наткнулся. Брось женские разговоры, пойдем, мне надо с тобой поговорить серьезно. Сюда, на мое любимое место в тени.

– Повинуюсь, уважаемый свекор, – сказала Марта почти-точно и пошла за Амброзом.

По одной из стен замка, до самого второго этажа, разросся огромный плющ, темные листья которого оплетала также и колонны сводчатых портиков. Под сенью плюща стоял стол и три каменных сиденья. Здесь в знойные дни любил отдыхать подбан; сюда сел он и сейчас, а подле него госпожа Марта. Он облокотился о стол, положил ногу на ногу, провел рукой по седой бороде и обратился к Марте:

– Видишь ли ты, дорогая сноха, этого бледного черноглазого молодого человека, который молча стоит среди дворян, прислонившись к столбу, и мало обращает внимания на шутки подвыпившего честного отца гвардиана, а все глядит, как во дворе резвятся девушки?

– Вы говорите о Томо Миличе, уважаемый свекор?

– Да, моя милая сноха! Как он тебе правится? Хорош ли молодец?

– Да, – ответила Марта.

– И достойный.

– Его хвалят, уважаемый свекор; я по крайней мере не слыхала о нем худого слова.

– И он заслуживает похвалы. Ты, я вижу, смотришь на меня с удивлением, что я тебя расспрашиваю о красивом мо-

лодом человеке; ты думаешь: мне-то какое дело до Милича? Ведь я уж пристроена. Но я тебя спрашиваю, потому что ты умна, и хотя у тебя женский ум, с тобой легче говорить, чем с твоим мужем, моим Степко, который всегда – как заряженное ружье. Ты должна мне помочь.

– Приказывайте, господин свекор и отец, – сказала Марта с улыбкой.

– Ладно. Томо – сын моего покойного друга Ивана; Миличи – хороший род, старая хорватская семья и честные люди. Правда, они не вельможи, а только сливари, но хорошие хозяева, храбрые, верующие люди, ни в чем их не упрекнешь. К тому же Зринские их большие друзья и защитники. Я и отец Томо побратались смолоду. Когда я женился на своей первой жене, Веронике Стубич (упокой, господи, ее душу!), Иван был старшим шафером у меня на свадьбе; оба мы служили господам Зринским, оба были скромными дворянами. Когда я был кастеляном Зринского в Лукавце, я попал в тяжелое положение: случилось несчастье, я растратил деньги. Откуда их взять? Открылся я названому брату. И подумай, что он сделал? Заложил одно из своих имений, принес мне два мешка желтых цехинов и дал их без поручительства, без процентов, на одном доверии. Спас меня! Ну разве это не благородный человек? Бог мне помог. Я разбогател, стал вельможей, возвратил цехины, но остался его должником, так как, сама понимаешь, такое душевное благородство не оплачивается золотом. Не было случая ему отплатить. Иван умер

и назначил меня опекуном своего единственного сына. Это священная, в высшей степени священная обязанность. Я не мог бы спокойно сойти в могилу, не расплатившись с долгом, не осчастливив моего опекаемого. Томо пошел в отца. Честный, прямой, он заслуживает быть счастливым. Но скажи мне, где зреет счастье? Не в наших же собраниях и судах, где господа грызутся, словно собаки из-за кости? Но в кровавых же набегах, где рискуешь головой? Там цветет слава, но слава – не есть счастье. Единственное место, где расцветает счастье, – это, дорогая сноха, кров, под которым тебя ждет верная жена; твой дом подобен божьему храму, а жена – его ангел-хранитель, если только, *nota bene*,³¹ она не черт и если у нее хорошие побуждения. На груди у жены человек забывает все заботы и огорчения; да, даже и в слезах жены он видит рай. Потому я и гоню молодых людей под ваше нежное иго, едва у них пробьются усы, чтоб они не жили, как бродячие цыгане. Так было и со Степко. Ты знаешь его необузданный нрав, и ему время от времени неплохо почувствовать крепкую женскую руку. Мне, слава богу, повезло, потому что вы, Хенинги, славные девушки. Ну вот я и кончил. Что ж, догадываешься, сноха?

– Не совсем, дорогой отец.

– Но кое о чем догадаться можно, не так ли? погоди, я тебе разъясню. Хотела бы ты, чтоб Томо стал тебе свояком?

– Неужто он и Софика? – спросила удивленно Марта.

³¹ заметь (*лат.*).

– А чему ты удивляешься? Вы, взрослые, уже повышли замуж, а Стазика и Катица едва выскочили из колыбели.

– Но как вы остановились на Софике?

– Так же, как Софика на Томо.

– Я вас не понимаю, уважаемый свекор.

– О мудрая Марта! Где же твой ум, где твои глаза? Да, конечно! Ты замужем, ты мать, и зрение твое притупилось. Томо не побоится убить турецкого султана, но женской юбки он боится, как мышья кошки. Если у него что-нибудь на уме, он скорее откусит себе язык, чем выговорит. Только мне он говорит все, как и попу на исповеди. Он мне все и высказал... Ой! Ой! Послушала бы ты этот панегирик! На него словно горячка напала, и я искренне посмеялся над его молодостью. Томо часто сюда наезжает, Софика тоже тут, а ты знаешь, что случается, когда мужчина и женщина встречаются на жизненном пути и когда оба молоды и глупы. Кремень и огниво, милая моя сноха! Как же не быть искре? Он, понятно, ни звука, и она также; но Томо мне признался, что она как-то странно на него смотрела, быстро отворачивалась, молчала, краснела и что-то смущенно бормотала. Если так, Томо, сказал я ему, то дело плохо, потому что вы оба обезумели, и только поп может вас излечить. Стал и я потихоньку наблюдать за Софикой. Поверь мне, сноха, сестра твоя как рыбка на удочке пляшет и радуется, что ее поймал рыбак. Так вот, дорогая Марта, когда я открыл тайну этих двух молодых людей, у меня сердце возрадовалось, и я сказал сам себе: если

бог даст, будет тут работа для попа, и я не успокоюсь, пока не устрою их под одним кровом. Ну так как, Марта, нравится тебе Милич, хотела бы ты иметь его свояком?

– Что касается меня, – ответила Марта, – то я, уважаемый свекор, рада от всего сердца, потому что тот, за кого вы поручаетесь, должен действительно быть золотым человеком. И уж тем более, если Софика согласна. Но я сердита на негодницу: всегда мне поверяет каждую мелочь, а тут ни словом не обмолвилась; наоборот, вспоминаю, что она два или три раза даже высмеивала Милича.

– Вот тебе на! – сказал Амброз и засмеялся от всего сердца. – Вот это настоящая женская политика, ведь недаром же Ева в раю приняла от дьявола яблоко! Все вы таковы.

Марта, слегка покраснев, продолжала:

– Но тут есть одно затруднение.

– Какое, бога ради?

– Не знаю, что на это скажет мать. Да вы ее прекрасно знаете, уважаемый свекор. Она большая барыня. Не жестока, но в высшей степени горда и зятем хочет иметь только сына вельможи или богача. Это я сто раз от нее слышала. А воля у нее непоколебима, не уступит, даже если гора на нее обрушится. К тому же ее подбивает моя сестра Анна, которая, выйдя за Коньского, стала важной дамой. Вот чего я боюсь.

– Не бойся, дочь моя, – успокоил Амброз сноху, – этих двух женщин я беру на себя. Я на своем веку и не с такими делами справлялся; видит бог, сумею и их привести в хри-

стианскую веру. Вельможа! Подумаешь! Глупости какие! А кто были Хенинги или Грегорианцы? Сливари, сноха, мелкопоместные дворяне, а с божьей помощью стали магнатами. Того же сможет добиться и Томо. Тот аристократ – в ком больше сердца и благородства; тот настоящий вельможа – кто сам сумел им стать, а не тот, кто свое барство всосал с молоком матери. Ты, сноха, прежде всего позови Софику да загляни ей по-хорошему в сердце. Не ходи вокруг да около, а сразу поговори по душам. Если она действительно зажглась, ты об этом намекни издалека матери. Ты это сумеешь сделать и легче убедишь госпожу Уршулу своей мудростью, чем Анка своей кичливостью. Я знаю, она тебе больше верит. Сделай так, я этого хочу; и бог свидетель, что я желаю твоей сестре добра. Сделаешь, Марта? – спросил Амброз и, поднимаясь, погладил сноху по щеке.

– Сделаю, уважаемый свекор, ваше желание для меня закон. Знаю, что подлинное счастье можно строить только на любви и что любовь от бога. Я сделаю все, что в моих силах, чтоб вышло по-вашему.

– Спасибо тебе, добрая душа, – сказал старик, целуя сноху в лоб, – бог благословит тебя и твое потомство. А теперь я пойду к мужчинам, у нас еще предстоят важные переговоры, а ты делай как знаешь.

Подбан направился к кружку мужчин, которые оживленно разговаривали посреди двора.

– Господа и братья, – обратился он к ним, – нам надо пе-

реговорить до ужина. Потому прошу со мной в верхние покои замка, а вы, молодые люди, можете повеселиться с дамами. Придет время, когда забота о государстве ляжет и на ваши плечи.

Старшие и их сыновья последовали по лестнице за подбагом, молодежь разбежалась по саду. Марта осмотрелась – ни Милича, ни девушек во дворе уже не было. Молодая женщина вышла за стены замка поискать младшую сестру в большом парке. Искала ее повсюду: под огромными деревьями, в тени высоких елей и лиственниц, в цветущем кустарнике, но Софики и след простыл. Иногда ее останавливали дамы, которые гуляли по парку, щебетали и смеялись веселым шуткам отца Дидака. Наконец (это было уже под вечер), она дошла до конца парка, где он спускается к дороге. Услыхав издалека громкий разговор и узнав голос Софики, Марта спряталась за беседку из граба, откуда, не будучи замеченной, могла за всем наблюдать. Перед беседкой стояла, скрестив руки и опустив голову, Софика, нежная полнолицая девушка с золотистыми волосами, которые спадали по ее плечам на светло-голубой наряд. В ее черных глазах дрожали слезы, а на алых губках играла сладостно-горькая улыбка. Рядом с ней Марта увидела молодого Милича, почтительно с ней разговаривавшего, а перед ними молча, в слезах, стояла Яна, дочь слепого Юрко из Брдовца.

Милич говорил:

– Простите, что я вас остановил. Когда старшие собрались

вести серьезный разговор, я спустился из замка на дорогу. Там я встретил эту плачущую девушку, которая ходила перед замком, бросая на него беспокойные взгляды. По одежде я узнал в ней хорватку и спросил, что ей надо. Она ответила, что ищет вас, но боится войти в замок, где сегодня столько господ. Я предложил провести ее к вам, и вот она!

– Спасибо вам за доброе дело, молодой господин, – проговорила сквозь слезы Яна, – теперь я уж больше не боюсь, теперь я у своей сестры, у барышни Софики.

– Да, дорогая Яна, ты у своей сестрицы, – сказала барышня нежным голосом, протягивая руку крестьянке. – Рада, что ты пришла. Давно мы не видались, моя дорогая. Видишь ли, злые люди не позволяют мне жить спокойно с матерью в Су-седе, и я принуждена быть здесь, у своей сестры Марты. Скажи, Яна, зачем ты меня искала, какая радость тебя сюда привела?

– Увы, не радость, – крестьянка покачала головой, – а большое, большое горе.

– Горе? Боже мой! Какое же горе, бедняжка? – живо спросила София, подходя к Яне и кладя ей руку на плечо.

– Значит, вы так-таки ничего не слыхали? – И крестьянка быстро вскинула на нее глаза.

– Ничего, родная, рассказывай!

Яна потупила взор и не отвечала. Она покраснела, крупные слезы навернулись на глаза, и, теребя дрожащей рукой передник, бросила взгляд на Милича.

– Говори, – повторила София, – не бойся, это добрый человек.

Яна подняла глаза и посмотрела на Софию так грустно, как будто у нее сердце разрывалось.

– Я вам скажу, барышня, – проговорила она сквозь слезы, – должна сказать, ведь затем и пришла. Я собиралась выйти замуж...

– Замуж? За кого?

– За Джуро Могаича, свободного крестьянина из Стубицы.

– Ну?

– Ну... и... ох... все пропало! Господин Тахи забрал его ночью в солдаты. Нет его, нет от него вестей. Может быть, он ранен, а может быть – боже мой! – убит, убит... – И девушка, закрыв лицо руками, громко заплакала.

– А тебе этот парень дорог?

– Дорог ли? Ох! После бога – самый дорогой на свете! Вам этого не понять, ваше сердце еще не нашло своего избранника.

София слегка вздрогнула и покраснела.

– У кого сердце не затронуто, тому этого не понять. И я не понимала; думала, люди женятся по привычке. Но стоило мне его потерять, как я поняла, сколь глубоко он жил в моем сердце; ешь, пьешь, работаешь, спишь, молишься, а думаешь все о нем. Боже, боже! За какие грехи на меня, бедную, свалилось такое горе, и как раз накануне столь огром-

ного счастья! Ох, сестрица, – зарыдала Яна, совсем забывшись и обеими руками схватив руку Софии, – помоги, бога ради! Ты мне молочная сестра, господская дочка. Я тебя искала в Суседе, но вас, благородная барышня, там не было. К вашей матери я не смела пойти, потому что она строгая, а я бедная. У меня никого нет близких из господ, кроме вас. Вот я и пришла сюда. Заклинаю тебя, освободи его! Сделай это во имя той, что выкормила тебя своим молоком. Помоги, иначе горе меня изведет. Когда-нибудь и твое сердце узнает любовь, и ты поймешь, как болит и страдает у меня душа.

Яна, плача, опустила голову на грудь Софии, и та привлекла ее к себе. Слезы блеснули на глазах молодой дворянки, и, глядя Яну по голове, она принялась ее утешать:

– Не плачь, сестрица, успокойся! Понимаю, как глубоко ранено твое сердце, как болит твоя душа. Тяжело потерять любимого. Но я сделаю все, что смогу. Пойдем в замок. Я поговорю с господином подбаном, он поможет скорее всех. Не правда ли, он может помочь, господин Милич? – обернулась она к молодому человеку, который, глубоко тронутый, наблюдал за этой сценой.

– Может, – ответил Милич, – и должен. С женихом Яны поступили несправедливо. И даю вам слово, что я позабочусь об этом бедняке.

– Спасибо вам, господин Милич, – сказала девушка, и в глазах ее, полных слез, отразилась все прелесть ее девичьей души.

– Я еще не заслужил вашей благодарности, – ответил быстро молодой человек, – к несчастью, в мире рождаются такие уроды, как Тахи, уроды, для которых чужое горе – высшее наслаждение. Но, к счастью, есть и честные люди, которые считают своим долгом облегчать чужое горе, следуя закону бога, заколу любви. Будьте здоровы!

– Вы не пойдете с нами в замок? – спросила робко София.

– Не могу, – ответил Милич, – внизу, на селе, меня ждет слуга с конем. Завтра чуть свет мне надо быть в Загребе, а я должен еще кое-что уладить у себя в имении.

– Тогда прощайте, господин Томо, – сказала девушка приглушенным голосом и нерешительно протянула молодому человеку руку. Томо ее взял первый раз в жизни. Вздрыгнул, словно от удара молнии. Сильно закипела его кровь, мурашки побежали по телу. Он стоял неподвижно, точно ноги его вросли в землю, глядел в глаза девушки и сжимал маленькую мягкую ручку, как будто держал талисман своего счастья.

Ручка дрожала, дрожала и София, отвернув склоненную голову. В глазах ее сиял какой-то необычайный, загадочный блеск, точно звезда Венера пробилась сквозь густой туман, лицо ее покрылось румянцем, подобным весенней розе, а губы двигались, словно творили молитву господню.

– Прощайте! – шепнула девушка и не уходила.

– Прощайте! – сказал молодой человек, продолжая сжимать ее руку.

Девушка медленно подняла глаза, они странно блестели,

на лице отразились в одно и то же время и радость и печаль; едва слышно она проговорила:

– Прощайте! Приезжайте скорей. Приезжайте... завтра! – Она вырвала руку, подхватила Яну и быстро пошла к замку. Все кружилось у нее перед глазами; казалось, небо сошлось с землей, и сквозь слезы она пролепетала Яне: – Сестрица, я чувствую, чувствую, как ты несчастна!

Только что она собиралась свернуть в аллею, как внезапно перед ней появилась Марта. Девушка вздрогнула и опустила глаза.

– Откуда ты, сестра? – спросила Марта. – Я уже давно ищу тебя по всему парку.

– Я... – смущенно ответила София, – вот, привела бедную Яну.

– Яна, – сказала Марта, – ты иди к замку, а мы сейчас придем.

Когда крестьянка отошла немного, Марта спросила серьезным голосом:

– София! Что с тобой?

– Ни... ни... чего, – пролепетала София.

Но Марта продолжала строго и кратко:

– Ты любишь молодого Милича, не так ли?

София ничего не ответила: она протянула руки, – бросилась сестре на грудь и сквозь громкий плач простонала:

– Сестра, дорогая сестра моя!

Марта взяла под руку очарованную девушку и молча по-

вела ее в замок.

Было уже под вечер. Дневной свет слабо проникал в большой зал мокрицкого замка, где за длинным столом заседало собрание хорватских дворян, стариков и мужчин зрелого возраста. Пылкие, горячие люди, испытанные храбрецы, подчас и грубоватые, но с добрым сердцем. Во главе стола, на высоком стуле, сидел Амброз – спокойный, внимательный. Его белая борода словно выточена из камня; руки лежат на столе. Позади него стоял Степко – неистовый, дерзкий. Глаза его беспокойно бегали по залу. Он – как заряженное ружье, готовое каждую минуту выпалить. Немного дальше, с опущенной головой, стоял второй сын Амброза – Бальтазар, недоразвитый, бледный, сонный; он мало думал и ничего не говорил. Турополец господин Вурнович спокойно глядел перед собой, покручивая ус. Когда кто-нибудь высказывался, он только обдавал говорящего взглядом своих, как у крота, маленьких, колючих глаз; когда же он сам говорил, то резал своим острым словом, точно дамасской саблей. Священник церкви св. Недели, брюнет с крупным красным лицом, спорил в углу, оглядывая всех рысьими глазами. Коньский, вытянувшись на стуле, говорил холодно и размеренно, сопровождая свои рассуждения движениями указательного пальца, тогда как его свояк, господин Керечен, с четырехугольной загорской головой и узким лицом, сверкал кошачьими глазами и больше стучал по столу кулаком, чем рассуждал.

Лысый старик Фран Мрнявчич, с короткими усами и длинным носом, соглашался или оспаривал чужие мысли только утвердительным или отрицательным кивком головы, в то время как его статный бородатый приятель Дружкович одним духом выпаливал десяток постановлений саборов. Самыми яростными были крапинские братья Секели; оба смуглые, оба злые, как рысь, говоря, они рассекали воздух руками. Позади этих людей сбились кучкой мелкопоместные дворяне, кто стоя, кто сидя, то горячась, то спокойно рассуждая, то крича, то умолкая.

Наконец Амброз прервал ожесточенные прения и звонким, спокойным голосом сказал:

– Да, благородные братья и господа! Сердце обливается кровью, когда бросаешь взгляд на остатки наших печальных королевств. Все на них ополчилось. Кусок за куском отрывают от живого тела. Чем мы были раньше и чем стали теперь? Ведь и славному герою князю Николе Зринскому стало невмоготу, ведь и он уже несколько раз отказывался от почестей! А теперь нам снова грозит беда. Турок зашевелился, нарушает мир. Проклятые запойяйские раны еще не залечены. А мы грыземся между собой, как волки. И почему? Из пустого себялюбия. Ох отчизна, до чего ты дожила! Петар Эрдеди храбрый человек, но какой же это бан? Правду не творят саблей. Втерся к нам и господин Тахи. Перечислять ли вам его злодейства?

– Знаем, знаем! – отозвались голоса.

Подбан продолжал:

– С помощью бана Тахи хочет стать владыкой в нашем королевстве, подговаривает приятелей, подкупает слабых. Приди к власти Тахи и его партия – конец закону, конец правосудию, конец честности. Разве он уже не нарушил закона? Крестьяне наши гибнут, впадают в отчаяние. Говорите, что хотите, но ведь и крестьянин несет в себе образ божий, и у него есть душа и сердце. Ему угрожает турецкая сабля, его бьет господский кнут, его убивает голод. Если он воспротивится, то откуда мы возьмем солдат, хлеб, деньги и что будет с нашей славной отчиной? Что нас ожидает? Турецкое рабство. Тахи бы с этим примирился, стал бы бегом, как босняки, но неужели мы изменим родине ради своей выгоды?

– Никогда! – загремели гости, а Фран Мрнявчич закачал головой.

– Хорошо! Так давайте действовать. Обратимся к наивысшему судилищу – к сабору. Поезжайте каждый в свой край, разъясните все людям, скажите, что Зринские и Франкопаны с нами; когда же мы получим приглашение от бана, отправимся все вместе в Загреб на сабор, чтоб свалить Тахи, и пусть он переселяется в свою шомочскую степь. Согласны ли вы с тем, что я сказал?

– Согласны! *Vivat dominus Ambrosius!* – кричали дворяне.

– Хорошо, – сказал Амброз, – я...

В эту минуту двери широко распахнулись, и в зал стремительно вошел нотный, пыльный, запыхавшийся дворянин

Иван Гушич. Все вскочили.

– Слушайте, господа, – сказал вошедший, тяжело дыша. – Сегодня утром поехал я из Суседа в Загреб. У меня были дела в суде. Окончив их, зашел в корчму. Она, к моему удивлению, была полна вооруженных людей, почти сплошь пьяных. Они не знали, кто я, не знали, конечно, что я на стороне госпожи Хенинг. Я забрался в угол. Слышу – клянутся, грозятся. Я чокнулся с пьяным соседом, спросил, в чем дело. А он мне: «Эх, брат, мы бандериальцы. Через два дня бан нас поведет против этой старой бестии, что в Суседе. Заберем с собой и фальконеты». Я выбрался, вскочил на коня и спешу сообщить это вам, чтобы вы могли вовремя подготовиться.

– Ага! Измена! – заволновались дворяне.

В зале поднялась буря.

– Господа, – закричал взволнованно Амброз, – несколько дней тому назад бан мне сказал, что не тронет старую Хенинг, – пусть, мол, тяжба идет своим путем. Он нарушил слово. Двинемся, чтоб приветствовать бана на полдороге.

– Вставайте! – кричали дворяне, расходясь из зала.

– Степко, – сказал Амброз, – передай теще, что мы поедем с ней в Сусед, пусть готовится; а ты собери здешних парней; другие поедут со мной. Передай Миличу, чтоб он пришел...

Зал был почти пуст. Стремительно вбежала Марта, бледная как мел.

– Боже мой, что такое? – спросила она.

– Война, сноха! – ответил подбан. – Кстати, говорила ли

ты с матерью о Миличе?

– Да.

– Что ж она?

– Она ответила: «Чтоб я отдала свою дочь за плебея? Никогда!»

Амброз вздрогнул.

– Увидим! – сказал он, целуя сноху в лоб. – Прощай, дочка! Теперь надо приниматься за дело.

Там, где река Крапина, протекая с севера, впадает в Саву, простираются последние, западные, отроги Загребской горы. В конце крайнего отрога, у реки Савы, стоит замок Сусед, который король Карл Роберт велел построить еще около 1316 года в качестве пограничного таможенного пункта и для обороны этого края. От Загреба вплоть до Суседа, от главной гряды к равнине, тянутся взгорья с лугами, с селами, выселками, виноградниками и пастбищами; а дальше за ними поднимается темная лесистая гора; ее отлогая вершина мягкими очертаниями выделяется на фоне голубого неба. Между холмами, в прохладных; ущельях, к Саве бегут ручьи. Но в том месте, где гора подходит к реке, склоны ее становятся круче, пустыней, ущелья уже, ручьи мельче, а лес гуще. Перед довольно крутым обрывом, меж двух гор, возле самой Савы, стоит одинокий холм, покрытый низкорослым дубом, грабом, ежевикой, колючими кустами, шиповником и папоротником.

С севера этот холм отделен от горы большой дорогой, идущей из Загреба; с юга течет Сава, вода достигает опушки низкорослого леса. Холм этот невысокий, но длинный. С восточной стороны, от села, он поднимается постепенно, уступами, с западной же сходит на нет, к дороге, которая снова поворачивает к реке, тогда как с юга и севера он очень кру-

той. На гребне холма, на его восточной стороне – скала, на которой и стоит в неприступном одиночестве замок Сусед. Центр Суседа – большое четырехугольное здание в два этажа; тут и господские комнаты и старый погреб, и подземелье – маленькие, низкие помещения из камня, куда никогда не проникает свет. Двор замка окружен с четырех сторон каменными стенами с большими башнями по углам, из которых самая крепкая – круглая: она стоит у самой реки Савы и обращена на юго-запад. Во дворе – новый погреб, конюшня, службы, помещения для воинов; здесь же находится и значительное число железных лумбард и другого оружия. Со стороны села и дороги на Загреб, на восточном пологом склоне, вырыт глубокий ров, укрепленный заостренными кольями. К северу тянется узкое ущелье. Склоны его круты, покрыты темно-зеленым лесом, в котором кое-где возле тропы виднеются голые, серые скалы. В ущелье, под нависшими кустами, по мшистым камням вьется прозрачный ручеек, вдоль которого идет тропа. Местами голые каменные уступы образуют причудливые изгибы, а дальше, там, где ничего уже не слышно, кроме плеска воды и таинственного шепота листьев, открывается тихая доли-па, посреди которой, у воды, колышутся серебристые ивы; над долиной, по горе, разбросаны хижины села Доля. При входе в ущелье, недалеко от дороги, шумят две-три бревенчатые мельницы, а заглянешь дальше, в его прохладную глубину, – увидишь старую церковку св. Мартина, которая в окружении берез и акаций

прилепилась к голой серой скале.

Удивительная старина, эта церковка св. Мартина! Наружная сторона деревянная, а та, что скрыта в недрах горы, – каменная. Снаружи видны серые стены, маленькие оконца, деревянная почерневшая крыша и низенькая колоколенка с большим куполом. Сначалаходишь во дворик. Налево в скале зияет глубокая пещера, направо, в глубине, в камне высечены широкие ступени, ведущие к маленькой готической двери, через которую можешь попасть на гору. Под лестницей стоит старая четырехугольная кафедра для проповедника, высеченная из грубого камня; на ней неискусной рукой сделана шестиконечная звезда, похожая на звезду Соломона; тут же низкая дверь ведет прямо к алтарю этой убогой церкви. Тишина такая, что становится жутко. Меж камней в пещеру иногда проникает луч солнца, то тут, то там в скале пробивается травка, иногда через дворик пролетает ласточка, а иногда летучая мышь, вспугнутая из-под деревянных стропил крыши.

Таков замок Сусед, таковы его окрестности, место многих кровавых дел. Но после той ночи, когда госпожа Уршула нагрязнула и выгнала из замка Елену и сыновей Тахи, все здесь было довольно спокойно; не слышно было ни жалоб, ни нареканий; наоборот, каждый думал, что так и будет продолжаться, и благодарил бога, что в одну ночь вода снесла эту напасть – Тахи. Но старая Хенинг была мудра и не питала доверия к этому зловещему затишью. «Бан Петар успокоил-

ся, – говорила старуха, – значит, волк в логовище собирается с мыслями и готовит оружие! Это надо помнить». Поэтому Уршула оставила незамужних дочерей в Мокрицах, у госпожи Марты, сама осмотрела стены замка сверху донизу, заняла у господина Амброза четыре новые лумбарды, купила тридцать плит свинца, четыре бочонка крупного пороха и большое количество копий из арсенала Зринских. Кастеляном она назначила дворянина Ивана... Гушича, а в помощника ему – Фране Пухаковича и Ивана Сабова.

Было уже далеко за полночь, когда громкая труба с круглой башни разбудила франта Андрию Хорвата, привратника, храпевшего в маленькой караулке у главных ворот. Понесся шум и стук. Андрия вскочил на нош, накиннул безрукавку, зажег лучину, вышел из караулки, но, прежде чем опустить мост, отворил окошечко в воротах и закричал:

– Кого бог песет?

– Свои, – отозвался снаружи голос Уршулы...

Подъемный мост заскрипел, ворота отворились, и Андрия, подняв над головой лучину, изумился при виде толпы, которая на конях протискивалась во двор; впереди ехала старая Хенинг, потом господин подбан, господа Керечен и Коньский, кастелян Гушич, около двадцати дворян и до сорока вооруженных всадников с факелами.

– Андрия, – обратилась к нему госпожа, остановив коня, – разбуди поскорее Пухаковича и Сабова, да и приказчики пусть придут. Устрой этих всадников как можно лучше.

Вели оседлать четырех коней. Скорей, парень, а потом приходи в замок.

Андрия выпучил от удивления заспанные глаза, но сейчас же поклонился. Хороший слуга не спрашивает, а слушается. Затворив ворота, он исполнил все, что ему приказала госпожа. Долго, почти до зари, горел свет в окнах Суседа. Тени, которые двигались взад и вперед, свидетельствовали, что в верхних комнатах господина бодрствовали за делом. Изредка среди ночи опускался подъемный мост, и каждый раз из замка в разные стороны уносилось по два всадника. Одни через реку Крапину к Запрешичу; другие – на север, к Стубице; третьи по направлению к Стеневцу; Андрия, после того как он долго говорил с господином Амброзом, поехал прямо в Загреб.

Следующий день начался и прошел спокойно, но, к удивлению, главные ворота оставались закрытыми; видно было только, как госпожа Уршула ходит по стенам вокруг замка. Уже начало темнеть, над Савой стояла луна. Тогда по всем белым дорогам, словно муравьи, в Сусед стали стекаться люди. С оружием и без оружия, верхом и пешком, валила одна толпа крестьян за другой, изредка перекидываясь словами. Примчался и господин Степко с четырьмя всадниками, но сейчас же снова ускакал. Посреди двора горел огромный костер; над ним на цепи были подвешены котлы, немного подалеже стояли три большие бочки. Красное пламя огня и голубой свет луны играли на длинных железных пушках, рас-

ставленных вдоль стен, на серой жести, которой были крыты башни, на огромном знамени, развевавшемся в ночном воздухе на замке, и на пестрой толпе сотен и сотен крестьян, которые стояли, сидели и лежали во дворе. Сама госпожа Уршула обходила и угощала всех. Слуги выносили из замка большие связки пистолетов, секир и копий, а Пухакович и Сабов раздавали их крестьянам. Гушич бегал взад и вперед: там перед конюшней считает оседланных коней, тут расставляет вооруженных крестьян по отрядам. Но, несмотря на суматоху, шуму мало, слышен только как бы гул отдаленного моря. Под утро ворота отворились. В предрассветной темноте отряд за отрядом стал спускаться с горы. Первый – сто всадников, пятьдесят ружей и двести пеших копьеносцев – ведет Амброз на коне. Отряд скрывается в горном ущелье. Немного погодя господин Керечен выводит пятьдесят человек на западный склон холма. Отряд укрывается в кустах. Люди воткнули в землю по два железных прута и на них положили большой мушкет, направив его на дорогу. Около командира суетился Илия Грегорич. Он проверял каждое ружье. Взошло солнце. У окна, в беспокойстве, стояла Уршула. Вдруг она захлопала в ладоши и крикнула своему зятю Коньскому:

– Слава богу, и эти идут!

Со стороны Самобора приближался к Саве сильный вооруженный отряд. Впереди ехали два всадника: Томо Милич и священник церкви св. Недели, здоровенный детина. Сбоку

у него болталась сабля, за поясом блестело два пистолета, в руке он держал палку с синим платком на конце. Отряд перебрался на пароме на этот берег, где его встретил господин Коньский, и быстрым шагом тоже скрылся в ущелье. Потом все успокоилось, и день прошел тихо; только после полудня прискакал, весь в поту, франт Андрия Хорват и прошел прямо к госпоже Уршуле.

Наступил вечер. Горы Окич и краньские вершины потемнели, а над горной грядой пылала вечерняя заря, постепенно переходя в золотистые тона, которые растворялись в бледной голубизне неба. В долине по вербам пополз легкий белый туман, сквозь который иногда блестел изгиб Савы, а дальше, к Посавине, вся окрестность, утопала в серых, неясных сумерках. Знамя Хенингов спокойно развевалось на замке, местами на фоне бледного вечернего неба, на башнях и стенах, вырисовывались фигуры сторожевых. Госпожа Уршула стояла у окна своей комнаты, подперев руками свое бледное лицо, на котором не вздрагивала ни единая жилка. Она была недвижима; только бледно-голубые глаза ее горели, как уголья. Ни на миг она не спускала их с выделявшейся черным силуэтом к серых сумерках колокольни села Стеневец. Но вот на колокольне блеснул свет. Женщина мгновенно вскочила, как раненный пулей зверь, и крикнула так, что крик ее отозвался по всей округе:

– Вставай! Идут!

В замке грянула пушка. Эхо прокатилось далеко по горам.

Через несколько минут господин Коньский спустился в село с пятьюдесятью всадниками. Луна была на половине небосклона. Со стороны Загреба донесся глухой шум. Это шел бан, шло его войско. Тяжело дыша, Уршула прильнула к окну, а потом, обернувшись к портрету, взволнованно вскрикнула:

– Слышишь, Дора Арландова? Они идут отнимать наш замок, слышишь? Не допусти! Не допусти! Помоги!

Отряд Коньского зашел за изгородь. Послышался топот. В село влетели два банских гусара, в одной руке сабля, в другой пистолет. Остановились посреди села, посмотрели по сторонам. Из-за изгороди раздался выстрел: один гусар упал мертвым, другой ускакал обратно. Вскоре показался всадник с белым флагом и с ним трубач. Все было спокойно. Оба поднялись на гору до ворот замка. Трубач затрубил. В башне над воротами показалась Уршула.

– Кто вы такие? Что вам надо? – спросила она.

– Я Иван Петричевич из Микетинца, – ответил человек с флагом, – меня посылает господин бан, он приказывает вам, благородная госпожа, сдать ему этот замок, который вы отняли воровским способом, а также и все имущество и оружие *sub roena notae infidelitatis*.³² Если вы этого не сделаете, бан завладеет замком с помощью сабель, копий, ружей и пушек *cum brachio regni*.³³

³² под угрозой наказания за вероломство (*лат.*).

³³ с государственной силой, войском (*лат.*).

– Благородный господин из Микетинца, – ответила Уршула, – передайте вашему бану, пусть приезжает сам в замок. Я приготовила хорошее угощение как для него, так и для его brachium.³⁴

Гонец ускакал обратно. Прошло еще с четверть часа. Вдруг затрубили трубы, забили барабаны. Войско бана приближалось к селу. Вдалеке, в лунном свете блестели длинные ряды копий и ружей, и повсюду раздавались короткие приказания начальников. Войско быстро заняло ровное пространство между Савой и холмом. В село ворвался вскачь разъезд гусар бана, но им навстречу бросился Коньский со своим отрядом. Сабли скрестились, раздалось несколько выстрелов из пистолетов, послышались крики. Коньский отступил на дорогу за замок. В одно мгновение три разъезда гусар под командой Гашо Алапича и отряд вольных всадников Бакача двинулись крупной рысью и заняли дорогу на севере и вход в ущелье, возле мельниц. Канониры поставили четыре лумбарды на холме над мельницами, против замка. Четыре отряда харамий и две роты немецких мушкетеров выстроились под горой, против входа в замок, а к западному склону холма быстро продвинулся отряд ускоков. Позади харамий сидел на коне мрачный бан Петар в шлеме, а рядом с ним был Иван Алапич со знаменем бана. Бан махнул саблей, Алапич поднял кверху знамя и скомандовал:

– Огонь из лумбард!

³⁴ рука, сила (*лат.*).

Грянула пушка, за ней вторая, третья, четвертая, залпы следовали с молниеносной быстротой, выстрелы гремели непрерывно, как гром, так что горы грохотали; белый дым клубился в ветвях дубов и в темном ущелье. Ядра одно за другим ударяли в стены замка, и от них градом летели осколки камней. Бан снова махнул саблей и закричал громовым голосом:

– Два отряда харамий – вперед! В атаку! На ворота замка! Мушкетеры, налево!

Забил барабан. С неистовыми криками два первых отряда стали на рысях подниматься в гору. Впереди, размахивая саблей, – капитан Влашич. Вот они достигли половины горы. Все спокойно. «Вперед!» – кричит капитан. Несутся дальше. Полная тишина. «Вперед!» Вот они уж под стенами. Остановились. Но вдруг... шесть громовых ударов раздались с замка, в воздухе повис ужасный крик, а в белом дыму корчилось пятьдесят окровавленных тел. И среди стонов донесся из замка женский голос:

– Эй вы, банские храбрецы! Сладко ли яблоко? Первый приступ не удался. Влашич с уцелевшими солдатами поспешно отступил к бану.

– Триста чертей! – проскрежетал Петар, натянув поводья. – Господин Петричевич, поспешите скорей на западную дорогу. Когда раздастся труба, пусть ускоки атакуют, а вольные пусть спешатся и постараются овладеть северным склоном горы.

Офицер быстро поскакал исполнять приказание.

– Капитан! – опять закричал бан, обращаясь к начальнику мушкетеров, – поднимитесь к стенам и откройте огонь из мушкетов.

Капитан пошел к своему месту. Мгновение – бан взмахнул саблей, трубач возле него затрубил, эхо разнеслось по горе.

– Общий штурм! – загремел бан. – Огонь из лумбард! Пехота, вперед! Бей с божьей помощью!

Гром, рев, трескотня, шум, вспышки! Харамий бегут, скачут, лезут как черти.

«Vivat banus! Вперед!» В долине гремит барабан, надрывается труба. «Вперед, храбрецы!» – кричит Влашич; а с другой стороны орут ускоки: «Ой, ой, ой! Бей!» Из жерл пушек сыплется огненный дождь, мушкетеры, стреляя с колена из засады, сносят каждую голову, появляющуюся на стене.

«Вперед, харамий!» – орет чей-то голос, а со стен замка – огонь, треск и рев. Гром, молнии, стоны, свист! Иисус! Мария! Вперед! Проклятия, треск, крики, но все равно – вперед, через груды раненых братьев, через окровавленные трупы, вперед, вперед] Кровь кипит, голова идет кругом, но в облаке белого дыма, среди ружейной пальбы бан стоит недвижимо, как черное изваяние. Вот харамии снова под стенами замка! Пули визжат, стрелы свистят. «Держись!» – раздается хриплый женский голос. Ряды падают, скошенные, как снопы. Там раненый цепляется за корни дуба, другой с

криком падает навзничь, этот шатается и опускается на колени, тот хватается за сердце, поворачивается на каблуках и падает ничком на землю. Вперед! Все нипочем! Да здравствует бан! Весело гремят пушки, трещат мушкеты, стены содрогаются! Вот приставили лестницы, лезут на стены, впереди Влашич. Сейчас он водрузит знамя. Над ним блеснул топор. Ох! Сабов размахнулся и рассек ему голову. Со стен сыплется туча камней, льется кипяток. В другом месте, из маленьких дверей, на мушкетеров нападает отряд. Копья вонзаются в бока, земля уходит из-под ног, и один за другим мушкетеры скатываются в Саву.

А ускоки? Ползут на животе, в зубах нож, в руках пистолет. Черт возьми! В чаше их жалит змея: это Илия Грегориич стреляет из мушкета.

Половина харамий погибла, но они, черти, продолжают биться. Кровь бросается бану в голову. Он вырывает у трубача трубу и начинает трубить так, что легкие чуть не разрываются, потом выхватывает у Алапича знамя и кричит:

– На штурм! На штурм! Атака! Лумбарды! Но что случилось? Лумбарды молчат. Подлетает на коне раненый Гашо.

– Проклятье! – кричит он. – С горы, из засады, нас опрокинули канониры, мы потеряли пушки.

– В атаку! – прохрипел бан вне себя.

– *Vivat banus!* – еще раз крикнули солдаты.

– *Vivat Хенинг!* – отозвались из горного ущелья.

– Помощь, помощь!

Из темного ущелья стремительно неслись неизвестные части.

– Алапич, – воскликнул бан, задрожав, – посмотри! Уж не черти ли это?

– Злодей Амброз нас окружил, – прокричал, подскакивая, запыхавшийся Петричевич.

Сабли звенят, люди стонут, Амброз рубит. Бандериальцы отступают. Вот и ускоки бегут. Им вдогонку летят штирийские всадники (их ведет Степко); бьют, колют, крошат, сметают все на своем пути. Ускоки забрались в мельницы и оттуда сеют смерть среди крестьян, но мельницы начинают пылать.

– Vivat Хенинг! – раздается за селом молодецкий голос. Милич и его друг священник через ущелье обошли гору и ведут новый отряд из Стеневца.

– Пробивайтесь в Загреб! – закричал бан. И пришпорил коня. Но напрасно. Его отбросили. Со всех сторон он окружен смертоносным кольцом. Войско его сжато перед входом в ущелье; не может ни стрелять, ни рубить, конь жметя к коню, человек к человеку; конь копытом топчет пешего, пеший в бешенстве колет коня. Над тобой суровое небо, вокруг тебя смерть, под тобой окровавленная земля, а из замка в эту гущу летят пули, так что голова готова лопнуть, кости трещат, кровь кипит. А бан? А что, если он попадет в плен? У него похолодело в душе. Быть в их руках, стать их посмешищем! А месть? Ведь только свобода даст возможность мстить. Он

заметил церковку св. Мартина. Слез с коня, свернул знамя и тайком стал пробираться к церкви. Но позади слышался конский топот. Обернулся. За ним на коне гнался старик Амброз. Бан выхватил саблю, но Амброз сразу выбил ее у него из рук.

– Остановись, domine бан, я поймал тебя, – спокойно сказал Амброз.

– Подбан бана?

– Честный человек разбойника.

Амброз слез с коня. В это время показалась приближающаяся группа воинов.

– Войдем в церковь, – сказал Амброз, – вас могут взять в плен.

Он схватил бана за плечи и ввел его в церковь. Перед распятием слабо мерцала лампадка.

Петар был бледен и ничего не говорил.

– Ну вот, – продолжал Амброз, – адвокат выиграл тяжбу против бана, который нарушил правосудие, закон и свое слово. Дайте сюда знамя, – крикнул он, выхватывая его из рук Петара, – оно запачкано, осквернено; этот знак вероломства и лжи, поведший брата на брата, не должен больше развеваться впереди славного хорватского войска.

И, ухватив знамя с двух концов, он сломал древко о колено, разорвал красную шелковую ткань и бросил все к подножию алтаря. Бан закричал от гнева:

– Злодей, дай мне меч и померяемся силой!

– Ты не достоин меча.

– погоди, он еще сверкает над твоей головой, – сказал Петар, гордо выпрямляясь.

– И это мне говорит Петар Эрдеди, – сказал старик, – И теперь, когда он в моих руках, когда мне стоит лишь заикнуться, чтоб мои взбешенные отряды разорвали его в клочья. Но нет. Я этого не сделаю. Рука моя не тронет безоружного, не тронет и хорватского бана. Я хотел только защитить своих родственников от неправды, и с меня этого довольно. Большого мне не надо. Иди, беги! Перед церковью стоит мой конь. Через это ущелье ты сможешь бежать к Загребу. Тут нет опасности.

Петар шагнул к двери.

– Бан Петар, – остановил его Амброз, – еще одно слово. Выслушай меня!

– Что вам угодно, господин Грегорианец? – спросил холодно бан.

– Мы здесь одни, двое взрослых мужчин, перед распятием. Не кажется ли тебе, что из ран Христа снова льется кровь? Ох, мне так очень кажется. Здесь, в этих горах, льется кровь нашего народа, драгоценная кровь, которую следовало бы беречь для нашей матери-родины, потому что на нее со всех сторон точат зубы дикие звери. Ах, брат восстал на брата! Бан! Разве бледные лица окровавленных трупов не говорят о том, что мы – каиново отродье, что мы не достойны жить в этих прекрасных местах? Разве не говорят они, что

мы заслужили кнут, который готовит нам судьба? Мы пребываем в вечном рабстве, потому что мы рабы своих страстей, своей жадности. Я заглянул в древние книги, в летопись нашего народа: они писаны кровью, наполнены злобой; я знаю чаяния нашего народа, я прислушался к биению его сердца. Страсти и злоба! Была у нас корона, мы ее сами сорвали с головы, потому что не мог же каждый быть королем. Я плакал, у меня сердце разрывалось от этих воспоминаний; да оно и сейчас разрывается. Разве мы стали лучше, скажите мне? Разве мы заслуживаем, чтоб дерево мира и счастья охраняло нас своими ветвями? Я человек закона, и когда я вижу, что его бессовестно попирают, моя кровь вскипает, и я прихожу в ярость. Мечом, силой народы приобретают мощь и славу, но не становятся счастливыми. Бан, – продолжал старик, – вы богаты, умны, славны, вы знатного рода, у вас железная воля, вы Эрдеди, вы князь, вы бан, но забудьте на время все это, забудьте о себе и помните только, что вы сын несчастной матери – Хорватии. Помните это. В эту кровавую ночь я, седой старик, заклинаю вас перед распятием: пойдите другим путём, забудьте семейные выгоды, поднимите знамя правды, объедините вокруг себя все благородные сердца Хорватии, положите конец ужасному кровавому делу и поведите нас на бой за свободу и счастье отцов и дедов наших. Заклинаю вас! – сказал старик, взволнованно схватив руку бана, и слезы задрожали на его седых ресницах. Но Петар отдернул руку и холодно ответил:

– Да, я Эрдеди, я бан! Вы, domine Амброз, читайте старые книги, а я своей саблей напишу новые, и в них будет страница, где потомство прочтет кровавые письма: «Мечь Амброзу Грегорианцу».

– Пишите, – спокойно сказал Амброз, – совершайте вашу мечь, но знайте: придет новое поколение; ваше перо, вот эта славная сабля, будет ржаветь над вашим прахом, а ваша могила будет попорана ногами крестьян. Величие превращается в пыль, власть проходит, а внуки взвешивают память на весах. И как знать, кто еще перетянет – Петар или Амброз! Послушайте меня...

– Не желаю, – возразил надменно бан, – никогда! До свидания...

– На поединке правосудья! Бегите, бан! Пора!

Бан вышел и скрылся на коне в ущелье, а Амброз направился пешком в замок.

В замке Сусед звенели золотые чаши. Воины славили победу, и пенилось красное, как крестьянская кровь, вино.

Уршула стояла перед портретом Доры, грудь ее взволнованно вздымалась, жесткое лицо горело.

– Дора, Дора! – воскликнула она. – Благодарю тебя, моя святая!

Отворилась дверь. Вошел Амброз. Уршула устремилась к нему с протянутой рукой.

– Спасибо вам, domine Ambrosi, – сказала она, – тысячу раз спасибо! Я свободна. Этого я вам никогда не забуду. Про-

сите у меня, чего хотите, я все исполню по вашему желанию.

– Честное слово? – спросил Амброз серьезно.

– Клянусь богом! – сказала женщина и подняла кверху сложенные для клятвы пальцы.

– Хорошо...

В эту минуту в комнату вошли зятя Уршулы.

В мрачном ущелье на коне мчится бан, на коне своего врага, побежденный, без меча, без знамени. А в ущелье ручей шумит: «Позор!»

Бан спешит дальше. И чудится ему, что темные скалы кричат ему с укоризной вдогонку: «Позор!»

Бан запахивает плащ и несется дальше.

В долине, в лунном свете, серебристые ивы шепчут, как ночные духи: «Позор!»

А баи скачет все дальше и дальше.

С небес на него глядит бледная, зловещая луна, и в ее неподвижных очертаниях он читает все то же слово: «Позор!»

«Позор, позор!» – звучит во всем мире. И в сердце бана свивается змея мести.

На холме возле Суседа, в ночной тишине, одиноко сидит человек и глядит в долину, на кровавое поле сражения: это Матия Губец. Глядит и спрашивает сам себя:

«Чья эта кровь, что среди росы дрожит на траве? Наша.

Чьи это бледные трупы, чьи окровавленные волосы, которыми играет ветер, и остекленевшие глаза, в которых отражается лунный свет? Наши.

Чье это чернеет пожарище, где под пеплом погребено счастье целой жизни? Наше.

Чей это окровавленный меч сверкает в траве? Наш.

Чье все это проклятье? Наше».

И Губец залился горькими слезами; как безумный, закачал головой и закрыл лицо руками, чтобы ничего не видеть, ничего не слышать; но когда пролетающий над ним ворон закаркал, он вздрогнул, вскочил на ноги и, схватив с травы окровавленный меч, поднял его к луне и, громко хохоча, закричал:

– Эй, черный ворон! Ты и сердце наше хочешь? Не бывать этому! Никогда! Никогда!

Весть о том, что бан Петар был побежден подбаном Амброзом под стенами Суседа и что знамя бана, этот символ хорватского героизма в борьбе с нехристями, разорванное и сломанное, лежит в грязи и в пыли, – как громом поразила сердца хорватского дворянства. В первую минуту все были ошеломлены этим неслыханным позором, и никто, будь то вельможа или простой дворянин, не думал о том, что связывает его с баном или с подбаном – родство или выгода, а каждый задавал себе вопрос: «Кто прав? Что-то теперь будет?» И никто не мог на это дать ответ, даже сам мудрый князь Джуро Драшкович, самый ловкий хорват своего времени, который после смерти Матии Брумана стал епископом загребским. Темные предчувствия овладели всеми сердцами, глухая тревога наполнила все души. Все в этой атмосфере страха и трепета напоминало, что кровавый июньский день 1565 года, когда со стен старого Суседа на голову бана обрушился позор, что этот зловещий день станет источником целой череды кровавых дней, когда новые грехи приведут к старому проклятию. Над родиной нависла черная туча, готовившая падение и гибель несчастной хорватской земле; она несла с собой ужасы войны с турками, вдвойне страшные теперь, когда на востоке всходила кровавая звезда великого визиря Мехмеда Соколовича, который, происходя сам из

нашего народа, готовил ему гибель. Страшная весть: турок поднимается – прокатилась, как раскат отдаленного грома, и каждый вздрагивал при мысли, что страна снова будет тонуть в крови, что от страны, от народа опять потребуются тысячи новых жертв. И в то время когда в «жалких остатках» славного королевства Хорватии каждая рука героя была неоценима, когда каждая капля молодецкой крови была на вес золота, когда все сердца храброго народа должны были бы слиться в единое огромное сердце, когда все благородные люди должны были бы дышать единой грудью, дышать самоотверженностью во имя свободы своей веры и очагов, в такое-то время поникло знамя бана. И не на геройских полях сражений... старой хорватской славы бились две главы королевства, а в эгоистической распре личной жадности, ради грабежа, и, обезумев, своей кровавой распрей снова вызвали из ада все те бесовские силы, которые веками уничтожали нашу прекрасную и несчастную родину.

Да что значат турки, немцы, Соколович, закон, право, свобода, родина? Что все это значит? Ничего! Ничего! Всюду грабеж, разбой, зависть, жадность, злость за злость, кровь за кровь, страшная, глубокая ненависть, та отраву души человеческой, которая не щадит ни брата, на отца, ни матери, ни даже бога!

В стране все было тихо и мирно, люди переговаривались вполголоса, но для всякого честного человека этот глухой мир был подобен удушливому зною перед грозой. В Хорва-

тии образовалась пропасть, и такая глубокая, что дна не видно. Ее можно заполнить только кровью, только своей кровью. Оправившись после первого удара, дворянство раскололось на две партии. С одной стороны Петар, в котором кипел вулкан страстей, и с ним Тахи, Кеглевичи, Алапичи, Бедковичи, Погледичи, Петричевичи, Буковачкии и все туропольские дворяне; с другой – седой богатырь Амброз, и с ним Зринский, Коньский, Секели, Мрнявчичи, Керечены, Црнковичи, Закмарди, Забоки и целое войско загорских сливарей; и те и другие были одинаково оскорблены, одинаково разъярены, одинаково сильны, с одинаково отточенными саблями; лев против льва, рысь против рыси, хуже – змея против змеи. С обеих сторон ружья наготове. А поодаль стоял князь Джуро Драшкович, поглаживая свою длинную черную бороду и исподлобья посматривая на эту беснующуюся толчею; в его возбужденной душе возникали радужные мечты, но умная голова сдерживала их, тайно нашептывая его сердцу: «Ты будешь *deus ex machina*».³⁵ Было только одно большое благородное сердце в ту эпоху – это сердце Никола Зринского. Но он ничего не видел и не слышал. Его дух возносился высоко, и взор его устремлялся на восток, откуда должно было взойти кровавое солнце; днем и ночью уста его шептали: «Между нами и турками нет настоящего мира». Никола любил Амброза, но еще больше любил родину и человечество. Каково же было положение этих двух дво-

³⁵ неожиданный и счастливый выход из затруднительного положения (*лат.*).

рянских партий? На чьей стороне было право? На стороне ли бана, который будучи хранителем закона, во имя родства нарушил право и бросил саблю на весы святой справедливости, или на стороне Амброза, который в благородной борьбе за святость закона разбил вооруженную силу королевства и растоптал символ высшей чести? На чьей? Каждая партия кричала: «Право на моей стороне», потому что это святое слово раздается чаще всего в устах тех, у кого в душе его нет. Все выжидали. Было ясно, что стрела должна быть пущена, но не знали, в какую сторону; знали, что партии численностью и силой равны, но не было известно, сколько в каждой из них людей надежных и сколько нерешительных трусов.

Однажды, в начале июля, после полудня, бан Петар со своим шурином, горбатым Гашпаром Алапичем, вошел в комнату своей жены Барбары, которая сидела на ларе и прилежно прядла, оживленно беседуя с госпожой Еленой Тахи. Бан редко проводил лето в Загребе, но на этот раз важные государственные дела не позволили ему воспользоваться деревенским досугом.

– Здравствуйте, милая гостья! – приветствовал бан Елену. – Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо в моем доме?

– Очень хорошо, господин Петар, потому что здесь я нашла приют, а благодаря моей названной сестре, госпоже Барбаре, я на время позабыла и о жестоких ранах, нанесенных мне злыми людьми.

– Ваши раны – мои, – ответил бан. А Гашо весело добавил:

– Мы как раз пришли спросить вас, благородная госпожа, приготовил ли уже господин Тахи лекарство от вашей болезни?. Вы скоро поправитесь, госпожа Ела, потому что в вас течет кровь Зринских и вы из крепкой породы, а вот мой дорогой свояк, *salva auctoritate banali*,³⁶ так ударился головой об эти проклятые стены Суседа, что у него и посейчас такая же шишка на лбу, как у меня на спине.

– Брат, – воскликнула Барбара, вспыхнув и покраснев, – к чему эти шутки?

– Оставь его, – сказал спокойно бан, – тебе никогда не исправить его язык.

– Правда, господин свояк, – усмехнулся Алапич, – так же, как и мой горб. Уж таким корявым уродился.

– Шутки в сторону, – продолжал бан, – мы действительно шли к вам, госпожа Елена, как шутливо намекнул Гашо. Скажите, имели ли вы вести от господина Тахи, подал ли он жалобу королю, писал ли он что-нибудь о наших делах?

– Я ничего, совершенно ничего не знаю, – ответила Елена, – но думаю, что он скоро будет, так как он мне писал из Венгрии, что должен быть принят королем и если до восьмого июля я не получу письма, то чтобы я его все же ждала в Загребе; и вот сегодня десятое.

– Хорошо, – сказал Петар, – значит, надо его ожидать в скором времени; бог знает, какие он привезет вести, потому что, как я узнал, и Амброз подал на нас жалобу его королев-

³⁶ ради спасения авторитета бана (*лат.*).

скому величеству.

– Эх, этого я не боюсь, – сказал Гашо, махнув рукой. – Ты слыхал, свояк, о сказочной химере или драконе? Таков и Тахи – и змея и лев. Для него не существует преград. Сущий дьявол. Он и самого короля готов схватить за горло. Да и Баторий ему друг. Король Макс находится в тисках. Какого черта станет он спрашивать, на чьей стороне право? Для него тот прав, кто его приверженец. Ergo, я полагаю, что господин Ферко привезет в своем багаже целую артиллерию против наших противников. Ну, дорогой бан и свояк, пойдем. У нас еще с три короба дел и разговоров перед сабором.

– Да. Прощай, Барбара! Прощайте, госпожа Елена! – сказал бан. – Как только Ферко приедет, пусть сейчас же зайдет ко мне.

– погоди, Петар, – сказала Барбара уходившему бану, – Елена хочет тебе еще что-то сказать.

Бан остановился, а Елена поднялась, открыла большой ларь и достала знамя из красного шелка, вышитое золотом. На одной стороне был герб Эрдеди, на другой – три малых герба: королевство Далмации, Хорватии и Славонии.

– Бан, – сказала Елена сквозь слезы, – когда ярость этой лютой волчицы Уршулы прогнала меня из дому, вы меня приютили, как родную сестру. Как мне было отплатить за вашу доброту? Вас оскорбили, вас предали, ваше знамя изорвали. Вот вам другое. Я его сделала своими руками. Каждая жемчужина на знамени – это моя слеза, каждый раз, что я

втыкала иглу, я словно вонзала нож в сердце наших неприятелей, и от благородного гнева мое лицо пылало, как это знамя. Примите мой дар, носите его победоносно и с ним уничтожьте наших общих врагов.

Бан взял знамя и, поцеловав руку Елены, сказал:

– Благодарю эту нежную ручку, которая, движимая настоящим сердечным побуждением, сделала мне такой прекрасный подарок. Обещаю вам, благородная госпожа, что это знамя всегда будет для меня символом славы.

– Петар, друг мой! Погоди! – сказала Барбара; она выпрямилась, и глаза ее загорелись. – На этом новом залоге твоего величия поклянись мне, что ты отомстишь Грегорианцам.

– Клянусь, Барбара! – ответил бан, положив руку на свой герб.

– Что ты будешь преследовать их за государственную измену, – продолжала Барбара, – которую они начали с того, что растоптали знамя бана.

– Клянусь! – повторил бан.

– Что не успокоишься, пока не раздавишь эту змею Уршулу и пока моя названная сестра Елена не вернется хозяйкой в Сусед.

– Клянусь богом! – сказал в заключение бан.

– Слава богу! – вздохнула Елена, положив руку на сердце.

– Аминь! – пробормотал Гашо, повернувшись на каблучках. – Пойдем, бан, время не терпит.

И оба мужчины вышли из комнаты.

Долго оставался Гашо в комнате князя Петара, долго они тихо разговаривали, перебирая полученные письма, подсчитывая голоса выборных, составляя краткие послания вельможам и дворянам. Было уже довольно поздно, когда Гашо Алапич расстался с баном. Уходя, он сказал:

– У меня на душе есть еще одна забота – это благородные господа туропольцы. Их много, и каждый имеет голос. Это единственное *antidotum*³⁷ от твоих соседей драганичан, которых Грегорианцы и самоборцы подняли против тебя. Когда недавно, после несчастной битвы под Суседом, откуда я едва унес ноги, я был в своем замке в Буковине, я собрал туропольских дворян, напоил и прощупал их, как сатана грешную душу. Жупан – наш, Погледичи – тоже; я-то думал, что стоит только чихнуть, как все благородное общество возгласит: «На здоровье!» Не тут-то было. Господин Вурнович, продувная шельма, продался этому дьяволу Грегорианцу и втихомолку разрушал все, что я создал с таким трудом. Дворяне из мужиков не хотят больше слушать жупана. Это-то меня и беспокоит. Я должен во что бы то ни стало впрячь их в свое ярмо и утащить лакомый кусочек из-под самого носа Вурновича.

– Каким образом? – спросил Петар.

– Предоставь это мне! Я подговорил одного человека, который отправится к ним в качестве просителя, это мой «глас вопиющего», а когда благородные башки их размягчатся, я

³⁷ противоядие (*лат.*).

приду и сварю из них кашу.

– Желаю тебе счастья, Гашо, и спокойной ночи, – ответил бан, и они расстались.

Едва горбатый господин Гашпар вышел из дома бана на Господской улице, как на башне пробил девять часов «колокол жуликов»; этот звон сообщал, что всем почтенным гражданам пора уже быть в постели. Однако Гашпар, вместо того чтобы пойти на ночлег, который бан приготовил ему в другом своем доме, направился через площадь Св. Марка на Каменную улицу. Никто этого и не мог поставить ему в вину: владелец Буковины больше всего любил выходить ночью, как летучая мышь. Был он холост, горбат, мал ростом, уродлив, как бы проклят природой. Не раз в женском обществе он говаривал: «Знаю, что вы, благородные девицы, ненавидите маленького Гашо из-за его большого горба и едва ли кто из вас предложил бы мне обручальное кольцо. Но, поверьте, мне от этого ни холодно, ни жарко, я таков, каким меня мать родила; когда же дело доходит *ad fractionem panis*,³⁸ то я о горбе забываю, и, верьте мне, у каждой женщины, и в городе и в деревне, можно затронуть человеческую струпу. Ева всегда останется Евой, будь она благородная или простая».

Господин Гашо, как прожорливая оса, крал, мед из всякого улья, и случалось, что его и бивали, но в одном месте горб его был вне опасности: в корчме кумы Ягицы, под первой

³⁸ до самой сути (*лат.*).

аркадой Каменной улицы. Муж Яги служил когда-то конюхом у отца Гашпара; она была служанкой; конюх любил вино, а Гашпар любил его законную половину, – и все устраивалось к лучшему, прости их господи! Хоть Гашо и был гордым аристократом, но предпочитал проводить вечера в комнатке Яги, позади корчмы, а не в кругу вельможных дам. Туда-то он и направил теперь свои стопы. В корчме сидели за-всегдаи; в углу храпел бывший конюх. Гашо вошел; на пороге его встретила красивая, дородная черноглазая женщина с засученными рукавами. Ей можно было дать лет тридцать, а усики на верхней губе показывали, что она только по ошибке родилась женщиной.

– Эге, ваша милость, где это вы, черт возьми, так долго болтались? – приветствовала его женщина. – Мне кажется, вы все выбираете кривые дорожки, которых, к сожалению, в Загребе немало. Берегитесь! Здорово вам попадет, коли я узнаю, что вы перелезли через чужой забор. Когда вы далеко от Загреба, мне все равно, – плывите себе по течению, раз уж все горбуны такие черти.

– Молчи, баба. – крикнул сердито Гашо, – держи язык за зубами и не болтай зря! Давай-ка ужин и вино. Мне неохота выслушивать твои проповеди. Не спрашивал меня тут Петар Бошняк, слуга Тахи, и еще один человек?

– Как же, – ответила корчмарка, – они вон на дворе пьют. Сейчас их позову.

Она вышла, но сразу же вернулась и поставила перед Гашо

жареную курицу, кувшин вина и краюху хлеба.

– Иди, Яга, – сказал горбун, втыкая вилку в курицу, – пошли сюда этих прохвостов, а сама подожди в корчме, я тебя позову.

Усатая женщина исполнила приказание, и вскоре в комнату, где вуковинский владделец наслаждался ужином, вошли двое.

Первый, Петар Бошняк из Суседа, низко поклонился и сказал улыбаясь:

– Вот, ваша милость, тот человек, о котором я вам говорил.

Гашо, держа на вилке кусок курицы, поднял голову и посмотрел на пришельца. Это был маленький, щуплый человек. На тонкой шее болталась лысая, как дыня, голова, на которой кое-где торчали космы светлых волос. Посреди расплющенного веснушчатого лица краснел шишковатый нос, покрытый красными жилками; метелкой топорщились рыжие усы, а сонные желтые глаза смотрели в одну точку. На кривых ногах были изодранные сапоги; зеленый, опоясанный шнуром кафтан уже пожелтел, а когда-то черная шляпа позеленела. Пришелец стоял молча, вертя в руках свою шляпу. Вид у него был настолько дурацкий, что действительно можно было усомниться в его уме.

– Откуда ты извлек это потрепанное пугало, Петар? – спросил Алапич.

– Шкура у меня потрепанная, – сказал рыжий, – да ум

крепок; на шкуру можно поставить заплаты, а на ум нельзя.

– Как тебя звать, откуда ты и кто? – спросил опять Гашо.

– Зовут меня Шимун Дрмачич. Откуда я? Это, ваша милость, спросите у моей неизвестной мамыши. Во всяком случае, я появился на свет где-то около Сутлы, потому что там впервые стал таскать кур. Кто я? Все, кое-что и ничего, *dignam cum reverentia, illustrissime!*³⁹

– Я хотел сказать, чем ты, каналья, питаешься? – проговорил в удивлении Алапич.

– Хлебом и ракией.

– А кто же тебе доставляет средства?

– Мой ум да чужая глупость, *stultitia humana.*⁴⁰

– Откуда ты знаешь латынь?

– Это длинная история. Мальчишкой я водил слепого с палкой, получая от него ежедневно три порции колотушек. Я и бросил его в лесу. Тогда монахи из Кланца взяли меня в школу. Окончив ее, я стал послушником. И едва не сделался порядочным человеком. Еды и питья вдоволь, работы никакой. Но монашеская капуста слишком воняла, и когда брат ключник спрятал даже ключи от погреба, я украл у гвардиана зимние сапоги и купил на них ракии. Эхма! Монахи это пронюхали. Я старался доказать, что и святой Криспин поступил, как я, но все напрасно. Сняли с меня монашеское одеяние, и я очутился, как рак без скорлупы. Плохо бы мне

³⁹ с полным уважением, высокочтимый (*лат.*).

⁴⁰ людская глупость (*лат.*).

пришлось, не умею я читать, писать и не знаю немного латыни. Это и спасло меня, я стал ходатаем.

– Ты, мошенник, ходатай? – рассмеялся Гашо.

– Если брадобрей может называться доктором, почему же и мне не быть ходатаем? Хожу из села в село и ношу в своей выдолбленной палке перо, чернила и бумагу. За прошение беру грош или стакан ракии; так и питаюсь, как воробей в помойной яме.

– Забавная история! – воскликнул Алапич, хлебнув из кувшина.

– Да, – ответил Дрмачич, – я рассказал вашей милости весь мой *curriculum vitae*⁴¹ мошенника, чтоб снискать ваше доверие.

– А сумеешь ли ты, мошенник, сделать то дело, ради которого я тебя призвал?

– Пойти уполномоченным к туропольским костурашам? Еще бы!

– Ты знаешь Турополье?

– Каждый куст и каждую корчму от турецких траншей на Одере до крепости в Лекеницах и от Ракитовца до последней дубранской клетки, а также и славную «Высокую гору», которую всякий заяц может перепрыгнуть.

– Ну так вот, косматый *domine* Криспин, направь-ка ты свои копыта на «Высокую гору» и науськай костурашей против господина Вурновича.

⁴¹ биография (лат.).

– Ad servitia paratissimus,⁴² но мои копыта Fie подкованы.

– Другими словами, *dominatio vestra*,⁴³ – сказал Алапич, – метит на мой кошелек, не так ли, мошенник?

– Конечно, – сказал Шиме, кивая, – *clara pacta, boni amici*.

Всем известно, что посланнику нужны золотые и серебряные приманки. Поглядите на меня. В частной своей работе я не забочусь ни о дырявых сапогах, ни о протертых локтях, но на господской службе надо быть умытым и причесанным, *auctoritatis gratia*.⁴⁴

– На, – засмеялся Алапич, кидая Шимуну толстый кошелек, – умойся и причешись. Завтра на заре отправляйся с Петаром в Горицу. Но смотри не засни в какой-нибудь корчме, не то я тебя насажу на вертел.

– Не рассчитывайте на это постное жаркое, *magnifice*, слишком вы жирный клиент.

– Ступай!

– *Servus humillimus dominationis vestrae*,⁴⁵ – Шимун поклонился, засунул кошелек в карман и вышел с Петаром из комнаты, куда тотчас же вошла Ягица.

– Слава богу, – вздохнул Гашо, – *publico-politica*⁴⁶ закон-

⁴² Полный готовности служить (*лат.*).

⁴³ ваша милость (*лат.*).

⁴⁴ ради авторитета (*лат.*).

⁴⁵ Покорнейший слуга вашей милости (*лат.*).

⁴⁶ общественно-политические дела (*лат.*).

чилишь, теперь пойдут *privatissima*.⁴⁷ Теперь я твой, Ягица.

И он поцеловал корчмарку.

Город был объят тишиной, все спало, и лишь каждый час слышался крик сторожа: «Хозяева и хозяйки, остерегайтесь пожара, сгребайте жар в очагах, чтоб кошка не разнесла искры на конце хвоста».

⁴⁷ только личные дела (*лат.*).

В день святого Якова, то есть 25 июля 1565 года, бан Петар Эрдеди созвал всех дворян на сабор в свободном славном городе Загребе. Дворяне как громом были поражены этой вестью. Теперь-то должна была разразиться буря. Прошел слух, что Тахи привез от короля важные письма, но содержание их было неизвестно. Люди в страхе гадали, что там; подчеркивалось, что именно Тахи привез письма, и люди нетвердые, преклонявшиеся только перед силой, стали качать головами.

Накануне дня святого Якова (было воскресенье) господин Амброз ехал из Брезовицы в Загреб. Недалеко от Королевского брода на Саве он встретил большой отряд туропольских дворян с саблями, шедший со знаменем по направлению к Загребу; впереди на конях ехали братья Яков и Блаж Погледичи из Куриловца. Увидав подбана, Блаж махнул рукой, и весь отряд стал кричать: «Vivat Ambrosi!»

Потом Блаж подъехал к экипажу Амброза и, поклонившись, сказал:

– Egregie domine! Все хорошо! Мы с вами! Завтра бан нам даст отчет.

Амброз поблагодарил, а Блаж вернулся к своему отряду, сказав, что его люди должны еще отдохнуть в ближнем селе, прежде чем переправиться через Саву.

Приехав в Загреб, подбан сразу отправился в дом господина Коньского у Каменных ворот. Там он нашел за столом целое общество: хозяйку Анку, госпожу Уршулу и трех ее зятьев.

Все встали, чтоб поздороваться с подбаном.

– Слава Иисусу! – сказал Амброз. – Вы, как вижу, навостряете языки к завтрашнему дню! И даже женщины, которые на саборе и голоса-то не имеют! Ну, что нового? Подсчитали ли вы наши голоса?

– Да, мужчины вот уже два дня как только этим и занимаются, – сказала Анка Коньская. – Эх, почему я не мужчина!

– Как же наши дела? – спросил Амброз, садясь на высокий стул.

– Хорошо, батюшка, – ответил с живостью Степко, – господин Вурнович привлек туропольцев, у них большинство голосов.

– *Spectabilis domine*,⁴⁸ – сказал Коньский, – хоть я и надеюсь, что большинство будет на нашей стороне, но прошу вас не ходить завтра на сабор. Мы будем говорить вместо вас.

Все ужаснулись, а подбан выпрямился и спросил с удивлением:

– Почему?

– Будут говорить о вас, – ответил порывисто Коньский, – прошу вас, не ходите.

– Что ты, свояк, с ума сошел? – крикнул в бешенстве

⁴⁸ Уважаемый господин (*лат.*).

Степко, ударив кулаком по столу. – Ты нам ничего об этом не сказал. Надо же заставить этих мерзавцев скинуть маску.

– А почему же бан может идти на сабор? Разве не он зачинщик насилия? – встала горячо Уршула.

– Бан – глава сабора, – спокойно ответил Коньский. – Мы будем вас защищать, доложим вам все, domine Ambrosi! Но заклинаю вас, не ходите.

Подбан внимательно посмотрел на Коньского и, сделав знак рукой, сказал:

– Выйдите на минуту! Все, кроме Коньского.

Все вышли.

– Господин Коньский, – продолжал Амброз, – вы что-то знаете. Говорите!

– Вот в чем дело, – ответил хозяин дома. – Епископ Джюро Драшкович советует вам не ходить на сабор. У него на то веские причины. Может разразиться буря, может дойти до столкновения. Родина в опасности: сейчас все должны объединиться и быть готовыми к войне. Потому-то вас епископ и просит не ходить. Он мне не хотел говорить, но я предполагаю, что Тахи удалось склонить короля на свою сторону. Ради бога, не ходите!

Подбан немного подумал, потом спросил:

– А где епископ?

– Уехал в Тракошан, чтоб избежать бури, которая может разыгаться на саборе.

– Позовите всех, – сказал подбан.

Коньский повиновался.

– Господа и братья, – обратился подбан к вошедшим, – я завтра на сабор не пойду.

– Боже мой! – воскликнула Уршула вне себя, схватив старика за руку. – Вы нас бросаете на произвол судьбы! Ради бога, не делайте этого.

– Батюшка! – закричал Степко, становясь на колени перед Амброзом. – Заклинаю вас сыновней любовью, не поступайте так, каждый волос вашей седой бороды стоит сотни их слов.

Но подбан поднял голову и сказал:

– Не пойду.

Тогда Коньский подбежал к нему и, поцеловав его руку, воскликнул:

– Благодарю вас, достойнейший муж. Я буду защищать вас до последнего вздоха. А вы подождите! Придет время, и все увидят, насколько благородна душа Амброза Грегорианца.

Было утро дня святого Якова, час открытия сабора. Старик Амброз, опустив голову, заложив руки за спину, шагает по комнате в доме Коньского. Он мрачен и неспокоен. Мечется из угла в угол, как лев в клетке. Иногда остановится и посмотрит в окно. Наблюдает, как выборные идут через Каменные ворота на сабор. Одни, оживленно разговаривая, спешат, боясь опоздать; другие, наоборот, идут медленно и молча, как бы нехотя. Пешие, всадники, вельможи, сливари

из Турополя в синих кафтанах под ментиками. А Амброз не может, не смеет пойти. Он мрачно хмурит брови, и на глазах его дрожат слезы. Он один. Мужчины ушли на сабор; Анка в своей комнате с матерью Уршулой, которую трясет лихорадка. Он один со своей седой головой и своим благородным сердцем, которое так взволновала чужая нечестность. Да и теперь оно бьется все чаще, стучит все громче. Что-то будет? Время ползет медленно, как червь; все тихо, лишь изредка с площади Св. Марка доносятся крики – это сабор, заседающий во дворе ратуши. Минул полдень, уже час дня. С улицы послышались топот, шум, крики. Подбан подошел к окну. Взволнованные, разгоряченные, с красными лицами, бранясь и смеясь, шли выборные с сабора. В коридоре раздались шаги. Дверь отворилась, в комнату стремительно вбежал Степко и, став перед отцом на колени, воскликнул:

– Батюшка! Батюшка! Какой позор!

За ним вошли Бальтазар, Керечен, Коньский, Друшкович и Вурнович – бледные, дрожащие, с выражением отчаяния на лице, а на крик Степко в комнату вбежала Уршула с блестящими от лихорадки глазами и с ней Анка.

– Бога ради, что случилось? – закричала Уршула, подбегая к Степко.

– Помолчите, женщины! – приказал спокойно Амброз. – Сейчас все узнаете. Пусть говорит господин Коньский.

Он сел, а Коньский начал приглушенным голосом:

– Пошли мы утром на сабор полные надежд. Подсчита-

ли голоса. У нас большинство, и это большинство, конечно, сумеет отвести грозу от наших голов, даже если она идет с престола. Площадь Св. Марка была полна выборными, но не было ни криков, ни шума, стоял глухой гул и ропот, все поглядывали друг на друга исподлобья. Чувствовалось, что зревает буря. Когда нас, то есть меня, Степко и Керечена, заметили, пробежал шепот, и все глаза устремились в нашу сторону. Но мы не остановились. Поздоровавшись кое с кем, мы пошли прямо к ратуше, чтоб запясть хорошие места. Так было условлено еще вчера. Во дворе было порядочно дворян, и наших и их сторонников, но, насколько я мог разобрать с первого взгляда, наших было больше. Потом с площади пришли еще другие. Двор маленький, и была настоящая толкотня. Мы забрались на правую сторону, а за нами стояли братья Секели, Друшкович, Мрнявчичи, аббат Павлинский, выборный города Загреба, Томо Микулич, горожане из Крижевца и Вараждина, дворяне из крестьян из Калника, а отдельно самоборцы.

Против нас, злорадно посмеиваясь, стояли господа Мато и Шиме Кеглевичи, Джуро Всесвятский с опущенной головой, его брат, каноник Стипо, который со слащавой миной униженно извивался перед этим медведем Шимуном Кеглевичем; был там и Ладислав Буковачкий, который, сложив руки на животе, уставился прямо перед собой. Иван Петричевич, размахивая руками, перебегал от одного к другому и показывал на нас пальцем, в то время как Иван Форчич, гордели-

во выпячивая кверху свой нос пьяницы, смахивал пушинку со своего доломана. На их сторону встало довольно много мелких дворян, и Петричевич без конца отвечал на поклоны, поднимая обе пятерни. Послышались крики и возгласы. Это шли драганичане со знаменем! Все до одного примкнули к нам. Мы молча смотрели перед собой, но я был несколько удивлен, не видя ни Погледича, ни Вурновича и ни одного туropolьца. А ведь они нам обещали. Затрубила труба – бан идет; дворяне все встрепенулись, потянулись вперед. В шапке из горностая, в вишневой бархатной мантии вошел бан, за ним Иван Алапич с новым шелковым знаменем и, наконец, смеясь и вертя головой, горбун Гашо и рядом с ним – Тахи. На голове его торчала остроконечная меховая шапка, а правой рукой он держал широкую саблю. Он гордо нес свою голову, веки опустил, нижнюю губу выпятил. Бан сел за стол посреди двора, рядом с ним протонотарий Дамян; одно кресло – ваше – оставалось пустым. Наступила тишина. Я взглянул на противоположную сторону. Там стоял Тахи, беспокойно наматывая на пальцы длинную бороду, и смотрел на нас насмешливым, дьявольским взглядом, показывая из-за толстых губ блестящие белые зубы. Эрдеди заговорил. Голос его дрожал, но говорил он решительно. Приветствуя выборных, он сказал, как сердце его радуется, что они собрались в таком количестве в столь серьезное время, когда враг христианства снова угрожает родине. Он не сомневается, что сословия готовы на любые жертвы и докажут свою верность

королю и родине. Но для того чтоб выполнить эту высокую задачу (тут Эрдеди заговорил громче, а все его сторонники стали смотреть в нашу сторону), надо уважать власть и закон и надлежит, хотя бы и мечом, выкорчевать ту сорную траву, которая угрожает заглушить правду. Такова воля его королевского величества, который готов уничтожить всякого тирана, бан же будет исполнять волю государя, ибо «*Justitia regnorum iundamentum*».⁴⁹

– *Justitia!* – усмехнулся гордо Амброз. – Продолжайте.

– От столь великого множества людей, – продолжал Коньский, – духота была такая, что мозги чуть не плавилась; у всех от нетерпения кипела кровь. На слова бана Стипо Всевысвятский одобрительно закивал головой, а наглец Тахи при последних словах крикнул: «Правильно! Да здравствует король!»; ему вторили некоторые дворяне. И на нашей стороне все гудело и кипело: Лука Секель выпалил в сторону Тахи: «Поглядите-ка на ангела правды!» Ропот утих, но глухое брожение продолжалось. Протонотарий, покашливая, огласил письмо короля, в котором утверждались постановления последнего сабора. Крестьяне зевали, слушая это бесконечное чтение на латинском языке. Дворяне, перешептываясь, смотрели наверх, где, на галерее, жена бана, в богатом наряде, следила за собранием; рядом с ней сидела Елена Тахи...

– Елена! – гневно пробормотала Уршула. – Зять, рассказывайте скорее.

⁴⁹ Справедливость есть основа государства (*лат.*).

– Бан, – продолжал Коньский, – словно оттягивал более важные дела и все поглядывал на вход; то же делал и я. ожидая с нетерпением туропольцев. Собрание установило размер налога на дым, выбрало вельмож в банский суд, назначило Моисея Хумского экскактором, постановило, что кметы бедековичевского уезда должны укрепить Крижевац, и начало говорить об укреплении Копривницы, но в этот момент с криками, гремя саблями, вошла толпа турогольцев, впереди их Вурнович, братья Погледичи и жупан Арбанас. Они поместились между правой и левой стороной, и Яков стал спереди, так что все его могли видеть. У меня радостно забилося сердце, а Степко, потирая руки, гордым взглядом смеялся Тахи, который посмотрел на него в ответ совсем спокойно. Бан также несколько не смутился, а Гашо Алапич, до сих пор смотревший в землю, даже поднял голову и зажмурился, как кот, так что я и впрямь подивился. Наступила гробовая тишина. Бан быстро встал, вынул из-за пояса письмо с большой печатью и передал его Дамяну. Тот вскрыл его. Все затаили дыхание. «Nos, Maximilianus secundus...»⁵⁰ – начал читать протонотарий, – король-де с тяжелым сердцем узнал от своих верных советников о том, какая тирания царит в Славонии, где некоторые вельможи и дворяне, ниспровергнув закон и право, подняли дерзновенную руку на королевского наместника, на... бана, и во главе всех...

– Подбан Амброз Грегорианец, не так ли? – закричал Ам-

⁵⁰ Мы, Максимилиан второй (лат.).

брыз, вскакивая, и глаза его засверкали.

– Да, Амброз Грегорианец, – продолжал Коньский, – но в это мгновение раздался ропот, и глаза дворян загорелись угрожающим блеском. «Король, – продолжал протонотарий, – решил наказать за это злодеяние и отрешить подбана от должности».

– Ой! – вскрикнула Уршула, всплеснув руками. – Все пропало. Так вот каково это высокое правосудие! Тьфу!

Степко стоял в углу, сжимая в руках саблю, и скрежетал зубами, на глазах его блестели слезы; Амброз привстал, но снова сел и, подперев голову, сделал Коньскому знак рукой:

– Продолжайте, продолжайте!

– Собрание застонало от криков и возгласов; шумели, гудели, хлопали в ладоши, бушевали, звенели саблями, потрясали кулаками. Бан побледнел, протонотарий замолчал. Когда по знаку бана все успокоилось, протонотарий продолжал чтение: «...король приказал подбана и всех соучастников злодеяния наказать». Едва проговорил он эти слова, как бан поднялся и громко крикнул: «Так как по воле короля подбан отставлен, давайте выбирать нового! Согласны?» – «Выбираем!» – загремел Тахи. «Выбираем!» – загремели его соседи. «Нет!» – крикнул я так громко, что чуть ребра не треснули; сейчас, подумал, укротим бурю; но Яков Погледич снял шапку и крикнул: «Выбираем! Vivat banus! Долой Грегорианца!» И вся его толпа крестьян загремела в один голос: «Vivat banus! Долой Грегорианца!» У меня кровь застыла в

жилах. Степко готов был выхватить саблю, Вурнович смертельно побледнел и схватил Погледича за грудь. «Нас предали, мы пропали», – вихрем пронесся над нашими головами яростный крик; в этой бешеной суматохе мы увидели оскаленное дьявольское лицо суседского изверга, а сверху вперился в нас адский взгляд этой черной змеи – Елены Тахи. Я вскочил на скамью, хотел говорить. Погледич махнул рукой. «Долой!» – заорала толпа. Керечен выскочил, потрясая кулаками перед баном, но тот закричал: «Хотите ли Ивана Форчича в подбаны?» – «Хотим!» – завывло собрание, а Кеглевич поднял носатого Форчича на плечи. «Vivat Форчич!» – заорали по знаку Погледича крестьяне; и Форчич сел на ваше место. «Тихо! – вдруг раздался голос, пронзивший каждого в сердце; дрожащий, смертельно бледный, перед баном стоял мой приятель Вурнович; глаза его горели, как огромные раскаленные диски, он ударил саблей по столу. – Тихо, говорю я! Я хорватский дворянин, и мой свободный голос не боится вашей ярости. Вы обманули короля, коварством получили письмо, скрыли от него, какой хитростью Тахи ограбил бедную вдову, вы нарушили закон, запятнали старую хорватскую честь, вы обманули неопытное дворянство грязной взяткой, вы замарали золотой венец правды, вы, злодеи, прикрываете свои козни пурпуровой мантией, но я, простой дворянин, протестую против этого насилия и коварства, против этой хитрости и злобы. Не бойтесь, сейчас эта сабля не будет направлена против вас, потому что я ее наточил против

турок, – родина зовет; но как только мы побьем турок – берегитесь! Вы растоптали благородное сердце старого хорвата, разрушили семейное счастье, ограбили вдову! Горе вам!» Вот что сказал Вурнович. А бан, слегка приподнявшись и упершись кулаками о стол, глядел, раскрыв рот, на храброго дворянина, дрожа всем телом, и от злости у него язык отнялся. Тахи покраснел до корней седых волос, которые развевались, как грива, и в ярости, вскочив на стул, крикнул: «Долой Вурновича! Мы здесь хозяева! Я победил! Вашу Уршулу я пущу по миру». – «Бог тебя накажет, кровопийца!» – ответил наш приятель, но в это мгновение над его головой сверкнули сабли; он вернулся к нам, и наш славный отряд, размахивая вокруг себя оружием, покинул собрание; и вот мы здесь. Ох, благородный господин! Зачем выпало мне на долю все это вам говорить, зачем суждено мне было дожить до этого дня...

Наступило молчание. Уршула сидела на скамье. Она прислонила голову к стене, рот у нее был полуоткрыт, глаза лихорадочно блуждали. Анка, опустив голову, одной рукой опиралась о стол, а другой ухватила за сердце, а Керечен молча грыз ус; остальные словно окаменели, только Амброз сохранял спокойствие. Он подошел к Вурновичу и, протянув ему руку, сказал:

– Благодарю тебя, мой друг!

– Прости меня, – и Вурнович с плачем бросился в объятья Амброза, – мои братья также и меня обманули. Они,

неопытные, соблазнились тайной взяткой Алапича, прости меня и народ.

В это мгновение отворилась дверь и в комнату вошел новый королевский нотариус, Иван Петричевич, холодно поклонился и передал Амброзу и Уршуле письмо.

– Письмо от его королевского величества подбану, – сказал он и, снова поклонившись, вышел так же, как пришел.

Все переглянулись в изумлении. Амброз распечатал письмо и стал в волнении читать.

– Nos, Maximilianus... Слушайте! – расхохотался он. – Король повелевает мне, Уршуле и ее зятям предстать перед судом по обвинению в злодействе, в государственной измене и в оскорблении его величества, а вы, госпожа Уршула, должны по его приказу вернуть Тахи все имение.

– Никогда! – вскричала женщина, вскакивая на ноги.

– Должны... пока, – сказал Амброз, – таково повеление короля.

– Изменники! – закричали все в ужасе, окружая старика, который выпрямился, как скала среди бурного моря, и, сжав в руке письмо, поднял его к солнцу, снявшему через окно, и торжественно произнес:

– О солнце, ты, что светишь и праведным и грешным, прочитай это письмо, загляни в мое сердце – и померкни! Успокойтесь, дети! Я больше не подбан, я теперь адвокат. Клянусь честью, король сам разорвет свое письмо!

На третий день после дня святого Якова Тахи вступил во владение именьями Сусед и Стубица. От возгласа изверга: «Ага, теперь я ваш хозяин!» – в страхе и ужасе замер весь край.

На сретение 1566 года была сильная стужа. Господин Фране Тахи благодаря своему медвежьему нраву, еще более огрубевшему после стольких лютых боев, не боялся ни стужи, ни метели; но прошедший год был так труден для него, как и для всей страны, у которой османские варвары отняли Костаневицу и Крупу, что Тахи хотел дать отдохнуть своим косточкам, которые начала пощипывать подагра. Он прекрасно знал, что, как только растает снег, его снова призовет военная труба: король Макс запретил платить дань туркам, и ходили слухи, что султан сам поведет войска на Вену. Этот зимний отдых был и потому еще на руку Тахи, что давал ему возможность укрепить свою власть в этом крае и тянуть жилы из крестьян, причинивших ему и его законной супруге столько неприятностей; другими словами, он собирался мстить всем, кто посмел сопротивляться его жестокому господству. И вот господин Ферко в веселом расположении духа сидел, вытянув ноги, у пылающего камина, а против него расположилась госпожа Елена, которая вышивала шелковый пояс своему сыну Гавро. Оба оживленно разговаривали.

– Представь себе, Елена, – сказал Тахи, – дочка бана выходит замуж.

– Что ты говоришь! – воскликнула его жена, опуская работу на колени.

– Да, и я удивился. Думал, что она умрет старой девой, после того как твой племянник Джуро ее бросил; но, вот поди ж ты, бан подцепил какого-то мадьяра, Степана Држфи, начальника задунайской кавалерии. Обручение уже совершили, и если будем живы, то к осени быть свадьбе. Мне пишут об этом из Венгрии Батории.

– А не пишут ли они что-нибудь о нашей тяжбе и о следствии по делу измены Уршулы и Амброза?

– Пишут, что тяжба мирно почивает, – усмехнулся Ферко. – Да и чему тут удивляться! Амброз, понятно, всячески торопит дело против меня, но у короля сейчас нет времени судить: у него большой спор с турками, в Аугсбурге он кланчит деньги у немецких баронов. А из следствия вряд ли что и выйдет.

– Как так?

– Э, тут опять твой милый брат Никола, который сумел уделить время от своих дел в Сигете, чтоб, как и следовало ожидать, написать Максимилиану пространное письмо в защиту своего приятеля Амброза. Так это дело и замолкнет. Потому я и не поехал на пожунский сабор, был слишком рассержен, да и дома дела достаточно: надо наладить хозяйство и укротить этих скотов крестьян. Я им обломаю рога. Этой государственной изменой я перестал интересоваться, лишь бы имение осталось за мной; старого негодника Амброза я уже хватил так, что будет меня помнить до гробовой доски.

– Кстати, – подхватила Елена, – раз уж ты упомянул этих

скотов крестьян, скажи-ка, что будет с приказчиком Хенингов, Степаном, которого вы недавно поймали на дороге у Брдовца?

– Что с ним будет? – усмехнулся Ферко. – Ты бы лучше спросила, что с ним было. *Requiescat in pace!*⁵¹ – И Ферко, взяв ножницы жены, перерезал нитку и сказал: – Вот как было. Покажу я проклятым мужикам, как разыгрывать из себя судей.

– Ну-ка, расскажи.

– Стоит ли говорить о таких пустяках. Ну, впрочем, вот как было дело. Шимун Дрмачич доложил мне, что Степан живет себе прекрасно в Брдовце, да к тому же грозитя, что вернутся старые хозяева. Сказал, что натравливал на тебя этих собак крестьян, что именьице у него порядочное. Я хотел его судить... но трус поджупан Джуро Рашкай объявил, что Степан, как дворянин, подлежит суду дворян. Ладно, говорю, я подам на него жалобу, вы его судите. Посмотрим, что будет! Собрались они на суд в Брдовец и додумались до того, что Степан прав и чист. Так я и предполагал. Поэтому после суда я с Бошняком и Антоном Гереци решили подстеречь Степана. Схватили его, привели сюда, а Рашкаю я объявил, что теперь буду судить сам. Суд был короткий. Ты еще спала. Антон принес топор, замахнулся... фрк! – и голова долой. Дом мошенника Степана я дал Гереци за то, что так мастерски снес ему башку. Я им покажу, кто я такой, я вы-

⁵¹ Мир праху его (*лат.*).

мету весь дворянский и недворянский сор, чтоб было чисто, как на этом полу! – закончил Ферко, стукнув ногой о каменные плиты.

– Ну, а если на тебя подадут жалобу? – спросила взволнованно Елена.

– Кто? – И Тахи поднял голову. – Бан у меня в руках, партия моя сильна, королю мы нужны, он не будет мешать. Я хозяин Хорватии. Кто же на меня подаст жалобу? И кому?

– Батюшка! Батюшка! – раздался крик, и в комнату вбежал Гавро. – Петричевич пригнал в замок босого человека в оковах.

Тахи быстро поднялся и вышел на крыльцо посмотреть, в чем дело. Посреди двора, на снегу, стоял человек, босой, без шапки, в одном нижнем белье, в тяжелых оковах. Он дрожал от холода, черные волосы свисали вдоль бледного лица, изо рта текла кровь. Рядом с ним были Петар Петричевич на коне, два ратника и ходатай Шимун Дрмачич; у этого тулуп был вывернут наизнанку и ноги обмотаны соломой.

– Кто это? – крикнул сверху Тахи.

– *Latrunculus pravissimus*,⁵² – ответил Дрмачич, поднимая голову, – этот почтеннейший господин, ваша милость, зовется Иван Сабов, и мать его родила не иначе, как для виселицы. Вы его, наверное, знаете!

– Хо, хо! – засмеялся владелец Суседа. – Иван Сабов! Поймали-таки его!

⁵² Отъявленный разбойник (*лат.*).

– *Uti figura docet*,⁵³ ваша милость, – продолжал бормотать Шимун, – но и нам хлеб не легко достался.

Тахи спустился во двор и остановился перед дрожавшим беднягой, который стоял, не поднимая головы.

– Ты Иван Сабов? – спросил Тахи.

Человек гордо поднял голову, посмотрел вельможе прямо в глаза и сказал:

– Да, я дворянин Иван Сабов!

– Вишь, – вмешался Дрмачич, – я и не знал, что ты дворянин. Видимо, и дворяне умеют дрожать. Тебе, видно, не жарко.

Сабов посмотрел на ходатая с презрением и ничего не сказал.

– Ты стоял за Хенингов, ты подстрекал против меня крестьян и с оружием в руках нападал на Сусед, – сказал Тахи.

– Да, – ответил пленник.

– Ты мечом защищал замок от бана и убил капитана Влашича?

– Да!

– А зачем ты это делал, голубчик?

– Потому что служил старой Хенинг, потому что я ей дал честное слово дворянина, потому что я знаю, что Сусед ее родовое имение, которое вы незаконно у нее отняли.

– Ах, так, – сказал Тахи, кивая головой, – но ты, братец, из своего окна стрелял в моих людей и убил коня, которого

⁵³ Как видно по его лицу (*лат.*).

я цену в три раза больше, чем тебя, мошенник.

– Верно, – ответил Сабов, – потому что ваши ратники, наперекор божьему и человеческому закону, напали на мой дом, дом дворянина, чтоб отнять все мое имущество. Я дворянин, я вашего же круга.

– Почему же ты убежал?

– Потому что вы послали против меня сильный отряд. Я хотел укрыться в надежное место и подать на вас жалобу в дворянский суд.

– Ага! Так, так! – усмехнулся Тахи. – А где вы его поймали, мои милые? – обернулся Ферко к Петричевичу.

– В клети близ Стубицы, – ответил Петричевич.

– Да, – продолжал Шимун, – ворвался я ночью в дом, нашел пару его сапог, смерил их. В снегу отыскал след, да так по этому следу и пошли. Я оставил вооруженных людей в засаде и пошел к клети моего старого знакомого, Ивана. Он струхнул, но успокоился, когда я сказал, что иду из Стубицы к господину Грегорианцу и прошу его пустить меня переночевать. Мы поговорили о службе, и он мне сказал, что предпочел бы умереть, чем отведать крошку хлеба или глоток воды у кровопийцы (так он и сказал) Тахи. Наступила ночь, пришел Петричевич, и мышь была поймана; подели его, чтоб бедняга дорогой не вспотел. А теперь он в ваших руках!

– Эх, – сказал Тахи, покрутив ус, – видишь ли, мой дорогой, ты пришел ко мне в гости, не могу же я отпустить тебя в

такой холод, чтоб ты, не дай бог, по моей вине простудился! Я дам тебе и квартиру и постель; ну, а уж раз ты не хочешь принимать от меня ни крошки хлеба и ни глотка воды, то пусть будет по-твоему. Не стану тебя принуждать, а то как бы ты еще не подавился.

Сабов поднял голову и устремил на Тахи тяжелый взгляд, не зная, что тот собирается сделать. Наконец он встрепенулся и сказал:

– Господин Фране Тахи! Я протестую против этого насилия. Отпустите меня! Я дворянин.

– А кто ж тебя знает, – и Тахи закачал головой, – надо сперва поискать твои дворянские документы. А до тех пор потерпи.

– Это будет трудновато, ваша милость, – усмехнулся Др-мачич, – когда он убежал и когда мы прогнали его жену и детей, мы переночевали в его доме. Я растапливал печь всякими бумагами, среди которых был и исписанный пергамент.

Пленник был потрясен, в отчаянии схватился руками за грудь, так что оковы зазвенели, и глухо застонал от боли, гнева и ужаса.

– Боже, боже, – прохрипел он, – видишь ли ты все это?!

– Петричевич, – приказал Тахи, – проводи-ка моего гостя в нижнюю комнату, позаботься о нем как следует и не забудь, что Иван не желает принимать от меня ни крошки хлеба, ни глотка воды, так что ему ничего и не надо давать.

– Спокойной ночи, *nobilis domine!*⁵⁴ – И Дрмачич расхотался.

Пленник стал на колени и обратил взор к небу, но ратники потащили его силой. Тахи весело поднялся на лестнице и в теплой комнате продолжал болтать с Еленой, которая, между прочим, рассказала ему, что утром у нее был священник Бабич и спрашивал, где сейчас находится молодой Джуро Могач, так как люди наверняка знают, что он ушел в Канижу.

– Скажите ему, Елена, – ответил Тахи, – *pro primo*, что Могача захватили турки и, вероятно, сделали из него евнуха; *pro secundo*, пусть этот проклятый поп избегает появляться в моем доме, не то я дам ему здоровый щелчок по его святой тонзуре. Какой мошенник! Он сам из кметов и такая же собака, как и вся эта кметская сволочь!

Прошло пять дней после сретения. Господин Ферко отдал изрядную дань золотистому вину, которое его люди захватили в погребке Ивана Сабова в Брдовце. Лицо его пылало, глаза горели. В прекрасном расположении духа он вскочил на ноги. Сдвинув шапку набекрень, он спустился по лестнице и громко позвал:

– Петар! Эй! Петар! Где ты, каналья?

Петар Бошняк немедленно пришел и отвесил низкий поклон.

– Принеси ключи от подземелья, посмотрим, как-то весе-

⁵⁴ благородный господин (*лат.*).

лится наш гость, Иван Сабов. Да возьми с собой краюху свежего хлеба!

Слуга исполнил приказание, и они спустились по винтовой лестнице; впереди Петар нес светильник, хлеб и ключи, а за ним шел господин Тахи. По темному подземному коридору они дошли до железной двери. Петар отпер ее, вошел, а за ним Тахи. Когда слуга поднял светильник над головой, стало возможно разглядеть это жуткое помещение. Из каменной коробки шел сырой и смрадный дух. Голые каменные стены были местами покрыты мхом и плесенью, а кое-где выступала и вода. В углу, на гнилой соломе, копошился живой комок, возможно, что и человек. Да, да, это и был человек. Из-под окровавленных, затверделых тряпок виднелась человеческая кожа, торчали красно-синие, вспухшие и отмороженные ноги. Руки, худые, бледные, судорожно вцепились в солому. И руки и ноги были в тяжелых железных оковах. Не зверь ли это? Во всяком случае, это что-то живое, потому что иногда вздрагивает, иногда испускает глухое мычание. Нет, это все-таки человек, так как из-под черных окровавленных волос, прилипших ко лбу, виднелось землисто-бледное лицо. В нем не было ни кровинки. Запекшиеся, посиневшие губы полуоткрыты, зубы торчат, как у тигра. Темные глаза горят и вращаются, как у бешеной собаки. Иногда живой комок издаст то стон, то глухое рычание. Он словно врос в землю. Да и не удивительно! Ведь человек пять суток не ел и не пил. Тахи, подбоченившись, стал перед этим комком, как

собака перед мертвой дичью. В глазах его были ненависть, презрение и жестокость.

– Эй! Гость дорогой! Эй, Иван! Как поживаешь, хорошо ли тебе здесь? – спросил Тахи издевательски.

– Воды! – простонал человек, вытаращив глаза.

– Черт возьми, воду-то мы и забыли, – ответил Тахи, – но вот тебе свежий хлеб, к тому же белый. Поешь, кум! Ты проголодался.

И бросил пленнику хлеб. Тот вздрогнул и, словно движимый какой-то неведомой силой, сел, схватил хлеб обеими руками, как обезьяна, и стал, бормоча, жевать и глотать, пока не проглотил все до последней крошки. Тогда пленник начал тяжело дышать, приподнялся и простонал сквозь слезы:

– Прошу вас, умоляю, дайте бумаги... завещание... жене... детям... ох, ох! Дайте!

Тахи молчал.

– Умоляю вас, пожалуйста, – и пленник поднял руки с растопыренными пальцами, – священника, позовите священника, ради бога, священника!

– Позволь, отец, позвать попа, – раздался позади Тахи голос Гавро, который из любопытства последовал за отцом.

– Убирайся вон, сумасшедший мальчишка, – рассердился Тахи, – неужели ты думаешь, что поповское колдовство отворит двери рая этой чертовой собаке? Никогда!

Пленник задвигался, стал судорожно подергиваться, рот его раскрылся, на губах показалась пена, он замотал головой

и прохрипел:

– Воды... воды... жжет внутри... хлеб жжет... воды... воды... во... – и камнем грохнулся наземь.

На минуту воцарилась тишина. Петар приложил ухо к груди пленника.

– Готов, – сказал он.

– Ну, – усмехнулся Тахи, – этот и в аду будет меня помнить! – Но когда он посмотрел на мертвеца, когда увидел этот остекленелый взгляд, уставившийся на него из угла, ему стало не по себе, и он вышел.

Что-то снилось ему в эту ночь?

Пасмурный день 25 сентября 1566 года. Небо покрыто светло-серыми тучами, из которых по временам моросит осенний дождь; они окутывают вершины гор, а на желтые и красные листья лесов медленно стелется туман. В эту пасмурную погоду небольшой отряд всадников не спеша двигался по направлению к Суседу; далеко впереди ехал господин Тахи, рядом с ним Гашпар Алапич. На обоих были темные кабаницы, оба молча глядели вперед из-под надвинутых на лоб мокрых меховых шапок. На лицах их, вообще говоря довольно злых, можно было заметить какое-то мрачное спокойствие; лицо горбатого Ганг-пара было особенно бледно. С башни раздался звук трубы, ворота широко распахнулись, и мрачный отряд молча въехал в замок. Несколько охотничьих собак запрыгали вокруг хозяина, слуги почтительно кланялись; во двор выбежала госпожа Елена, вся в черном, и с ней ее сыновья Гавро и Степан и дочери – Клара Грубер из Самобора и Маргарита Оршич из Славетича. Госпожа Елена осунулась и была очень бледна; в ее темных волосах заметно было много седины; черные глаза ее были полны печали, ужаса и беспокойства. Помахав рукой жене и детям, Тахи слез с коня и молча расцеловался со всей семьей. А Гашо поклонился госпоже Елене. Все были объаты какой-то тревогой и страхом, и потому никто не проронил ни

слова, пока все общество не вошло в покои замка, где сыновья и дочери поспешили спать с отца и гостя оружие и мокрые дорожные кабаницы. Тахи поглядел на старинные портреты, висевшие на темных стенах покоя, вздохнул и, проведя рукой по курчавым волосам, проговорил:

– Ну вот, я, слава богу, и дома! – и, взяв обе руки жены, продолжал: – Здравствуй, жена! Здравствуйте, дети! Давно я не был здесь и думал, что мы никогда больше не увидимся, потому что злой рок нас жестоко покарал и мы еще не совсем пришли в себя. Получила ли ты мое письмо из Канижи? – спросил в заключение Тахи, опускаясь на скамью.

– Получила, супруг мой, – ответила Елена, и на глаза у нее навернулись слезы.

– Ну, там я тебе все написал о кровавом дне седьмого сентября, о поражении под Сигетом и о героической смерти твоего брата Николы. В последние годы Никола не был со мной дружен в много напортил и мне и тебе; но это другая статья, *de mortuis nil nisi bene*;⁵⁵ он защищался храбро и пал смертью героя, он заслужил славу, а те, кто, по глупости, его покинули, те, кто не хотели меня послушаться, о них нечего и говорить, ну их к черту; если хотите узнать подробности, расспросите нашего достойного гостя, господина Алапича, который был очевидцем и едва спас свою шкуру, потому что побывал-таки в турецких когтях.

– Да, побывал, – и Алапич вздохнул с горечью. – Я вам,

⁵⁵ о мертвых говорят только хорошее (*лат.*).

благородная госпожа, все расскажу подробно, когда подлечу свои поломанные ребра, так как, понятно, стол и квартиру у проклятых нехристей я получил не по доброй воле; и отпустили они меня на свободу только потому, что я переоделся в одежду простого солдата. Если б они только знали, что я тот самый человек, который под Шиклошом так здорово расквасил им башки, то, клянусь честью, не снести бы мне головы. Я вам все расскажу, но сейчас, ей-богу, не могу. Я готов лопнуть со злости, что мы так глупо потеряли Сигет, потеряли вашего брата, в то время как войско короля медлило и топталось где-то вокруг Джюра. Но теперь бесполезно плакаться, такова воля божья. Будем надеяться на лучшие времена.

Госпожа Елена прослушала все это спокойно, но крупные слезы капали из ее глаз, и при последних словах Алапича она закрыла лицо руками и зарыдала:

– Ведь он же был мне брат! Говорите что вам угодно, но он был Зринский, достойнее, славнее всех других; он не заслужил такой ужасной смерти. Надеяться на лучшее? Но на что? Брату нехристи снесли голову, потому что он был герой, а моего сына Михаила турки взяли в плен в Краине, и бог знает, что с ним станется. Фране! Фране! Подумал ли ты о своем сыне, о своем кровном детище? Фране! Я потеряла брата, не допусти, чтоб я потеряла и сына!

– О сыне не волнуйся, – сказал Тахи спокойно, – я знаю, где он: он в Баня-Луке. У меня в канижкской тюрьме сидят

двое пашей, и так как я уже получил письмо относительно обмена, то скоро освобожу сына. А ты приготавливайся в дорогу; мы выедем через несколько дней. Я уже написал Еве – вдове Николы, – и его сыновьям. Она поедет в Чаковец. Туда скоро прибудет голова твоего несчастного брата, которую турки выдали генералу Салму; ее отпели в церкви в Джюре, а мы похороним ее в семейном склепе, в храме св. Елены.

Господин Алапич простился с госпожой Тахи и удалился в отведенную ему комнату, а Тахи тоже вскоре ушел, чтоб отдохнуть после утомительной дороги, а еще больше от кровопролитных боев, закончившихся потерей сигетской крепости и смертью героя Николы Зринского. Сон его был глубок; Тахи надеялся, что он будет и сладок; но все напряжение, все пережитые мучения не могли притупить в нем кровавых воспоминаний. Он спал, и во сне ему мерещилось страшное видение: Дора Арландова вела за руку бледного мертвеца, у которого из сердца текла кровь и который, уставясь остекленелыми глазами на Тахи, шептал в отчаянии: «Воды! Воды! Попа! Попа!»

Безмолвно текли дни в Суседе. Госпожа Елена, в слезах, приготавливалась к отъезду. Тахи не хотел ее беспокоить. Он проводил время с Гашпаром за кувшином пьянящего вина, стараясь забыть все тяжелые заботы прошлого и все мрачные предчувствия будущего. Как-то он сказал:

– Господин Гашпар, поверь, с меня довольно слез; закон-

чим только церемонию над головой Николы, а потом надо будет подумать и о домашних делах. Счастье мне улыбается. Когда я был в королевском лагере в Джюре, я с помощью Батория и других приятелей выхлопотал у короля дарственную запись, а это вырвало из рук адвоката Амброза главный козырь, который у него был против меня на суде. И, говоря искренне, смерть Николы мне на руку. Он был моим врагом, и к нему льнули все мои враги; Зринский был знатен и богат, у него были друзья при дворе, и он умел ставить палки в колеса бану Петару; Никола погиб, у бана руки развязаны, у меня, как никак, *titulus juris*,⁵⁶ наша партия сильнее, чем когда-либо, моя семья – самая уважаемая именно потому (сколь ни странно), что жена моя – сестра сигетского герцога, которого все прославляют; сыновья же Николы еще дети. Поэтому, господин Алапич, я с нетерпением ожидаю бана Петара. Скоро ли он вернется?

– Не могу сказать наверно, – ответил Гашо. – Как только король решил распустить войска и серьезная опасность миновала, бан передал управление князю Фране Слуньскому и с женой и дочкой поспешил в Венгрию справлять свадьбу. Я уверен, что пройдет целый месяц, прежде чем они вернутся, но во всяком случае он известит меня письмом о своем приезде в Загреб, и мы сможем там дожидаться моего свояка, потому что и вправду наступила пора и удобный случай ввести в стране порядки, какие нужны нам.

⁵⁶ правовой (законный) повод (*лат.*).

Через десять дней после этого разговора владельцы Суседа двинулись в Чаковец, а хозяин Вуковины скрылся в комнате усатой корчмарки, чтоб залечивать там раны, полученные в турецком плену.

Господин Гашпар плохо вел счет дням и даже не заметил, как их прошло тридцать и что листья опали с деревьев. Да и не удивительно. Любовь слепа! Однажды после полудня служащий бана принес ему письмо, в котором сестра Гашо писала, что они возвращаются со свадьбы дочери и через четыре дня бан будет в Загребе. Господин Гашо нацарапал на конверте: «К сведению благородного господина Ферко Тахи» – и направил служащего в Сусед. Через несколько дней господин Тахи с женой приехали в Загреб и остановились в доме бана. Прошла неделя, а о бане Петаре все ни слуху ни духу. Тахи забеспокоился, по Гашо стал его утешать:

– Бросьте ломать себе голову, благороднейший господин, по дороге в Загреб много дворянских усадеб, и мой свояк, наверное, где-нибудь веселится в гостях. Вы же знаете наши обычаи.

Этот довод несколько успокоил Тахи, и на другой день он с женой посетил виноградник каноника Стипо Всесвятского в Буковце, где избранное общество веселилось до поздней ночи. Господин Гашо был также приглашен на это празднество, но извинился, что из-за сильной головной боли ему не до гостеванья, лечил же он свою головную боль в уютной ком-

натке корчмарки Яги. На дворе стемнело, но Гашо, занятый старым искристым вином и женскими глазами, мало интересовался, светло на улице или темно. Только что начал он рассказывать своей Ягице, как турки немилосердно обращались с ним в плену, как неожиданно в окно просунулась голова привратника из дома бана, который крикнул:

– Ради бога, благородный господин, поспешите скорее к нам.

Заметив бледность слуги, Гашо вздрогнул и, опрокинув кувшин на стол, без всяких расспросов поспешил в дом бана. Ворота были распахнуты настежь. Во дворе стояли два экипажа, но не было ни души. Гашо взбежал по лестнице. В коридоре собралась челядь, плача и причитая. Гашо протолкал себе путь локтями, вбежал в комнату, посмотрел и остолбенел. Посреди большого зала, на полу, стоял черный гроб, над которым склонилась женщина в черном, жена бана. Руки ее были сложены, лбом она прижалась к гробу, и сквозь глухое рыдание слышались иногда отчаянные восклицания:

– Ой! Ой! Петар, друг мой!

– Боже мой! Барбара! Что случилось? – вскрикнул Алапич, подбегая к сестре.

Услышав голос брата, Барбара вздрогнула, поднялась и с криком бросилась на грудь Гашо.

– Брат! Брат! Он умер, умер! А я осталась вдовой, несчастной вдовой!

Гашо повел сестру к стулу, где она села и, рыдая, глядела

перед собой заплаканными глазами. Брат молча стоял подле нее и смотрел на слабое пламя восковой свечи, дрожавшее на столе и освещавшее гроб. Во дворе послышался шум экипажа. Через минуту на пороге появился Тахи с женой.

– Неужели это правда? – закричала Елена, бросаясь к приятельнице.

Тахи, смертельно побледнев и опустив голову, остановился на пороге.

– Неужели это правда? – вздохнула вдова бана, подняв голову, – Увы, это правда, страшная, горькая правда! В этом гробу лежит мертвый бан Петар, лежит мой муж, мертвый! Мой муж! Горе мне!

И вдова закрыла лицо руками.

– Но как же это случилось? – спросил испуганный Тахи.

Вдова опустила руки на стол, подняла голову и продолжала дрожащим от слез голосом:

– Свадьбу мы справили весело. Пора было возвращаться. На равнине нас застигла жесточайшая буря! Петар укрыл меня всем, что у нас было из одежды, а сам сидел в экипаже в одном камзоле. Я его укоряла за эту безрассудность, но он только смеялся. Поздно ночью приехали мы в Чаковец и остановились на ночлег. Я написала письмо Гашо, как вдруг Петар стал жаловаться на колотье. Он лег. Голова у него горела, как в огне. Он начал бредить. Я переполошилась, послала в Зрин за лекарем. Но было уже поздно. Через три часа он скончался. И вот он, вот! Мертвый! Горе мне, боже мой,

умер! Ох, за что я так наказана?

– Господин Тахи, – сказал вполголоса Гашо, подойдя к судскому хозяину, – прошу вас, помогите нам в эти тяжелые минуты.

– Я, – пробормотал Тахи, – да я сам должен искать помощи. Бан Петар Эрдеди умер, мои расчеты рухнули. Что теперь будет?

Гашо отвел сестру в спальню. Тахи и Елена остались одни у гроба. Она подошла к мужу и положила ему руку на плечо.

– Господин Фране, – сказала она тихо, – не думаете ли вы, что этот гроб – перст божий для нас?

Но Тахи, сердито пожав плечами, ответил:

– Госпожа Елена, мне кажется, что вы опять говорите словами этого проклятого брдовацкого попа.

– Memento mori!⁵⁷ – раздался в дверях проникновенный голос. Вошел священник, маленького роста, с длинной черной бородой, – епископ Джуро Драшкович. – До меня дошла грустная весть, что всемогущему угодно было в этот роковой час отнять у королевства его главу. Я пришел посетить эти печальные чертоги и помолиться о душе покойника.

Драшкович преклонил колени перед гробом и начал вслух молиться, и, когда он громко промолвил: «Аминь», Ферко Тахи почувствовал, как у него сжалось сердце.

⁵⁷ Помни о смерти! (лат.)

В то время как над Загребом разносился печальный звон колоколов, возвещая, что королевство потеряло бана, в доме брдовацкого священника сидели двое: сам священник Иван Бабич и мирянин – высокий, статный человек, с живыми карими глазами и длинными усами, с открытым, смелым выражением лица. Это был господин Степан Грдак из Филетинца, крижевацкий дворянин, посланец его королевского величества.

– Я вам очень благодарен, честной отец, – сказал дворянин священнику, – за сообщенные сведения. Его королевское величество послал меня сюда специально, чтобы от имени королевской казны управлять хенинговской половиной имения до окончания тяжбы. Я нисколько не сомневаюсь, что госпожа Хенинг получит не меньше половины, потому что это в конце концов ее родовое имение, которое Тахи захватил *per fas et nefas*.⁵⁸ При дворе тоже прекрасно знают этого господина главного конюшего, знают, что нет злодея, равного ему, но боюсь, что еще могут быть всякие неприятности, хотя король и справедливее своих жадных советников, которых господин Тахи сумел подкупить. По правде говоря, они и не собирались вводить временное управле-

⁵⁸ как законными, так и незаконными способами (*лат.*)

ние, опасаясь, по их словам, кровопролития, но казна никогда не отказывается собирать золотые плоды, и делает это с удовольствием, так как у нее кошель всегда пуст. У меня в этих местах нет никого знакомого, кроме вас, которого с детских лет я знаю за честного человека. Потому я и пришел к вам с просьбой: помогите мне в этом трудном деле; мне бы хотелось за этот, быть может короткий, срок ввести законы и порядки, которые при Тахи, как я слышал, не процветают.

– Да, к сожалению, не процветают! – подтвердил священник. – Бог свидетель, господин Степан, в своем рассказе я ничего не преувеличил, и слава богу, что вы приехали, потому что королевского посланца должно слушаться.

– Не уверен, захотят ли, – покачал головой Грдак, – когда я утром явился в Сусед и предъявил королевское письмо, то служащие Тахи стали сразу ставить мне палки в колеса; Петар Петричевич не дал ключей, все меня избегали, и я стоял, прости господи, словно приговоренный к виселице. Но господа ошибаются, Грдака им не запугать. Я не уступлю и буду продолжать идти прямым путем.

– Так и надо, господин Степан, это единственный способ заслужить уважение. Я особенно обращаю ваше внимание на бедный народ, который под властью Тахи истекает кровавым потом. Клянусь честью, никогда не приходилось мне видеть таких бедствий, какие кметы претерпевают от Тахи. В конце концов почти все вельможи – тираны, таков уж их нрав; но Тахи превзошел всех, словно на нем нет креста, а вместо

сердца камень. Чего только я не пробовал! Мне, по правде говоря, противно впутываться в дела господ, но я священник, и ото мой долг; кто же, как не пастырь, будет защищать стадо от волков? Ради народа я унижался и не один раз. Я духовник госпожи Елены Тахи и неоднократно говорил с ней и укорял ее; у Елены, хоть она и очень вспыльчива, все-таки есть сердце, и мои укоры как будто понемногу проникали ей в душу; но Ферко Тахи – сущий зверь, и весь край его проклинает. В жизни не встречал я такого бесчеловечного существа, для которого высшее наслаждение – без конца мучить несчастный народ. Вы слышали о Могаиче, о Степане, о Сабове, знаете о других злодеяниях; но это далеко еще не половина всех ужасов. Кмет никогда не может быть спокоен за свое убогое достояние, потому что Тахи смеет без всякого повода согнать половину села с земли и забрать ее себе или подарить своим развращенным слугам. Вопреки закону, он наполовину повысил повинности; в каждом имении построил виселицы и говорит, что ему обед не в обед, если он не видит, как какая-нибудь «крестьянская собака» дергается на виселице. Одним словом, тут нет ни суда, ни закона, ни души, ни бога! У нашего народа сердце не злое, но кровь горячая; и он недоверчив, ибо видит, что господа, которых судьба поставила над ним, не лучше волков или турок, что те, кто должен был бы давать пример народу и воспитывать его, – попирают все святое. Не удивительно, что народ звереет, и боюсь, что от этого кое-кто и пострадает, ежели добротой не

погасить тлеющий огонь народного гнева.

– Я тоже дворянин, – ответил Грдак, – но моя колыбель стояла не в высоких каменных хоробах, а под деревянным кровом скромного дворянского домика. Клянусь вам, честной отец, что я буду защищать несчастный народ, который, как и мы с вами, создан по образу божьему.

– Бог вас вознаградит, – сказал Бабич.

– Но скажите мне, каковы Грегорианцы? – спросил Грдак.

– Грегорианцы? Эх! Амброз достойный человек, старый коренной хорват. Но Степко я не верю. Он льстит крестьянам, но если ему удастся взять верх, будет вешать кметов не хуже Тахи. Это парень неистовый, он и свою прекрасную жену вгонит в гроб.

– Надейтесь на меня, – сказал на прощанье Грдак, – мое слово твердо. Я сумею укротить господина Ферко: или я, или он!

– Дай бог! – ответил священник.

Господин Тахи угощал господина подбана Форчича, который любил хаживать в гости, что можно было сразу заметить по его весьма круглому брюшку и красному носу. Подбан сильно потрудился за обильным обедом и беспрестанно вытирал пот с кончика носа. Оба мужчины сидели за столом, разговаривая о государственных делах, а госпожа Елена, в мягкой шубке, устроилась возле камина и слушала их. Лицо ее было бледно и грустно, губы сжаты, она смотрела перед собой, опустив голову; в глазах ее поблескивал иногда тот темный лихорадочный блеск, что предвещает близкую смерть.

– Пусть себе лают, – сказал, смеясь, Тахи, окончив обед, – пусть себе кричат, а я буду делать, что мне нравится. Крестьянские собаки землю должны целовать пере-До мной, тогда они могут быть спокойны, Если старая Хенинг укрощала их плетью, я их буду угощать похлеще. Знаю, что они злы, что весь край кипит, но разве не я главный конюший? Неужели же я не сумею укротить эту крестьянскую сволочь?

– Optime, spectabilis domine,⁵⁹ – подбан осклабился, и маленькие пьяные глазки его засверкали, как у барсука. – Так пм и надо! Разве мы не господа?

⁵⁹ Прекрасно, славный, достойный господин (лат.).

– Королевская камера посадила мне на шею этого мошенника Грдака, который расхаживает у меня по дому, как еж. Но пусть! Я подпущу такого дыму этому соглядатаю королевской камеры, что он сбежит от головной боли, и позабочусь, чтоб мои пожунские друзья избавили меня от этой чумы.

– Optime dixisti,⁶⁰ – сказал, смеясь, пьяный подбан.

– Скажи мне, amicissime frater,⁶¹ – спросил Тахи, – не слышал ли ты, кто у нас будет баном?

– Ни... чего! – пролепетал Форчич.

– Каждый день разносятся новые вести. Называют то одного, то другого; за ночь баны растут, как грибы. Я старался убедить королевских советников, чтоб назначили либо старого Алапича, либо Мато Кеглевича; да так, вероятно, и будет.

– Это было бы хорошо. Они наши.

– Я каждый день, – продолжал Тахи, – жду письма от господина Батория, который, во всяком случае, меня известит, на что мы можем надеяться.

Вошедший слуга доложил, что королевский управляющий Степан Грдак желает видеть господина Тахи.

– Грдак? – воскликнул сердито Тахи. – Что этому клопу опять от меня понадобилось? Чтоб у меня кусок стал поперек горла? Ну, пусть войдет, по крайней мере ты увидишь,

⁶⁰ Прекрасно сказали (*лат.*).

⁶¹ любезнейший брат (*лат.*).

amісе подбан, с каким типом я принужден разделять тут власть.

В комнату вошел Грдак, поклонился мужчинам и госпоже Елене. Тахи смерил вошедшего с головы до ног высокомерным взглядом и сказал презрительно.

– Что еще, domіne Грдак? Что у вас болит? Вы плохо выглядите. Опять, наверно, придется выслушать какую-нибудь проповедь?

– Я бы хотел, по приказу королевской камеры, поговорить с вами о серьезных делах, magnifiіe domіne.

– Говорите не стесняясь, – сказал Тахи, осушив чашу, – здесь только моя жена и мой названный брат, подбан.

– Да, да, говорите, – забормотал Форчич.

– Простите, что я вам досаждаю, magnifiіe, но я уже четыре раза просил вас принять меня. Вы все уклонялись от свиданья, а я ведь состою на службе короля.

– Ну, послушаем, – и Тахи зевнул, снова смерив взглядом стоявшего перед ним управляющего.

– Вам известно, – продолжал спокойно Грдак, – зачем я сюда послан, – еще на рождество вы получили письмо его королевского величества. Я послан от имени казны управлять половиной имения до окончания процесса с госпожой Уршулой Хенинг. Но, простите, вы или, может быть, ваши слуги забыли об этом королевском письме, как забыли и то, что вы здесь не являетесь единственным хозяином.

– Дальше, дальше, – сказал Тахи, оскалив зубы, в то вре-

мя как Форчич, съездившись, глядел исподлобья на дерзкого управляющего.

– Земля эта – не только ваша, но и пока что королевская; кметы не только ваши рабы, но и подданные короля. Я приехал сюда несколько месяцев тому назад; вы не захотели ни передать мне половину имения, ни даже составить опись имущества. Я обратился тогда к вашему управляющему Джуро, чтоб расспросить о доходах, но благородная госпожа Елена приказала ему не давать мне никаких сведений.

– Совершенно верно, – вставила быстро Елена.

– И очень хорошо сделали, – и Тахи кивнул жене. – Ну, продолжайте.

– Вместо того чтобы передать мне половину замка, вы втиснули меня и моих людей в две пустые каморки вне замка.

– У меня, *amice*, большая семья, а замок маленький, – засмеялся Тахи, – что же я мог вам предложить, как не каморку, раз вы являетесь чиновником камеры?

– Я не обратил бы внимания на то, как вы обошлись лично со мной, – продолжал Грдак, – но я не могу молчать о том, что здесь происходит. За время своего пребывания я довольно-таки наслушался и нагляделся. Не говорю о прошлом: о голове Степана, об Иване Сабове, – за это вы ответите перед богом; но я ужасаюсь тому, что видел собственными глазами. Вы, *magnifiée*, ввели здесь противозаконно семь новых поборов.

– Да.

– Вы собрали с кметов десятину для капитула, израсходовали эти деньги, и теперь бедняки должны снова Платить.

– Ну так что же, ведь они мои рабы.

– Вы силой отобрали у кметов все мельницы на Крапине и тем сокращаете доходы короля.

– Так.

– Вы гоните крестьян с земли и из домов, отнимаете у них виноградники, поля, скот, словно все это принадлежит вам. Лучшее вы оставляете себе, а что похуже – даете вашим развращенным слугам, в особенности кастеляну Ивану Лоличу. Разве не вы ограбили Мато Белинича, так что бедняк принужден теперь, как нищий, ходить из села в село? Не вы ли отняли все имущество, до последней нитки у кметов Войводы, Матии Мандича, Ивана Чапковича из Брдовца, у Петара Бедерлича из Отока и у Мартина Филипчича из Пущи, так что они остались без крова и пристанища и, голые и босые, пошли по миру?

– Да, – закричал Ферко, вскочив и стукнув кулаком по столу, – я и у сотни других крестьян все забрал, потому что они бунтовщики, потому что они помогали Хенин-гам.

– Что ж, по-вашему, и вдова Марушич, которая с детьми погибает от голода, тоже была бунтовщицей? А скажите-ка, разве не ваши слуги разнесли топорами все крестьянские кладовые и дочиста их опустошили? Впрочем, что я говорю! Вы умеете быть и милостивым: когда вам нужны поли-

тые кровью гроши, ваши люди хватают по дорогам несчастных крестьян, и вы их посылаете в Загреб, где принуждаете их выпрашивать Христа ради деньги у горожан, чтоб откупиться от вас. Побывайте-ка у загребских горожан, упомяните замок Сусед, и каждая крещеная душа задрожит. Я не могу, я не имею права молчать. В то время как крестьяне должны были бы работать на королевских полях, вы их сгоняете в Фарно, где на пепелище крестьянских изб они должны строить для вас новый господский дом; земля стоит необработанной, села пусты, народ ограблен, и нечем ему платить королю. Походите-ка по селам, среди народа, прислушайтесь к тому, что говорят. Кипит и бурлит так, что впору в ужас прийти. Потому-то я и явился сюда, что как уполномоченный королевской камеры я не могу позволить, чтобы сокращался доход короля, чтобы грабили королевскую землю, чтобы мучили до смерти королевских людей. И если все это окончится плохо, ответственность падет на вашу голову.

– Ферко! Ферко! Ты слушаешь, ты молчишь? – воскликнула Елена, смертельно побледнев.

От слов жены Тахи передернуло. Когда Грдак умолк, он закусил нижнюю губу, заложил руки в карманы и, подойдя вплотную к управляющему, спокойно проговорил:

– Вы кончили? Хорошо. Черт вам дал язык, которому любая змея позавидует. Не будь вы на королевской службе, я бы вас повесил, как любого крестьянина, посмевшего открыть рот. А теперь я вам скажу, кто я – я Фране Тахи, главный

конюший, имперский камергер, владелец Суседа и Стубицы, барон Штетенбергский, капитан Канижи и вельможа. А вас как звать, несчастный?

– Меня, слава богу, не зовут Тахи.

– Вы ищете ссоры, амісе Грдак?

– Я ищу правды!

– Берегитесь, чтоб о правду не сломать себе ребра, если будете подстрекать крестьян!

– Я вам говорю от имени королевской камеры.

– А я вам говорю: пошел вон, сливар!

– Хорошо, – сказал Грдак, уходя, – помните, что вы оскорбили дворянина. Королевскому комиссару барон Штетенбергский будет отвечать поучтивее.

– Этот человек – порождение дьявола! – проговорил Форчич, выпучив глаза, когда Грдак ушел.

– Не бойся, Иван, – Тахи побледнел от злости и захохотал, – этот заяц еще попадетсЯ на мой вертел.

Госпожу Елену от волнения бросило в жар, и она едва дошла до спальни. Когда во дворе Тахи сажал на коня своего захмелевшего гостя, он сказал ему:

– Моя жена, амісе, сохнет, как старая ива, и святые кружатся над ее головой, как мухи. Она увядает, и бог знает...

Он не закончил, так как в эту минуту подскакал, болтаясь в седле, толстый, коротконогий детина с приплюснутым носом: кастелян Иван Лолич.

– Ваша милость, я вам привез важное письмо. Я получил

его от вдовы бана в Загребе, куда оно было прислано.

Тахи распечатал письмо; Форчич с любопытством подглядывал.

– От Батория, – шепнул Тахи, читая.

– Кто же бан? – вырвалось у Форчича.

– Черт возьми, – воскликнул Тахи, – вместо одного бана у нас их два!

– А что же будет со мной? – И подбан разинул рот.

– Поп Джуро Драшкович и рубака Фране Франко-пан Слуньский – вот наши баны! Тысяча чертей! Наши кандидаты провалились.

– Но и их также, – добавил подбан.

– Слава богу, – сказал Тахи, – это *tertius aliquis*...⁶²

– Какую же партию они будут поддерживать?

– Ту, которая их раньше заполучит. Поп умен, спокоен и учтив. Но я умею с ним ладить. Он чертовски честолюбив. На этом-то я и сыграю, и он будет наш. Фране Слуньский только дерется с турками и ни черта не смыслит в политике. Завтра же отправлюсь в Загреб на поклон к Драшковичу. Итак, прощай.

Подбан с трудом зарысил под гору, но Тахи крикнул ему вдогонку:

– Постой, брат! Пусть Лолич тебя проводит до Загреба, а то ты дорогой еще споткнешься. Слышишь, Лолич? Завтра можешь взять мельницу Зукалича на Крапине. Понял?

⁶² кто-то третий (*лат.*).

– Понял. Покойной ночи, ваша милость! – ответил толстяк и поехал вслед за подбаном, который, покачиваясь в седле, тарасил глаза на заходящее солнце.

Недалеко от входа во двор замка господин Тахи постучал в дверь помещения кастеляна и вошел. Посреди комнаты стояла молодая черноглазая женщина с маленьким носом, сочными губами и полной грудью. Она подбоченилась, сдвинула густые брови, прищурила один глаз и расхохоталась.

– Ну и ловко же вы, ваша милость, отделались от моего балбеса Лолича! Я все видела в окно.

– А он ничего не подозревает, душенька? – спросил Тахи.

– Какого черта не подозревает! – захохотала женщина, закрыв рукой лицо, как бы стыдясь. – Я думаю, он все знает. Но если вы будете давать ему цехины и мельницы, то он не станет интересоваться, праведный ли образ жизни ведет его жена.

– Лучше пусть он владеет моими мельницами, а я – его женой.

– А госпожа Ела? – спросила Лолич, поглядывая на распалившегося старика.

– Спит или молится богу, – ответил Тахи.

– Ну, и ладно, – засмеялась женщина, – пусть себе молится.

Тахи обнял полный стан кастелянши, а она опустила голову ему на грудь и залилась беззвучным смехом.

Господин Амброз Грегорианец сидел у стола в башне замка Мокрицы, куда ранней весной 1567 года он приехал на длительное пребывание не ради развлечения или веселья, но по делу о своей и о суседской тяжбе. Наслышавшись о злодействах Тахи, он хотел все увидеть на месте и обо всем разузнать от очевидцев. Старик сидел, склонившись над большой, толстой книгой, на которую падала его длинная борода, и глаза его быстро пробежали по черным печатным строкам. Он старался вникнуть в различие между славонским и венгерским наследственным правом, потому что королевский суд интересовался именно этим вопросом. И только что взял бумагу, чтоб записать несколько слов, как в комнату вошел господин Ми-хайло Коньский в дорожном одеянии. Старик поднял голову и, протянув ему обе руки, воскликнул:

– Здравствуйте, дорогой друг мой! Какое счастье привело вас в Мокрицы?

– Дай вам бог здоровья, *domine Ambrosi*, – сказал Коньский.

– Уж не знаю, счастье или несчастье, но, во всяком случае, важная новость.

– Ну, рассказывайте, – промолвил Амброз, снова опускаясь на стул.

– Навемус парам,⁶³ имеем бана или, вернее, двух банов.

– Двух? Кого же? – И Амброз с живостью выпрямился.

– Епископа Драшковича и князя Франкопана Слуньского.

– Это правда? – спросил Амброз. – А то мой Степко каждый день привозит из Загреба все новые имена банов. Много говорили и о Мато Кеглевиче.

– Правда, сущая правда, – ответил Коньский, – мне это вчера рассказал сам господин епископ, и я поспешил сюда с женой, чтоб сообщить эту новость вам.

– Так, значит, Драшкович! – И Амброз задумался и стал гладить свою белую бороду. – Никто этого не предполагал. Епископ не принадлежит ни к одной партии; этот distinguished оратор на Тридентском соборе не вмешивался в наши внутренние дела. Он умен, спокоен и учтив, но не пристрастен и не горд. Что ж, это не так плохо. По почему же два бана?

– Драшкович *pro civilibus*,⁶⁴ Франкопан *pro militaribus*.⁶⁵

– Князь Слуньский молод, но он очень храбрый и честный человек, – продолжал Амброз. – А говорили вы с епископом о наших делах?

– Как же.

– А он?

– Ну, вы его знаете. Он тонок и умен; говорит всегда

⁶³ Имеем папу (римского), главу (*лат.*).

⁶⁴ для гражданских дел (*лат.*).

⁶⁵ для военных дел (*лат.*).

осторожно, словно ходит по льду, а если желает что-нибудь скрыть, то цитирует Евангелие или какого-нибудь латинского классика. Я ему рассказал все по порядку. Спокойно сидя, он слушал меня, не говоря ни за, ни против. Когда я кончил, он сказал: «Что касается дела о государственной измене, то не бойтесь. Это главное дело будет похоронено в архивах. Все, что вы мне сказали о Тахи, я знал и сам. Но, поверьте, у Тахи есть могущественные друзья при дворе, у него большая партия в стране, а его королевскому величеству нужны деньги. Поэтому понимаете, domine Михайло, что этот гордиев узел надо не рассечь, а тонко и искусно развязать. Боже упаси спешить! Потерпите. Пускай дело идет обычным порядком в суде бана. А я – не Петар Эрдеди и не зять Тахи». Потом епископ долго размышлял, поглаживая свою бороду. Вдруг он как будто что-то вспомнил, поднял голову и сказал: «Что подельывает ваша жена Анка? Давно что-то не видал ее. Разве она забыла, что я ее крестный отец? Скажите ей, чтоб пришла ко мне, пусть сегодня же придет. А вы будьте осторожны; передайте это и господину Амброзу Грегорианцу. Не забудьте же мое поручение крестнице», – закончил епископ, подняв указательный палец, и отпустил меня.

– Да, да, – усмехнулся Амброз, – это его манера. Развязать! А что же он сказал Анке?

– Он ей сказал, что Тахи посетил его, низко ему поклонился и восхвалял мудрость короля, назначившего баном умнейшего из хорватов.

– Поди ж ты, – сказал Амброз, – и волк может превратиться в лису.

– Да, – продолжал Коньский, – и, как я слышал, Тахи ходит по Загребу и похваляется, что бан был с ним очень ласков, что суд будет справедливым и что он будет строго защищать право каждого.

– Драшкович, значит, всем угождает. *Ibis, redibis*,⁶⁶ лиса лису перехитрила. Ну, будем следовать его совету, потому что он нам на руку. Пойдемте сообщим эти новости госпоже Уршуле и обо всем договоримся. Скажите, чтобы она держала себя умно.

– Уршула, наверно, уже все знает, – сказал Коньский, – моя жена прошла прямо к ней.

Госпожа Уршула гуляла в саду замка, оживленно беседуя с госпожой Коньской.

– План епископа очень умен, – сказала Коньская, – но требует большой осторожности. Я и мужу не сказала об этом ни слова, потому что он приятель Амброза; Амброз же во что бы то ни стало хочет сосватать Софию за Милича; о молодом сливаре радеет и Марта, наша молчаливая Марта. Поэтому надо действовать не напрямик, а окольными путями, чтоб не обидеть Амброза.

– Нет, нет, мне это все не по душе, – сказала Уршула, качая головой. – Я сама против этого брака со слива-ром, но не ценой примирения со своим заклятым врагом – никогда!

⁶⁶ Ловкий хитрый (*лат.*).

– Не думайте, мама, о мести, – сказала Коньская холодно, – а рассудите спокойно о своей выгоде.

Уршула задумалась.

– Конечно, – сказала она, – выгода велика.

– Так не откладывайте. Марта мне рассказала целую историю о Могайче, который томится в турецком плену. Поймайте влюбленного Милича на эту удочку рыцарского благородства. Таким образом мы от него и отделаемся.

– Милич здесь, – сказала Уршула, – он был по делу у Амброза, а сейчас он у Марты.

– Вот удача, – и Анка схватила мать за руку, – нападём сейчас же и скорей обделаем это дело, чтобы Амброз не успел стать нам поперек дороги.

– Ну, пусть будет по-твоему, – сказала Уршула решительно, – Хенинги ведь вельможи.

Пока господин Коньский рассказывал Амброзу эти важные загребские новости, на другом конце замка, в комнате Марты, развлекалось небольшое общество. Молодая жена Степко наматывала у стола пряжу, София прилежно шила, а господин Томо Милич стоял у окна, устремив свой взгляд на девушку, которая, казалось, с каждым днем расцветала и становилась прекрасней.

– Господин Томо, – сказала Марта, улыбаясь и распутывая нитки, – жаль, что теперь не ночь.

– Почему, благородная госпожа? – спросил молодой че-

ловек.

– Потому что вы бы не замедлили залюбоваться звездами.

– Ах, что и говорить!

– В особенности, когда вы видите Софию, не так ли? –

И она посмотрела на молодого человека проницательным взглядом.

София покраснела, а Милич ответил:

– Это верно, когда я на нее гляжу, у меня отнимается язык.

Не правда ли? – обратился он к девушке.

– К сожалению, – ответила она, задорно поднявши голову, – я, должно быть, похожа на пугало, раз господин Милич меня так боится. Я болтаю, болтаю о солнце, о луне, а он как воды в рот набрал, смотрит в землю, словно ищет чего-то.

– Не сердись на него, сестра; ищет-то он только тебя и не видит никого, кроме тебя. Таковы уж мужчины; таковы все храбрецы. Но успокойтесь, дети, – продолжала Марта, – я поверенная вашей любви, потерпите, и я устрою все к лучшему.

– Ах, благодарю вас тысячу раз, – воскликнул Милич, – но вы понимаете, благородная госпожа, как мучительно ждать.

– Терпение – путь к спасению, молодой человек, – сказала нравоучительно Марта. – Любовь подобна ореху: снаружи горькая скорлупа, а внутри сладкое ядро. Когда я узнала, что вы и Софика втихомолку плетете любовную сеть, я было рассердилась; благодарите бога, что господин Амброз был на вашей стороне. Потому и я стала на вашу сторону, когда

убедилась, что рыцарь сошел с ума, а девушка потеряла рассудок. Тут, значит, нет другого выхода, как честным пирком да за свадебку! Но моя мать не так податлива. Сперва она мне просто сказала: «Нет!» Когда же, после суседской битвы, я ей снова напомнила, она ничего не ответила, а потом сказала: «Э! Увидим!» Так что помаленьку! Капля за каплей долбит и камень. Мать смягчится, потому что она несчастна!

София, плача и смеясь в одно и то же время, бросилась на шею сестре и воскликнула:

– Сестра! Золото мое! Брани меня сколько хочешь. Все будет напрасно. Хотела выкинуть этого человека из сердца, но он оказался сильнее и не дается.

– Выкинуть? – спросил Милич с нежным укором.

Девушка подняла голову, засмеялась, показав ряд белых зубов, посмотрела на молодого человека глазами, полными слез, протянула ему руку и сказала нежным голосом:

– Шучу! Шучу!

– Выкинуть! – всплеснула руками Марта. – Да она готова повесить три замка на сердце, чтоб вы только не убежали. Я подслушала, как она говорит во сне.

– Сестра! – И девушка легонько толкнула Марту, покраснев до ушей.

Молодой человек собирался прощаться, когда в комнату вошла госпожа Уршула с веселым лицом и с пей Анка.

– Анка, ты откуда? – сказала Марта, поднимаясь навстречу сестре.

– Дети, – проговорила старая Хенинг торжественно, – Анка привезла нам хорошую весть. Господин епископ князь Джуро Драшкович, крестный отец Анки, назначен баном, и, бог даст, мы в скором времени снова овладеем нашим родовым поместьем.

– Слава богу! – воскликнули Марта и София.

– Ну, дети, – продолжала мать, – я хочу отпраздновать этот прекрасный день торжественным образом. Вы, господин Милич, – обратилась она к молодому человеку, – любите мою дочь Софию, и Марта за вас хлопотала. Хорошо, я согласна вам ее отдать...

Все радостно встрепенулись, а София в слезах бросилась перед матерью на колени и стала целовать ей руку, которую та быстро отдернула.

– Но я ее отдам при одном условии. Когда мой покойный муж как-то раз опасно заболел, он дал обет богу, что мой сын освободит одну крещеную душу из турецкого плена. Сын мой умер ребенком и не мог исполнить обета. Вы хотите стать моим сыном; вы, скромный дворянин, хотите стать мужем дочери вельможи, – исполните этот обет, прославьте свое имя. Я слышала, вы обещали Софии освободить Могаича, жениха ее молочной сестры, которого турки взяли в плен. Так вот, освободите этого человека; и когда вы его привезете, София будет вашей. Да поможет вам бог! Все остолбенели, а София, вскрикнув и изменившись в лице, упала без чувств на руки своей сестры Марты. Господин Милич, бледный, но

спокойный, шагнул к Уршуле и сказал:

– Благодарю вас, благородная госпожа! Я люблю вашу дочь больше своей жизни и потому с радостью поставлю на карту мою жизнь, чтоб получить ее руку...

– Томо! Томо! Что ты делаешь! – воскликнул Амброз, вошедший при последних словах молодого человека.

Но, не обращая внимания на этот возглас, Милич поднял руку и сказал:

– Клянусь господом богом освободить Могайча, клянусь господом богом и моей любовью, что вернусь либо с ним, либо совсем не вернусь.

– Кто это наделал? – вскрикнул в отчаянии Амброз.

– Это дело твоих рук, – шепнула Марта госпоже Коньской, – да простит тебе бог этот грех!

– Да. И я никогда не буду в этом раскаиваться, – тихо ответила Анка со спокойным лицом.

– Прощай, София, – воскликнул молодой человек, став на колени перед бесчувственной девушкой, – я вернусь к тебе, мое золото. Прощай!

И он покрыл ее руку горячими поцелуями.

Наступила страстная неделя, святые дни прощения, когда измученное тело спасителя почивает в холодном, каменном гробу, когда христианский народ смиренно и покаянно склоняется над черным отверстием гробницы, из которой через несколько дней в голубое небо вознесется, наподобие золотой голубицы, святое сердце сына божьего.

Страстная неделя; небо ясно, воздух теплый и спокойный, лишь ласточки, глашатаи весны, легко рассекают его своими крыльями; ручейки бегут весело, как резвые дети; из земли выглядывают букашки – а не пора ли вылезать; зеленеет лес, алеют цветы. А народ? На коленях у святого гроба, склонив голову, проливая слезы, народ шепчет сыну божьему: «Господи Иисусе, разве ты не принес спасение и нам? Разве твои святые раны не одолели силы ада?»

Страстная среда. Госпожа Елена стоит в своей спальне на коленях перед высоким налоем и, стиснув свои высохшие белые руки, склонив перед распятием свое поблекшее лицо, беззвучно шепчет молитву, а в душе прокликает источник всех своих бед – Уршулу Хенинг.

Страстная среда. Погода прекрасная. В доме своего кастеляна сидит господин Ферко Тахи. Глаза его блестят, лицо красное, потому что на груди его покоится пылкая молодая кастелянша. Ее круглое лицо тоже пылает, а черные по-

хотливые глаза горят. Несчетное число раз целует ее Тахи, и каждый раз она улыбается ему в ответ.

– Что ж, забрал твой муж мельницу Зукалича? – спросил Тахи.

– Да, – кивнула головой кастелянша.

– А кмет не сопротивлялся?

– Как же, господин, но Лолич принялся лупить его по голове, и теперь он уж больше не сопротивляется, – и женщина засмеялась. – Но, господин, ты все делаешь подарки Лоличу, а мне ничего. Разве я не заслужила? Ха! ха! ты отлично знаешь, что я стою больше, чем госпожа Елена. Дай-ка цехинов, дай, – и кастелянша протянула маленькую ручку и умильно посмотрела на Тахи. – Видишь ли, завтра я еду в Загреб покупать шелковые ленты к пасхе, а у меня нет ни гроша. Лолич скуп, все держит под ключом и иногда только кричит: «Пусть старик дает, ведь не даром же!»

– Даст Тахи, даст, душенька, – сказал старик и положил в маленькую ручку пять цехинов, – на, возьми и поцелуй меня!

– Эх, – воскликнула женщина, чмокнув старика в губы, – то-то будет у меня наряд к пасхе; я всему свету скажу, что это твой подарок, господин! Но смотри, смотри! Что это за чудище на коне? – И Лоличиха громко захохотала, показывая пальцем в открытое окно. – Поп верхом на коне. А конек-то хорош; жаль, что он принадлежит этому лысому из Пущи.

– Ей – ей, жаль, – согласился Тахи. – Постой-ка. Будет забава. У меня и так зуб против этого проклятого попа, потому

что он поминутно на меня жалуется. Пойдем со мной!

На красивом коньке ехал худой старик в черном. Это был священник Антон Кнежич из Пуци, направлявшийся в Загреб за елеем. Он беспечно поглядывал на прекрасный мир, и его длинные ноги свисали почти до земли. Вдруг перед ним вырос пузатый Лолич, а поодаль он увидел Тахи и жену кастеляна.

– *Vonum mane, révérende domine,*⁶⁷ – сказал, кашляя, Лолич, схватив коня под уздцы, – куда это вы направляетесь?

– Слава Иисусу, – ответил поспешно священник, – еду в Загреб за елеем. Завтра ведь великий четверг.

– А зачем же вам конь? – спросил кастелян со смехом. – Вы ведь знаете, что апостолы ходили пешком, и даже сам сын божий ездил только на осле. Разве вы лучше их?

– Я слаб и стар, – ответил, дрожа, священник.

– Ну, что ж? Пострадайте! Пострадайте! Зачем попу конь? Слезайте, *révérende amice!*

Священник напрягся и ухватился за шею коня, но Лолич успел подскочить и толкнуть старика в бок так, что тот скатился на землю.

– Сюда, жена! Вот тебе конь! – закричал кастелян, хохоча.

Женщина подбежала, села на коня верхом по-мужски и поскакала по целине вдоль дороги. Бешено скакал конь, бешено сжимала его ногами женщина и сквозь смех громко пела: «Гоп, конек, гоп! К черту едет поп!» А старый священ-

⁶⁷ Доброе утро, уважаемый господин (*лат.*).

ник, поднявшись, стоял со сложенными на груди руками, со слезами на глазах и глядел на обезумевшую женщину.

– Прошу вас, дайте мне коня, – умолял он, – не мучайте бедное животное.

– Эй, поп, – сказала женщина, останавливаясь перед стариком, – этот конек мне нравится, он мой. Гоп, конек, гоп! К черту едет поп! Подмажь, старик, пятки.

– Совести у вас нет, что ли? – спросил старик. – Разбойники вы, что ли, на большой дороге, отнимаете мою собственность. Бога вы не боитесь?

– А почему бы мне его бояться? – засмеялась женщина, показывая зубы. – Где в Священном писании сказано, что ты должен иметь коня? Не так ли, уважаемый господин? – обратилась она к Тахи, который в это время подошел к ним и смотрел на священника насмешливым взглядом.

– Правильно, правильно! Помажь свои копыта святым елеем, может, у тебя крылья вырастут! – ответил Тахи.

– Ну, знаете ли что, отче, – продолжала шутить кастелянша, – мне конь не нужен, их в Суседе и так довольно. А вот деньги мне нужны, купить пряников к пасхе. Сколько дадите за моего коня?

– Мне... покупать своего же коня? – И Кнежич вытаращил глаза.

– Да уж не иначе, – проговорил Тахи, – женщина всегда настоит на своем. Вынимай кошелек! Знаю, что он полный.

Старик запустил за пазуху дрожащую руку и вытащил

шелковый кошелек с пятью талерами; протянув их взбалмошной женщине, он сказал:

– На, возьми, Ваалова дочь! Это все мое жалкое богатство, которое я скопил к пасхе.

– Кошелек твой так же худ, как ты сам, унеси тебя вода! – издевалась кастелянша, соскакивая с коня. – Не олово ли здесь? Дзинь! Дзинь! Тут деньги, тут! Да! Ну, на пряники-то хватит.

Опечаленный старик сел на коня и поехал к Загребу, а Тахи, кастелян и его жена кричали ему вслед сквозь громкий хохот:

– Гоп, гоп, гоп! Пустой едет поп!

Но в это время к Тахи подошел Петар Бошняк и доложил:

– Уважаемый господин! Стубичане сговорились и не хотят отдавать ключей от кладовых.

– Увидим, – и Тахи поднял голову, – как эти собаки будут меня слушаться! Петар, мы будем праздновать пасху в Стубице!

Настала пасха, праздник искупления, воскресение сына божьего, воскресение всей природы. По горам разносится чистый звон колоколов церкви Верхней Стубицы, которая стоит на площади, посреди села, у подножья укрепленного замка. Среди молодой зелени белеют одежды хорватских крестьян, горят красные платки и кораллы. Стар и млад, мужчины и женщины спешат в церковь, из которой несутся

радостные звуки.

Радостные ли? Из большого органа льются не райские мелодии, а море звуков, подобное буре; медный колокол звучит не как ангельский голос, но как похоронный звон. Господин Тахи приказал всем домохозяевам по окончании службы божией собраться и сдать ключи от своих винных погребов. Сусед и Брдовец разграблены, теперь пришел черед Стубицы. Управляющий Грдак говорит: не отдавать ключей, а Тахи говорит, что, кто не отдаст, тому голову долой. Стубичанин тверд, поднимает голову и говорит: «Не дам!» И Тахи тверд: сидит в своем замке, поднимает голову и говорит: «Должен отдать!» Народу собралось множество; мужчины мрачно смотрят прямо перед собой, а женщины молятся, плачут, вздыхают. В углу, рядом с матерью, стоит на коленях и Матия Губец. Тихо замирает последнее «Аллилуйя!». Поп благословляет народ, орган замолкает. Богослужение окончилось, но народ продолжает стоять на коленях и не расходится. Перед храмом, на коне, сидит Тахи и в нетерпеливом ожидании пощипывает бороду. Конь беспокойно перебирает ногами, а сердце Тахи тоже бьется беспокойно. На площади выстраивается отряд штирийских мушкетеров из Штенберга, на их ружьях торчат шомпола.

– Ну, скоро ли конец поповским проповедям? – кричит Тахи.

Петар Бошняк докладывает, что народ не выходит из церкви.

– Хорошо. Мушкетеры, вперед! Выгоняйте собак из святой дыры!

Мушкетеры бросаются к церковным дверям. Тяжелые шаги вооруженных солдат гулко раздаются по церкви, под высокими сводами слышатся причитания и стоны.

– О господи, помоги! Иисусе, спаси нас! – вопят женщины и дети, а мужчины скрежещут зубами. Бледный стоит перед алтарем поп, воздев кверху сложенные руки. Раздается ропот; прикладами, кулаками, бранью и проклятьями мушкетеры гонят мужчин на улицу, как скотину, гонят беззащитных людей из божьего храма; за мужчинами, плача, причитая, толпятся бледные, напуганные женщины, а священник склоняется перед алтарем, и из его глаз на холодный камень текут слезы. Перед церковными дверями часовые скрестили копья; на площади – целый отряд солдат, и перед ним мечется в отчаянии перепуганный народ. Барон Штетенбергский высоко поднял голову и крикнул:

– Э, собаки! Слышали приказ? Отдать ключи! Ты, Лолич, записывай имена.

Тогда перед Тахи выступил высокий седой старик с широким лицом и живыми глазами – старейшина Мийо из Голубовца – и, положив руку на сердце, спокойно сказал:

– Королю мы даем то, что принадлежит королю, господину – что принадлежит господину, но то, что наше, – того мы не дадим!

– Вы отдадите ключи? – проскрипел Тахи.

– Не дадим, как бог свят! – закричал Губец, поднимая руку, в то время как мать схватила его за плечи.

– Не дадим! Не дадим! – раздался отчаянный крик всей толпы.

– Эй, люди! – заорал Тахи, погнав коня к своему отряду. – Огонь, стреляйте в собак!

Толпа дрогнула, раздались выстрелы. Дым, пламя, гром! «Ой, Иисусе!» – поднялся к небу страшный вопль. Толпа рассеялась. Тут падает парень, там шатается женщина, старик, схватившись за сердце, качается из стороны в сторону, корчится смертельно раненный ребенок. Льется кровь, льется невинная кровь, льется на несчастную землю, перед лицом божьим в светлый день пасхи! Солдаты разъярились – бьют, дубасят, грабят; народ бежит. Прикладом раздробили голову старику Михаиле, а Губец, раненный, падает на руки матери. Тахи же приподнялся на стременах, рот его скривился в отвратительную улыбку, глаза горят, как у злой гадюки. Радостно взирает он на это побоище, где жена обнимает мертвого мужа, где мать подбирает убитого ребенка, где люди рвут на себе волосы и бьют себя в грудь; он ничего не слышит, ничего не чувствует. Он врывается в толпу, подскакивает к церковным дверям, куда старушка мать увела Губца, и замахивается саблей. Но старуха выпрямляется перед ним, как львица, и, глядя на него в упор глазами, полными слез, говорит:

– Бей!

– Прочь, старая! – зарычал Тахи и снова замахнулся...

Но в это мгновение из церкви вышел священник и, держа высоко перед собой серебряное распятие, воскликнул:

– На сем камне созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ее!

Изверг вздрогнул, опустил руку, в бешенстве повернул коня и поскакал в замок. Тогда появился поджупан Джуро Рашкай, спешно приехавший из Загреба по вызову Степана Грдака, и от имени бана объявил, чтоб ни одного волоса никто не смел тронуть на голове у крестьян.

Пасха. Грустно плачет погребальный звон; в церкви Стубицы лежат тела крестьян, а около них на коленях стоит священник и молится за невинные души, в то время как в горах разносится стон вдов и плач осиротелых детей.

На третий день пасхи перед алтарем брдовацкой церкви стояли на коленях трое крестьян; один был из Стубицы, другой из Суседа, третий из Брдовца.

– Детушки! – сказал священник Бабиц, перекрестив их. – Да благословит и да защитит вас бог! Я написал в письме о всех ваших страданиях. Несите его перед светлое лицо его королевской милости и откройте ему душу. Пусть король вам поможет, – это ваша единственная надежда. А ты, боже праведный, просвети сердце государя!

Стоит прекрасное лето, а в крае царит могильная тишина. Кровь мучеников запеклась перед стубицкой церковью; крестьянские выборные вернулись из дворца, где им было сказано, что король сделает все необходимое. Крестьяне забились по углам, молчат, едва смеют дышать. Тахи – владыка, Тахи силен! Необыкновенные дни наступили в замке Сусед. От госпожи Елены осталась одна тень. Она, больная, мечется на своей постели, под портретом Доры Арландовой. Лицо горит в смертельном жару, она вращает глазами и сжимает зубы, боясь, что душа ее улетит, боясь, что не успеет отомстить неверному мужу. Она все узнала. Смерть приковала ее к постели, холодный предсмертный пот покрывает ее бледный лоб, а Тахи в это время греется на пышной груди молодой развратницы. «Ох, только бы жить, жить!» – вздыхает Елена. Напрасно! Смерть тянет ее в могилу, ревность удерживает на пороге. Она мечется в отчаянии, молит, клянет, плачет, вздыхает: «Жить! Шить!» Но какое до всего этого дело Тахи? Драшкович ему ласково улыбается, Баторий его защищает; до царя далеко, до бога высоко. Тахи смеется и пьет, смеется, когда его, сумасбродного старика, целует в морщинистое лицо красивая развратница; смеется и тогда, когда крестьянин качается на виселице. В открытое окно луна льет свой трепетный голубой свет. Эй, луна! Видишь ли

ты белую, пухленькую руку кастелянши? Словно змея, обвилась она вокруг шеи старика. Эх! Как она его обнимает, как целует, как ее черные распущенные волосы падают на стариковские седины, как она складывает губки, как глаза замирают от страсти, как ее дыхание жжет и распалает! А старик, покоясь на груди кастелянши, хохочет и пальцем показывает в окно, на холм.

– Видишь, душенька, – кричит он, – там, в лунном свете, что-то качается на дереве? Это собака крестьянин. Он тебя обозвал потаскухой, вот теперь и висит. Ха, ха, ха! Погляди-ка! Вороны кружатся над ним. За ваше здоровье, черные приятели! – воскликнул Тахи, вскочил и осушил кружку вина.

И он целует и обнимает ее, а развратница хохочет. Вороны каркают!.. Голубой лунный свет дрожит на лице госпожи Елены и на портрете Доры. Женщина приподнимается, открывает рот и поворачивает бледное лицо в сторону луны. Слушай, Елена, слушай! Вороны каркают! Смерть идет, смерть! А Тахи? Где он?... Целуется... Позор!.. Тахи целуется... Елена умирает...

К замку подскакал незнакомец из Загреба.

– Где хозяин? – спросил он слугу.

– Не знаю, – ответил вышедший к воротам Петар Бошняк.

– Гм, наверно, изображает из себя кастеляна Лолича, – усмехнулся тихо Дрмачич, выходя вслед за Бошняком, с которым он играл в кости.

– Проводите меня немедленно к нему! Именем короля! – проговорил незнакомец.

Петар зажег лучину, повел его к покоям кастеляна и постучал в дверь. Выскочил Тахи.

– Кто смеет беспокоить меня в такой поздний час? – закричал он, гневно посмотрев на незнакомца.

– Ното regius,⁶⁸ – ответил тот. – Вы вельможный господин Фране Тахи, главный конюший короля?

– Да, – ответил Тахи с удивлением.

– Вот вам письмо, запечатанное большой печатью, от королевского прокурора Блажа Хазафи.

– От королевского прокурора? Что ему от меня надо?

– Прочтите сами! Протайте! – сказал незнакомец и ушел.

Тахи вырвал из рук слуги лучину, быстро вошел обратно в комнату, распечатал письмо и принялся, дрожа и бледнея, читать.

– Бога ради, что случилось? – взвизгнула потаскуха.

– Что случилось? – закипел Тахи. – Видишь того человека, который висит? Он на меня подал жалобу. Крестьянин подал жалобу на меня! Слышишь, ворон? Он хочет моей головы, моей головы!

– Да вы с ума сошли, господин? – спросила испуганно Лолчиха.

– Я? – И старик расхохотался. – Я здоров и в полном уме. Король призывает меня на суд. Ох! Вы мечете громы из за-

⁶⁸ Посланец короля (*лат.*).

сады, трусливые боги! Выходите наружу! Я здесь! Ваша червивая правда отскочит от моей души, как отскакивали турецкие пули от моего панциря!

Быстрыми шагами Тахи направился в верхние покои. На пороге его ждал бледный, растерянный слуга.

– Что, молодой господин Гавро вернулся из Загреба? – спросил мрачно хозяин.

– Нет, ваша милость, – ответил слуга, – но госпо...

– Оставь, ступай, – и Тахи махнул рукой.

Он нехотя направился в спальню жены. В окно светила луна. Тахи остановился на пороге. Елена вздрогнула, приподнялась, и ее лицо с предсмертным оскалом повернулось к мужу. Его передернуло, он поник головой. Елена вперила в него лихорадочные глаза, сняла с пальца обручальное кольцо и прохрипела:

– Будь ты проклят, развратник! Пусть тебя задушит Дора Арландова! – И она бросила кольцо к ногам мужа.

Кольцо зазвенело на каменном полу. Женщина схватилась обеими руками за грудь, захрипела, раскрыла рот, глубоко вздохнула и упала навзничь – мертвая.

У Тахи пробежал мороз по коже.

Причудливо играл свет на мертвом лице и вокруг портрета Доры; казалось, что она смеется подлым смехом; а снаружи вороны каркали: «Кровь за кровь! Кровь за кровь!»

Все королевство замерло в удивлении, Тахи, сильный, всемогущий Тахи, призван предстать перед королевским судом

за свои злодеяния. Заместитель королевского надзорника Михайло Мерей обратился с письмом к капитулу загребской церкви с просьбой отправить своего каноника *pro testimonio fide digno*⁶⁹ и назначить человека, который произвел бы расследование о всех злодеяниях, разбоях, убийствах и насилиях, учиненных господином Тахи, главным конюшим короля. И капитул, согласно повелению короля, избрал на эту должность поджупана Гашпара Друшковича из Друшковца и в помощники ему дал каноника Фране Филипповича, чтоб раскрыть перед его королевским величеством все преступления тирана. Вельможи волновались, мелкое дворянство исподтишка смеялось, крестьяне вздыхали, бан Драшкович пожимал плечами, – все дивились, что на свете еще существует правда. И среди этого всеобщего удивления Фране Франкопан сказал своему приятелю Драшковичу:

– Вы удивляетесь, *reverendissime collega*,⁷⁰ откуда грянул этот неожиданный гром. Хорошо! Слушайте! Вы хотели, политики ради, пока что побереечь Тахи, хотя я знаю, что его злодеяния вам не по сердцу. Но закон есть закон, а беззаконие – проклятие. Такова моя политика! Я этому суседскому волку подпустил дымку при дворе. Я знаю все, что он натворил. Управляющий Грдак достойный человек, и, когда он начал мне перечислять все мерзости, содеянные Тахи, меня взорвало. Я видел собственными глазами, как турок грабит

⁶⁹ для достоверного освидетельствования (*лат.*).

⁷⁰ уважаемый коллега (*лат.*).

землю и угнетает народ, но, поверьте, Тахи ему не уступит. И как вы хотите, чтоб народ вместе с нами защищал нашу родину, когда ему так тяжело живется под христианским управлением его господ? Как же ему не захотеть, не проливая крови, пойти под турецкое иго? Я солдат, я искренний человек, моя душа не выносит тирании, – вот почему я через своих друзей и склонил короля назначить расследование.

– Эх, мой знатный друг, – усмехнулся епископ, – неужели вы думаете, что и я не рад был бы избавиться от этой чумы, от этого неисправимого грешника, который дерзает попирать и божьи святыни? Никогда не забуду, как он обошелся со старым священником, как с оружием в руках ворвался в храм божий. Клянусь богом, и у меня сердце болит за народ. Но я слишком хорошо знаю мир придворных. Сегодня они одни, завтра – другие. У Тахи при дворе могущественные друзья, на саборе большинство дворян за него, нам грозит турецкая напасть, и первая наша забота – это защитить землю от врагов христианства. Я постараюсь разорвать крепкие связи Тахи со двором и оторвать от него наших дворян. Но это надо делать с осторожностью, надо ждать выгодного момента. Вы идете напрямик. Но берегитесь, как бы ваш огненный меч не сломался о каменный череп Ферко, о щиты его многочисленных сторонников.

– Посмотрим, – сказал Слуньский, – но если правда не восторжествует, тогда я... гром и молния!.. – И князь гневно стиснул зубы.

Второго июля королевские уполномоченные, посещая одно место за другим, стали подсчитывать мрачные деяния жестокого аристократа, все кровавые испытания бедного народа сначала в Загребе, потом в замке Сусед, в Стубице, в Стевевце, в капитуле. И поднялись поголовно все лучшие, уважаемые люди: каноники Крсто Микулич, Иван Домбрин, архидьякон Мирко Великинич, каноник Джуро Херишинец, судья благородного города на Гричкой Горице, Антон Кнежич, священник из Пуци, Иван Бабич, священник из Брдовца, Джуро Рашкай и Фран Мрнявчич, загребские поджупаны, Мато Црнкович из Црнковца, – и все, положив руку на распятие, гневно говорили: «Тахи кровопийца, Тахи виновен!» И вслед за ними поднялся целый край, триста крестьян поспешило предстать перед королевскими уполномоченными и изложить им все свои скорби и невзгоды, рассказать все начисто, как перед богом, взывая: «Правосудия! Дайте нам правосудие! Мы ведь тоже люди! А нас убивает этот вельможа-изверг!»

А когда народ собрался в Стубице, в день суда и правды, кмет Матия Губец смело поднял голову перед королевским уполномоченным и, положив руку на сердце, сказал:

– Господа! Спасибо пресветлому королю, что он и нас, бедных, услышал. Мы тоже люди, и у нас есть сердце и душа. Мы просим справедливости, мы хотим жить, дышать. Походите по краю, спросите каждого нищего: «Почему ты просишь?» И он вам, плача, ответит: «Тахи меня сделал ни-

щим». Спросите у виселиц: «Кто вас соорудил?» И они ответят: «Тахи, ради своей забавы!» Спросите у ран на нашем теле: «Что это за знаки?» И раны ответят: «Мы следы плети Тахи, меча Тахи». Мы хотим справедливости! Это наше спасение. Не допустите, чтоб из старых ран вновь полилась кровь, потому что кровь порождает кровь, кровь делает из крещеного человека дикого зверя. Эти слова положите королю на сердце, пусть нас по правде рассудит, ведь он поставлен богом!

И честный Друшкович точно записал каждую слезу, каждое страдание и, исписав много листов грехами Тахи, послал их королю на соизволение.

Священник Бабиц стоял под вечер у дверей своего дома и держал за руку управляющего Грдака.

– Друг мой, – сказал старик сквозь слезы, – спасибо вам, вы настоящая хорватская душа. Не будь вас, с вашим сердцем, не грянул бы судный день для Тахи. Ох, от скольких слез и крови вы избавили бедный народ! Если б вы не возвысили голоса перед лицом короля, не было бы надежды, что народ сможет избавиться от когтей этого подлинного сатаны. Да благословит вас бог, как благословляю вас я и весь этот несчастный, покинутый народ!

– Святой отец, – сказал Грдак, целуя старику руку, – да, во мне бьется хорватское сердце, которое воспитано моим честным отцом. Принимаю ваше благословение, оно укреп-

пит меня в святой борьбе за правду и, если бог даст, поможет раздавить голову чудовищному разбойнику в Суседе! Прощайте, отец!

Полный внутреннего трепета, шагал дворянин к своему дому, а из-под деревянного крова возносилась к небу молитва старика священника:

– Благодарение тебе, спасителю мира, которого славят все народы. Боже, спаси мой народ!

Шимуну Дрмачичу море по колено. Суконная шапка с куриным пером надета набекрень, красный нос блестит, как роза в утренней росе, бороденка беспрестанно трясется, а хмельные глаза поблескивают. Он вернулся с храмового праздника, покачиваясь, стоит перед соседской корчмой возле дороги и левой рукой тянет за собой Петара Бошняка.

– Шимун, ты пьян, – сказал Петар.

– Ох! ох! ох! – засмеялся ходатай. – Пьян! Это Шимун Дрмачич-то пьян! Да в соседском погребе нет такого бочонка, в котором мог бы потонуть мой разум. Когда я умру, я тебе оставлю в наследство мою глотку, чтоб ты продал ее краньцам. Станешь богатым человеком, amice. Э, вот видишь, я еще держусь на ногах... и, nota bene, меня томит жажда.

– Жажда? – И Петар рассмеялся. – Ты что, бездонная бочка, что ли?

– Клянусь мадонной, горло у меня сухое, как бочонок, приготовленный для виноградного сока. Ну, войдем. Я плачу. А не то я решу, что ты и вправду осел.

– Ну, будь по-твоему, – сказал Петар, пожав плечами, и пошел за пьяницей в корчму.

Комната была темная; длинные деревянные столы пусты; в углу дремала толстая корчмарка.

– Подбрось-ка нам, мамаша, – закричал Шимун, – две

кружки некрещеного, потому что я хоть и хороший христианин, но крещеное вино мне не нравится, а ты умеешь его крестить, особенно когда человек пьян.

– Не бойтесь, кум, – выдавила из себя шутку толстая женщина, – вы же трезвый.

– Не правда ли, я трезвый? Видишь, Петар, что ты осел, – и ходатай засмеялся, садясь за стол, за которым уже сидел его приятель.

Корчмарка поставила перед гостями две кружки и вышла наружу. Оглядев комнату, ходатай сунул нос в кружку, потом, вытащив его, сказал своему толстому приятелю:

– Видишь ли, Петар, когда я вот так остаюсь наедине, когда вижу отражение своего цветистого носа в винном зеркальце, на меня нападает странное настроение, и я принимаюсь философствовать, то есть перебирать в своем уме все, что случается на свете, как и почему.

– О чем же ты рассуждаешь?

– Обо всем, брат Перо! *Exempli gratia*,⁷¹ о нашем старом волке в Суседе. Скажи-ка, а не продал ли этот человек свою душу черту? Даже король ничего не может с ним поделаться. Ведь вот прошел уже год, как комиссары были здесь. Ну и крик же был! Я уж думал, что плохо придется нашему уважаемому господину. Разве эта поджупанская башка не исписала целую простыню, которой могли бы укрыться молодожены в брачную ночь? И что же? Ни черта! Ровно ничего не

⁷¹ Например (*лат.*).

вышло. Тахи сидит спокойно, поглаживает усы, дерет с крестьян шкуру и даже ухом не ведет, когда эта ищейка королевской камеры – Грдак – на него лает. Не чудеса ли это? Нас бы за это уже десять раз вздернули.

– Нас! – усмехнулся Петар, начиная вторую кружку. – И еще как! С нашим хозяином счеты ведь другие. Господа покумились с чертом. Когда на нашего господина свалилась эта напасть и когда умирала жена его Елена, он все скрежетал зубами, пил воду и женщинами не скоромился. Потом он поехал в Пожун. Когда он вернулся, я посмотрел на него исподтишка. Он покручивал усы, смеялся, пил за двоих и целовал женщин и по пятницам и в праздники. Ладно, думаю. Значит, гром не грянул и мы можем продолжать жить тут в свое удовольствие.

– Какого черта удовольствие! – забормотал ходатай, нагнув шапку на лоб. – То ли было, когда я исполнял поручение для маленького Гашо в Туронолье! Эх, то-то купался там в золоте! А тут? Б-рр! Дел всегда по горло, и всегда рискуешь головой. А что в том толку, что? Вот этот всегдашний хлебец да несколько ломаных грошей. И все толчешься на одном месте. Мне уж стало тесно, чертовски тесно у этого скупого дьявола, – сказал пьяный Шимун, отдуваясь после выпитой третьей кружки; потом продолжал ухмыляясь: – Не держи меня здесь женщина, давно бы сбежал.

– Женщина? – спросил удивленно Петар. – Когда ты, расстрига, успел жениться?

– Я женюсь каждый день, amıce, хи-хи-хи! – усмехнулся Шиме, опуская голову. – Разве ты не знаешь, что я живу, как воробей на чужой помойной яме?

– Да кто же это захотел любить такого черта, как ты? – спросил несколько внимательнее Петар.

– Лоличиха! Лоличиха! – шепнул Шиме.

– Лоличиха? – И Петар встрепенулся. – Да ведь она...

– Она с нашим господином! Она и с мужем! Ха-ха, ха! Ну, конечно! – И пьяный ударил кулаком по столу и начал так хохотать, что у него слезы брызнули из глаз. – Да, да! Ферко дает деньги ей, а она – мне. Разве ты никогда не видел ее лица? Это, amıce, женщина-турок, женщина, которой нужно трех мужчин. Да ты спроси обо мне. Эх, выпьем! – И Шиме снова ударил кулаком по столу. Петар слушал его со вниманием.

– Понимаешь! Вот что меня удерживает в Суседе, – продолжал Шиме, – но я сумею составить себе капиталчик. Та-хи придется раскошелиться.

– Каким образом? – И Петар наклонился к нему.

Шиме встал, перегнулся через стол и шепнул ему на ухо:

– Это ве... великая тайна. Да! Да! Крестьянская сволочь снова зашевелилась. А кто знает, где голова и где корень этого заговора, кто? Я, я это знаю, – и ходатай гордо ударил себя по выпяченной груди, – я, Шимун Дрмачич! И тот, кому я это открою, сможет раздавить голову и вырвать корень восстания. Вот так – рек! Но я это скажу только тому, кто мне

хорошо заплатит.

– Как же ты все это узнал, черт ты этакий? Ты, я вижу, настоящий философ... Но что касается Лолпчихи – я тебе все же не верю.

– Не веришь, мошенник? – вскричал Шиме и бросил на стол вязаный кошелек. – На, смотри! Этот кошелек Елена подарила Тахи, Тахи – Лоличихе, Лоличиха – мне, а я его дарю тебе, моему названому брату. Теперь веришь?

– Верю, Шиме, – сказал Петар и быстро сунул кошелек за пазуху.

– Но, *per amorem Dei*,⁷² почему бы тебе, Петар, не жениться таким же манером? Ведь не хромой же ты кобылы сын!

– Да я не прочь! Есть тут одна девушка в Брдовце, Юркина Яна.

– А, а! – И ходатай приложил палец ко лбу. – Вспоминаю; тонкая штучка, клянусь мадонной! Ну, и что ж?

– И близко не подпускает. Уж несколько раз осадила меня.

– Фу! – и Шиме засмеялся. – Если уж ты не очень стоишь за *ius primae noctis*,⁷³ то дело легко поправимо. Покажи ее Тахи, он в этом знает толк. А после она станет покладистее. Когда бочка почата, всякий черт может пить из нее.

– Эге, да это не так глупо!

– Ну, конечно, не глупо! Ведь это же я сказал, я, Шиме Дрмачич. Ох, я... я... – Ходатай стал бить себя в грудь кула-

⁷² бога ради (*лат.*).

⁷³ право первой ночи (*лат.*).

ком и свалился без памяти на стол.

Петар оставил пьяного и быстрыми шагами направился в замок. Здесь он отыскал Петара Петричевича.

– Господин Петричевич, – сказал он, – я знаю, что вы ненавидите Лолича, который вырывает у нас из-под носа все лакомые кусочки.

– Ну, да!

– Который, как хорек, втерся на службу к хозяину и держит себя, как барин, потому что его жена окрутила нашего господина. Господин Петар! Я знаю ладан, которым этого повесу можно выкурить из Суседа. И вы станете кастеляном. Хотите?

– Хочу, но...

– Вашу руку! Ничего больше не спрашивайте. Я стреляю без промаха.

– Ладно! – сказал Петричевич, подавая Бошняку руку.

На следующее утро нижний двор Суседа огласился страшными криками. Посреди двора стоял разъяренный молодой господин Гавро, держа в руках толстую дубинку. Лицо его горело, глаза сверкали, он трясся от гнева. Перед ним причитал пожилой человек, ухватившись за голову обеими руками; по лицу его струилась кровь; по двору дикими прыжками скакал невзнузданный конь.

– Мошенник! – кричал Гавро. – Так я и позволю тебе додрагиваться до моих породистых коней, каждый волос кото-

рых дороже твоей дурацкой башки.

– Этот удар вам дорого обойдется, – прохрипел, подавляя боль, человек и смерил Гавро горящим взглядом, – так поступают разбойники, а не бароны!

Гавро побледнел, бросился в ярости на человека и замахнулся дубинкой, но чья-то железная рука опустилась сзади на его руку. Он обернулся и увидел перед собой управляющего Грдака, вовремя подоспевшего на помощь.

– Как вам не стыдно, молодой господин, – промолвил спокойно управляющий, – хорош дворянин – ранить в кровь человека, исполняющего свой долг!

– Что такое? – закричал хриплым голосом господин Тахи, сходя в нижний двор с Петричевичем и Бошняком.

– Отец, защитите меня от этого человека, – сказал, Дрожа, Гавро.

– Что случилось? – спросил Тахи, злобно посмотрев на Грдака.

– Этот подлец, этот скот, – закричал молодой человек, – выгнал моих коней из конюшни.

– И правильно сделал, – сказал спокойно Грдак, – потому что вы, молодой господин, выгнали королевских коней из королевской конюшни, которая вам не принадлежит. У вас довольно своих конюшен. Он это сделал по моему приказанию, а вы так ударили королевского слугу, что у него кровь потекла, и если б не я, вы бы его убили.

– Иди в замок, сынок, брось этих невеж, – гневно прого-

ворил Тахи, а потом обернулся к управляющему: – Э, вы, я вижу, хорошо бережете королевское добро. Но лучше было бы, если б вы поменьше тратили королевского вина и еды на своих гостей, которых вы угощаете у себя по-барски; лучше было бы не раздавать столько королевского хлеба этим болванам крестьянам.

– У меня в гостях никого не было, кроме моего брата Шишмана и моего родственника Михаила, нотариуса из Загреба. А хлеб я раздавал крестьянам, потому что вы их дочиста обобрали и у них не осталось ни крошки.

– Bene, bene, – и Тахи махнул рукой, засмеявшись злорад-но, – вы опять на меня подадите жалобу из-за этой разбитой башки, как вы жаловались на меня в прошлом году, но и я подам на вас за то, что вы крадете и транжирите королевское имущество.

– Господин Тахи, – вспыхнул Грдак, сжав кулаки, – это неблагоприятно.

– Bene, bene, – спокойно ответил Тахи, – я вас насквозь вижу. Голову даю на отсечение, что мы не сможем ужиться вдвоем под одним кровом. Пойдемте, детки, – сказал он своим служащим, – теперь нас ждет дело поважнее.

Грдак повел раненого в дом, а Тахи, засунув руки в карманы, двинулся дальше.

– Петричевич, – сказал он, – приведи ко мне Шимуна.

Вскоре притащился ходатай, с непротрезвившимся, беззаботным лицом, и низко поклонился.

– Что, ваша милость, у вас есть для меня работа? – спросил он, позевывая.

– Есть, – ответил Тахи ласково, – но об этом после, а теперь скажи мне, дорогой Шимун, как дела? Есть ли какие новости?

– Эх, – усмехнулся Шиме, прищуриваясь, – и еще какие! Но это, ваша милость, не идет в общий счет. За это надо особую плату.

– Vene, carissime, – и Тахи кивнул, – ты, может быть, хочешь получить задаток?

– Дайте, ваша милость, – и Шиме, кланяясь, протянул руку, – я принимаю все, что дают.

У Тахи заходили брови, расширились зрачки, кровь бросилась в голову, и он рявкнул:

– Дать ему задаток! – и мигнул Петричевичу.

Шиме было попятился, но в ту же минуту Петричевич схватил его сзади за плечи, повалил на живот и сел ему на голову; Бошняк держал его за ноги, а двое слуг, высоко взмахивая толстой мокрой веревкой, стали немилосердно бить ходатая по спине; тот рвался и рычал, впиваясь в землю зубами и ногтями.

– Сладко ли тебе, Шимун? – спросил Тахи, злорадно смеясь. – Ну-ка, еще!

И снова опустилась веревка.

– Так тебя женщина удерживает на моей службе, воробушек ты эдакий на чужой помойной яме? Ну-ка!

И снова удары посыпались на спину Шимуна.

– Не хочешь ли сказать тайну? Ну-ка!

И слуги изо всей силы ударили его веревкой в пятидеся-
тый раз.

– Ска...ска...жу! – прохрипел ходатай. – Смилуйтесь!

Тахи махнул рукой, и слуги отбежали от несчастного, ко-
торый, стоя на коленях, извивался всем телом и, с посинев-
шим лицом и налитыми кровью глазами, ревел, как раненый
зверь.

– Говори! – заорал Тахи, – любил ли ты кастеляншу?

Шиме подтвердил кивком головы.

– Говори, что знаешь о заговоре крестьян!

– Скажу, – прошептал Шиме, махая руками и кивая голо-
вой, – воды... воды... погиба... вод... – вздрогнул и рухнул
без чувств на землю.

– Отнесите его туда, к стене, дайте ему воды, – приказал
Тахи. – Когда мы покончим с другим делом, я его Допрошу,
а вечером – вздернуть на груше!

Люди положили полумертвого ходатай у стены, а Тахи со
своими слугами направился в квартиру кастелянши, которая
еще была погружена в сладкий утренний сон.

– Оставайтесь тут, за дверьми, пока я вас не позову, а ты,
Бошняк, приведи осла! – сказал Тахи.

В окно сияло утреннее солнце, играя на румянном лице мо-
лодой женщины, которая спала с полуоткрытым ртом, поло-
жив обе руки под голову; две густые косы спадали по ее кра-

сивым плечам. Тахи подошел к кровати и устоялся на спящую. Глаза у него заблестели, лицо побагровело, но вдруг он вздрогнул и побледнел. Старик засунул руку за пазуху, вытащил блестящие ножницы и в мгновение ока отрезал прекрасные косы женщины. Вскрикнув, она проснулась.

– Кто это? Кто это? – но, узнав господина, опустила голову и скрестила белые руки на груди.

– Голубушка, – сказал Тахи приглушенным голосом, – мне захотелось тебя порадовать, и я купил тебе красивый новый кошелек; верни мне старый.

Женщина побледнела.

– Дай кошелек! – взревел Тахи и сдвинул пышные плечи распутной женщины своими железными пальцами. – Признавайся, кому ты его дала? – кричал он, оскаливая зубы и показывая дрожащей рукой старый кошелек Елены, который он вытащил из-за пазухи.

У женщины, казалось, глаза готовы были выскочить из орбит; она стояла, бледная, у кровати, прислонившись головой к стене и хватаясь за нее руками.

– Тьфу! – плюнул Тахи. – Потаскуха! Погоди! Ох! погоди... Петричевич!

В комнату вбежали слуги с веревками. Женщина завизжала и, схватившись руками за голову, стала на колени.

– Валяйте! – зарычал Тахи.

Из квартиры кастеляна понеслись такие страшные вопли, что у крестьян под горой кровь застыла; душераздирающие

крики, дикие стоны и равномерные удары – и все это сопровождалось оглушительным хохотом Тахи.

Избитый ходатай поднял голову. Он пришел в себя от ужасного крика. Тело его еще вздрагивало. По двору бродили стреноженные кони, а перед дверьми кастеляна был привязан осел. Никого не было, кроме одного слуги, проходившего через двор. Ходатай, приподнявшись на локте, взмолился слабым голосом:

– Лука, принеси мне воды!

– Ладно, – ответил слуга, – я пойду на верхний двор.

Ходатай осмотрелся, как кот. И пополз на животе. Остановился.

– Нет, не стоит, осел ленив! – прошептал он.

Тихонько дополз он до первого коня, вынул нож, разрезал веревки и, словно его подсадила дьявольская рука, вскочил на него, обнял за шею, ухватился за гриву и помчался вниз к открытым воротам.

– Держи его! – закричал Лука, появляясь с ведерком воды.

– Держи его! – закричал Гавро из окна замка, куда его привлек крик женщины. На шум выбежал Тахи и его припешники.

– Шиме сбежал, – крикнул Гавро.

– Бери ружье, Гавро, ружье! – заорал Тахи. – Стреляй в него.

– Жаль коня, – ответил молодой человек.

– Стреляй, черт возьми!

Гавро скрылся и вскоре вновь появился в окне, с ружьем. Конь Шиме споткнулся о пень. Гавро прицелился. Выстрелил.

– Ха! ха! ха! – раздался хохот маленького ходатая. – Плохой же ты стрелок, безбородый! погоди, я к тебе еще приеду в гости!

Ходатай понесся как стрела и исчез бесследно.

Через некоторое время крестьяне села Суседа выбежали за ворота, чтоб поглядеть на удивительное зрелище.

Размахивая березовыми ветками, два воина гнали осла через село; на нем, лицом к хвосту, извивалась молодая кастиляница. Волосы у нее были отрезаны, руки связаны, на теле ничего, кроме рубашки, кровь текла из сотни ран. Прутья свистят, женщина орет так, что чертям тошно. Так слуги прогоняли Лоличиху из суседградской округи; прогнали и ее мужа, у которого Тахи отобрал все имущество. А крестьяне опустили головы и с горящими глазами шептали:

– Боже! Боже! И это наши господа!

Было после полудня середины мая 1569 года. Бан, епископ Джуро Драшкович, не в духе, ходил взад и вперед по своей комнате. Тут же стоял Гашпар Алапич, внимательно наблюдая за епископом, мрачно надвинувшим свою шапочку на лоб.

– Вы позвали меня, *reverendissime*, – сказал горбун, – но я как будто пришел не вовремя; вы, я вижу, не в духе.

– Вы правы, – ответил спокойно епископ, – да и как я могу быть в духе? Турок угрожает, ускоки грабят, сборщики податей штрафуют, крестьяне волнуются, дворяне кричат на саборе, где я порядочно намучился; и только что мне удалось все это на короткое время успокоить и вздохнуть с облегчением, как дражайший подбан Форчич привел ко мне депутацию верхнего города Крижевца с жалобой на нижний город, по поводу якобы неправильного распределения повинностей. Битый час надоедал мне подбан *post prandium sumptum*,⁷⁴ за который, вероятно, заплатили крижевчаге, размахивал у меня под носом рукой и, наконец, разразился длинной тирадой, доказывая, что спор об этих пустяковых крижевацких деньгах важнее турецкой опасности. Нечего сказать, хорошего человека вы выбрали! Этот

⁷⁴ после обильного обеда (*лат.*).

Форчич, *sit venia verbo*,⁷⁵ осел!

Гашо усмехнулся:

– Знаю, что огненный язык святого духа не сияет над его головой.

– Но оставим это! *Ad rem*.⁷⁶ Садитесь! Я вас позвал, потому что вы человек умный. Сословия, *domine* Алапич, жалуются на бесчинства сборщиков податей.

– И с полным правом, *reverendissime*, подати ужасные, сборщики сдирают шкуру с крестьян и горожан.

– Правда, *nobilis amice*, подати несправедливы, страна истощена, сборщики сущие пиявки, да и помещики не лучше. У крестьянина выпили всю кровь: не удивительно, что он повсюду поднимает голову.

Гашпар промолчал.

– Возьмем, например, Тахи, – продолжал епископ. – Чтоб угодить двору и прикрыть свои грехи, он куражится на саборе, дает для войска деньги, хлеб, сено, материалы, рабочие руки, но крестьян грабит, как разбойник, так что у них кости трещат. Крестьяне снова подали жалобу королю. А что вы, господа, сделали на саборе? Решили, что повсюду в королевстве бунтовщики должны быть строго наказаны. Предложил это Тахи, а вы, господа, все его поддержали: он хозяин и владыка сабора; что ж, вы выразили осуждение господам кровопийцам?

⁷⁵ с позволения сказать (*лат.*).

⁷⁶ К делу (*лат.*).

– Знаю, что Тахи изверг, – ответил Гашо, – мы несколько лет тому назад поторопились, в особенности покойный бан Петар. Но Тахи союзник той сильной дворцовой партии, которая в оппозиции к эрцгерцогу Карлу, мечтающему уничтожить свободы нашего королевства. И потому мы пока еще поддерживаем его.

– Свободы? – усмехнулся не без злобы епископ. – Свободы грабить и разбойничать? Так, что ли? А порядок, а право, а закон? Я хочу порядка и спокойствия, понимаете ли вы это, domine Алапич? Потому и призвал вас.

– К вашим услугам, reverendissime, – и горбун поклонился.

– Во-первых, поезжайте к вашей сестре, вдове бана. Я слышал, что ее люди в Цесарграде мучают народ, как вавилоняне мучили евреев; в Ястребарском, где проживает госпожа Барбара, народ живет, как в аду. Передайте ей от моего имени, чтоб она, бога ради, проявляла больше сердечности. Ведь она женщина. Скажите, чтоб она была мягче.

– Хорошо, reverendissime, – проговорил Гашо.

– Второе дело поважнее. Дайте мне честное слово, что вы не выдадите моих намерений.

– Честное слово, не выдам.

– Я должен удалить Тахи из Суседа. Крестьяне объявили королю, что не хотят больше ему служить, что предпочитают лучше погибнуть. Тяжба с Уршулой ведется очень медленно и может, по старому обычаю, продлиться еще лет десять.

Разногласия среди дворянства будут возрастать, крестьяне возьмутся за оружие, а турок воспользуется и нападет. Хотите вы дожить до таких ужасов!

– Боже упаси! – воскликнул Алапич.

– Этот узел надо быстро, спокойно и осторожно распутать, и ваши ловкие руки должны тут выполнить главную задачу, господин Гашпар. Мне почти что удалось убедить наследников покойного Николы Зринского возвратить в пользование Тахи Божьяковину, которую Никола у него отнял шесть лет назад. Старый Тахи переедет жить туда. Сын его, Гавро, женится на Софии, дочери Уршулы Хенинг, которая будет жить с молодоженами в Суседе и Стубице; она, кроме того, вернет Ферко двадцать тысяч флоринов. Таким образом, мы уберем Ферко из Суседа и помирим две семьи, поднявшие все королевство на кровавую распрю. Что вы об этом думаете?

– Reverendissime, – сказал Гашпар, кланяясь и пристально глядя на бана, – дивлюсь я вашей государственной мудрости. План составлен превосходно. Но, зная страстную натуру госпожи Уршулы...

– Об этом не заботьтесь, – и епископ улыбнулся, – Уршула согласна.

– Согласна? – И Гашпар от удивления попятился.

– Да, – и Драшкович кивнул, – ваша же задача – убедить Тахи, которого вы хорошо знаете. Но действуйте быстро, прежде чем Амброз Грегорианец возвратится с сабора из

Пожуна. Знаю, у него другие взгляды на этот счет. Я вам особенно советую договориться об этом деле с госпожой Анкой Коньской, которой удалось склонить свою мать принять этот план. Согласны?

– Согласен, господин бан, и даю честное слово, что буду действовать по вашим указаниям, – сказал Гашпар.

– Да хранит вас бог, господин Алапич. – Епископ благословил дворянина и отпустил его.

Через некоторое время в комнату вошел второй бан, князь Фране Франкопан.

– Вы пришли вовремя, domine collega, – сказал епископ. – Я только что получил письмо из Пожуна, – читайте! Вышло по-моему. Следствие по делу Тахи рассыпалось в пух и прах: подождите еще с месяц, и у вас от удивления глаза на лоб полезут. Мы не в силах лишить суседского изверга королевской защиты прямым путем, а только путями окольными.

Франкопан прочел письмо и, искривив губы, бросил его на стол.

– Вы сказали правду, в государственных делах мы, солдаты, как дети, потому что уверены, что вечная правда никогда не дремлет.

В день святой Маргариты, после полудня (стояла чудная июльская погода), в ворота суседского замка въехала большая дорожная карета. Тахи, поджидавший, как видно, гостей, встретил их внизу лестницы очень любезно и провел во внутренние покои. Судя по вздернутым усам и скверному латинскому языку – это были чужестранцы. Одного из них, откормленного великана с цветущим лицом и красным носом, звали Джуро Хосу, а другого, сухого, шуплого, кашляющего, с желтым цветом лица, – Андро Майтени; оба были мадьяры, сборщики податей из Неделища, которых королевская камера послала как своих уполномоченных, чтоб рассмотреть и разрешить спор между служащими камеры и Тахи. Это то, что можно было узнать из рассказов их кучера, междумурца. Мадьяры мало интересовались осмотром замка и когда на другое утро Степан Грдак пошел представиться им, то оказалось, что уполномоченные на заре уехали на охоту с Тахи в сторону Стубицы, откуда вряд ли вернутся раньше как через неделю. На десятый день перед замком послышался громкий лай. Целая свора собак ворвалась во двор, а за ней верхом комиссары и Тахи с сыном Тавро. Гавро крикнул Бошняку, чтоб Грдак явился к господам в замок после полудня со счетами и всеми ключами. Обед кончился, и за столом сидели господа: Хосу, который глядел перед собой и

ковырял в зубах, Майтени, погрузивший свой крючковатый нос в связку писем, и Тахи с довольным лицом. Он наполнял чаши комиссаров.

– Ergo, magnifiée, – начал Майтени медленным, скрипучим голосом, – арендный договор подписан, наши обязанности окончились. Теперь остается только вызвать Грдака для отчета.

– Я вам очень признателен, благородные господа, за вашу доброту и справедливость, – сказал Тахи, – его королевскому величеству я выражу свои чувства особо. Тот скромный подарок, который я вам передал, является лишь частицей моей вполне понятной благодарности, которую я не премину вам доказать.

Майтени поблагодарил поклоном, а Хосу заметил:

– У вас, magnifiée, прекрасные охотничьи собаки; я в них знаю толк, я сам охотник.

– Я выберу для вас пару английской породы, domine Хосу, – ответил Тахи, – я этим мало интересуюсь, этим главным образом занимается мой сын Гавро.

– Gratias,⁷⁷ magnifice, – и Хосу кивнул, – ваш сын достойный молодой человек!

В это мгновение в комнату вошел Грдак и поклонился. Хосу презрительно оглядел его с головы до ног, и управляющий покраснел.

– Это вы – Грдак? – спросил Майтени.

⁷⁷ Благодарю (лат.).

– Да, господа.

– Принесли ли вы ключи от всех помещений? – продолжал щуплый мадьяр.

– Вот они, – сказал Грдак и положил на стол связку ключей.

– А счета? – сказал Майтени, поднимая свой нос.

– Господа, как я мог в несколько дней составить счета за три года? Мне никто ничего не сказал, а на это дело требуется по крайней мере три месяца. Примите во внимание, что сейчас самое горячее время в хозяйстве.

– Эх, *carissime*, – продолжал щуплый мадьяр, потирая руки, – мы не можем прохлаждаться три месяца. Выслушайте наше решение. Мы осмотрели имения Сусед и Стубицу.

– Когда, господа? – спросил Грдак удивленно.

– И Стубицу, – повторил Майтени, – мы находим, что вы плохо блюдете интересы королевской камеры.

– Что вы плохо ведете хозяйство, – добавил Хосу.

– Я? – И Грдак побледнел.

– Что вы угощаете гостей, заботитесь о своем кармане и что счета у вас не в порядке, – выпалил Хосу.

– Господа, – воскликнул выведенный из себя Грдак, – будьте справедливы, выслушайте меня...

– И потому, – проговорил Майтени, не обращая внимания на слова управляющего, – мы решили от имени камеры передать подведомственную ей половину имения в аренду вельможному господину Тахи за две тысячи четыреста вен-

герских флоринов в год и теперь торжественно вручаем ему ключи.

– Господину Тахи? – спросил в ужасе Грдак, посмотрев на Ферко, который сидел, неподвижно уставившись на управляющего светящимися, кошачьими глазами. – Господину Тахи? Да знаете ли вы, что вы делаете? Неужели королевская камера забыла мои письма и расследование, произведенное два года тому назад? Разве ей так уж безразлична судьба несчастного народа?

– Его королевское величество все рассмотрел, – сказал Хосу, – и умеет отличить сомнительное от доказанного.

– Сомнительное? – проскрежетал Грдак, опуская голову. – Разве можно сомневаться в том, что солнце сияет на небе? А что будет со мной?

– Можете идти на все четыре стороны! – ответил сухо Майтени.

– А мое жалованье, мои кровные деньги? – спросил Грдак дрожащим голосом, схватившись за голову. – С тысяча пятьсот шестьдесят шестого года я работаю здесь в поте лица своего и еще не получил ни гроша.

– Если вам что причитается, – проговорил Хосу, – вы это получите своевременно, после того как проверят счета, потому что бог зна...

– Да, бог знает, что я честен, – сказал Грдак, подняв голову, – и что я не обманул короля ни на йоту. Я вижу, как все это было подстроено, господа: это клевета господина Тахи,

это все его дьявольская клевета. Я ухожу, я не буду перед вами оправдываться, потому что ваши сердца глухи; ухожу, и грех падет на вас, если близ этого кровавого замка вспыхнет пожар и уничтожит все королевство. Но король должен все узнать, и не забывайте, что хорватский дворянин не боится мадьяр – сборщиков податей.

Мадьяры притихли, но Тахи, вскочив, закричал:

– Подлец, вон из замка! Здесь я хозяин.

– И здесь же тебя настигнет стрела божьего правосудия, кровопийца! – ответил Грдак, подняв руку.

Обиженный, взбешенный, бывший управляющий покинул замок; когда он подошел к воротам, господин Гавро крикнул ему вслед с громким хохотом:

– Ха! ха! ха! Спокойной ночи, amice! Теперь ты знаешь, что такое барон?

Грдак поехал верхом в Брдовец. В доме священника ему сказали, что тот у Грегориша.

Он поскакал туда и прямо вошел во двор. Перед домом сидели священник, Илия Грегориш и судья Иван Хорват.

– Бог в помощь! – приветствовал его старик Бабич. – Какой счастливый ветер принес вас в Брдовец, господин Грдак?

– Несчастье, отец! – ответил управляющий со слезами на глазах. – Я нищий, без пристанища, без имущества.

– Боже мей, что случилось? – спросил испуганно священник.

– Что? – И Грдак горько усмехнулся. – Мадьярские сбор-

щики податей за мою верную службу выгнали меня, как собаку, и передали все имение суседскому кровопийце.

Все трое слушавших смертельно побледнели.

– Все имение отдали Тахи? – воскликнул Илия, вскакивая. – Эх, так вот что они называют правдой!

– Смилуйся над нами, господи, – сказал священник, сложив руки.

– Сердце мое чувствует, – подхватил Илия взволнованно, – что прольется кровь; видит бог, прольется.

А Хорват схватил свою судейскую палку и, сломав ее через колено, бросил далеко от себя.

– Убирайся к черту, – проскрежетал он, – когда суд вершат черти, то крещеному человеку стыдно называться судьей.

– А что же будет с вами, мой бедный друг? – спросил Бабич у Грдака.

– Что мне вам сказать? У меня нет ничего, ровно ничего. Маленькое именье в Венгрии, которое я получил от матери, у меня силой отнял Баторий. У моего брата куча детей и крошечный клочок земли, но придется все-таки поехать к нему, пока я не найду службы.

Заговорил Грегорич:

– Не обижайтесь, благородный господин, на то, что я вам скажу. Вы дворянин, я кмет, но и я человек. Вы поистине честнейшая и добрейшая душа. Весь край молится за ваше счастье, а вот, подите же, пришло несчастье. Но ничего! Мы хорошо знаем, сколько добра вы для нас сделали; это так

крепко вошло в наши сердца, что сам черт не вытравит. Каждый ребенок у нас знает, сколько бед вы отвратили от наших голов, да и этот мой бедный дом был бы ограблен, если бы не вы. Пусть мое предложение не покажется вам обидным. Ты мне, я тебе, и да благословит бог, говорит старая поговорка. Здесь для вас не безопасно, Тахи ведь лютый зверь. В рибницком крае у меня есть земля и дом. Укройтесь там и хозяйничайте, как сумеете, покуда вам счастье не улыбнется. Простите мне, сударь, я от всего сердца. Здесь же, – продолжал крестьянин, – здесь, мне кажется, может многое случиться.

Грдак схватил большую руку крестьянина и проговорил растроганно:

– Согласен! Честная ты душа, принимаю, чтоб тебя не обидеть. Ты человек, ты настоящий человек! Дворянин будет нести барщину у кмета, пока не добьется правды от короля!

Опустив голову, священник молча наблюдал за этой сценой. Потом поднял ее, возвел руки к небу и сказал:

– Вознесите сердце к богу, несчастный мой друг! Тяжел жизненный путь, тяжко искушение, посылаемое нам богом. Но несите смиренно свой крест, потому что унижающий себя возвысится. Горе тому человеку, который вырвал из сердца своего прекраснейшие слова спасителя: люби ближнего, как самого себя; горе ему, потому что придет суд над праведными и над грешными. Да, вижу, суд придет, страшный суд, потому что рука человеческая уклонилась от правды, пото-

му что мир тонет в грехе. Пусть праведный господь оплатит вам за все добро, которым вы облегчали бедному народу его тяжкое рабство.

– Мне очень приятно, мама, – сказала Анка Коньская Уршуле Хенинг, – что вы с Софией приехали погостить ко мне в Загреб. Вы знаете мечтательный характер Марты; она бы совсем испортила нам Софию. Она и так страшно переменялась. Не в духе, молчит, раздражается и продолжает ждать своего Милича, который все равно не вернется.

– Не вернется? – быстро спросила Уршула.

– Наверное, не вернется. Слушайте, мама. Я много говорила о нашем деле с Алапичем. Он мне рассказал, как уже несколько месяцев обхаживает Тахи и каких трудов это ему стоит; я же со своей стороны жаловалась на нашу неприятность, на то, что мы до сих пор не решились ничего сказать Софии и как вы связаны честным словом, данным Миличу; и что поэтому следовало бы узнать, где находится этот молодой человек и вообще жив ли он. Подумав немного, Алапич сказал, что, может быть, ему удастся помочь в этом деле. Я знаю, сказал он, одного продувного человека по имени Др-мачич, писаку, которого Тахи выгнал со службы. Этот человек самого черта не боится. Пошлю его, говорит, разведать о Миличе, о котором господин Амброз повсюду разузнаёт. Алапич и послал этого человека.

– И что же он? – проговорила быстро Уршула.

– Он вернулся вчера, мама.

– Что же Милич?

– Жив, но в плену.

– Где?

– Я вам все расскажу. Шпион Алапича пустился наудачу в ту часть нашей страны, где хозяйничают турки, и стал разузнавать, где находятся пленные, взятые несколько лет тому назад под Канижей. Человек этот рассуждал вполне разумно. Надо было сперва искать Могаича. А около него, вероятно, будет и Милич, если только он не погиб. Его направили в Ко-станевицу, оттуда в Дубицу и, наконец, в Баня-Луку. Дрмачич стал спрашивать у монахов, которые, конечно, знают о пленниках-христианах. И он был прав. Монахи ему сказали, что в доме одного бега в Баня-Луке уже пять лет, как работает пленник, молодой парень по имени Могаич. Три года тому назад из-за Савы пришел другой человек и предложил бегу денежный выкуп за Могаича, но умница турок удержал обоих. Вот все, что я вкратце могу вам сказать в утешение. Очевидно, наш рыцарь не вернется, так как имение его, которым управляет Амброз, все в долгах, он заложил его для выкупа Могаича. Поэтому у вас может быть спокойно на душе, и я надеюсь, что дело, которое тянется уже три года, нам удастся довести до благополучного конца. Тахи же, насколько я слышала, стал мягче после жалобы, которую вы снова подали бану и которую его пожунские друзья не могут отве-сти.

– А Амброз?

– Его я не боюсь, – усмехнулась Анка. – Мне кажется, что он и сам отчаялся спасти своего любимца, потому что все его розыски были безуспешны. Но, во всяком случае, надо быть настороже. С этой стороны наши интересы защищает Степко, который согласен, чтобы София вышла за сына Тахи. Итак, мама, все подготовлено. Вы уж довольно ждали, но главная задача – сломить сопротивление Софии. Подготовили ли вы ее как-нибудь?

– Я ей говорила вообще о замужестве; однако сына Тахи не упоминала.

– А она?

– Заплакала, отвернулась и сказала: «Мама, заклинаю вас, не говорите мне об этом. Я свято чту ваше слово: вы поклялись Миличу, что он будет моим мужем, а я ему поклялась быть его женой. Я верна и своей и вашей клятве, потому что, бог свидетель, я этого человека люблю и день и ночь только о нем и думаю. Он уже три года как живет в моем сердце и будет жить долго, будет жить вечно!» – «Дочка, – ответила я, – прошло уже столько времени, а о нем все нет вестей, и, по всей вероятности, он не вернется, он погиб». – «Нет, мама, – сказала она сквозь слезы, – сердце мне подсказывает, что он не погиб». – «Ну, а допустим, что погиб, – сказала я, – ведь я поклялась отдать тебя ему, если он вернется, но никогда не клялась не отдавать тебя никому другому, если он не вернется. Я не хочу, чтобы ты оставалась старой девой или шла в монашки. Этого не бывало ни с одной Хенинг. Я подо-

жду еще немного, а потом придется тебе покориться матери, потому что такова воля божья». София побледнела, закрыла лицо руками и вышла из комнаты. Видишь, какая она.

– Это все еще влияние мечтательной Марты, – и Анка махнула рукой, – но погодите, мама, когда она с недельку побудет в моей школе, то станет покладистее.

– Дай-то бог! – сказала Уршула.

– Я пойду за ней, надо сперва ввести девушку в общество и развлечь ее, немного расшевелить.

Анка встала и пошла было к двери, но вдруг остановилась; дверь отворилась, и на пороге появился господин Амброз. Женщины растерялись.

– Слава Иусу, – приветствовал их с удивлением Амброз. – Вы как будто меня испугались. Неожиданно нагрязнул? Приехал раньше, чем вы рассчитывали? Не так ли? Э, что поделаешь, сабор в Пожуне разъехался, вот и я! Я уже побывал дома, в Брезовице, заехал и в свое имение около Брежиц, завернул и в Мокрицы, чтоб рассказать вам кое-что о вашей тяжбе, наконец – по вашим следам приехал сюда. Где София?

– Дома, – ответила Анка смущенно, – наверно, за какой-нибудь работой.

– Позовите-ка ее, госпожа Анка.

Госпожа Коньская быстро взглянула на мать и вышла из комнаты. Амброз опустил на стул.

– Госпожа Уршула, – сказал он, впери в нее строгий

взгляд, – вы выдаете Софию замуж?

– Кто вам это сказал? – спросила Уршула, вспыхнув.

– Ваш румянец, госпожа, и Марта в Мокрицах, которой София жаловалась.

– Я считаю, что она уже созрела для замужества, – заметила вдова.

– А Милич, несчастный Милич, которого вы так ловко отстранили, который, вероятно, томится где-то в плену и которому вы дали клятву? Где ваша совесть?

– Не укоряйте меня напрасно, господин Амброз, – сказала Хенинг, опуская голову, – прошло три года, а о Миличе нет вестей, и он, вероятно, не вернется. Ею, конечно, жаль. Но время идет, а дочь уже совсем взрослая. Я хочу, чтоб девушка вышла замуж, а не увядала без любви. Разве это не умно?

– Умно, но бессердечно. У меня сердце разрывается, когда подумаю, в какое тяжелое положение попал этот достойный молодой человек, или когда вижу, как София по нему сохнет. Как его опекун, я искал его повсюду. Но напрасно, и теперь я не могу спокойно сложить свои старые кости в могилу. Но, может быть, он все-таки жив, может быть...

– Может быть? Неужели София должна сохнуть еще три года? – язвительно спросила старая Хенинг.

Старик строго посмотрел на нее, встал и сказал торжественно:

– Госпожа Уршула! Помните ли вы тот день в замке Су-сед, когда ради вас я поднялся против бана, когда рада вас

я поставил на карту честь, имущество и даже свою голову? Помните?

– Помню, – сказала Уршула, бледнея.

– Вы тогда мне поклялись исполнить все, что я на попрошу. Не так ли?

– Да, – прошептала женщина удивленно.

– Ну, хорошо! Сегодня я пришел за своим долгом. Вы должны, как сами сказали, ждать Милича три года, а я уж позабочусь о моем бедном герое. А потом уж пусть будет по-вашему. Поклянитесь!

Уршула оцепенела. Сдерживая гнев, она проговорила:

– Клянусь!

– Благодарите бога, что Амброз появился вовремя, иначе вы бы стали клятвопреступницей перед богом и людьми.

– Я хозяин Суседа! – вырвалось из самой глубины дьявольской души Тахи. И он действительно был и хозяин, и закон, и власть, и право; но если говорить откровение, то не было ни закона, ни нрава. Каждая слеза падала на твердый камень, каждый вздох уносился ветром. Мадьяры передали ему все имение; с той поры прошло два года: два года проползли по этому проклятому краю, как две гадюки, оставляя за собой ядовитый след. Да, это был богом забытый край. Тахи жил в Суседе один. Жена его умерла, сыновья были в армии, Гавро учился, дворяне постепенно его покидали. – Драшкович подал на него жалобу королю, Амброз держал его в тисках своей тяжбы, народ в отчаянии грозил ему кулаками, развратница его обманула, порядком мучила подагра. Он был один, один в старых, проклятых стенах, один со своим одиночеством, со своим страданием, со своими угрызениями. И все стало его раздражать: страдания, забавы, безделье, досада, – потому что характер у него был бешеный. На саборе он пригоршнями бросал деньги на войско, чтоб ослепить его королевскую милость, а дома железной пятой давил крестьянские шеи, так что кровь была ключом. А народ? Народ сквозь слезы смеялся над своим несчастьем, народ проклинал мир, не достойный того, чтоб по нему таскать свои несчастные кости. Это был страшный смех, – так сме-

ются люди, потерявшие человеческий облик. Сердце у народа сжалось, душа замерла, рука отбилась от плуга; он далеко обходит церковь и при имени бога разражается хохотом. А тут пришел голод, страшный, неумолимый голод. Потоки воды унесли весенние всходы, мороз уничтожил виноград и желуди, солнце высушило ручьи и сожгло урожай. И настал такой голод, от которого стынет кровь, от которого трясет ледяная лихорадка, который, как раскаленное железо, выжигает все внутренности. Небо ясно, как гладкая стеклянная доска, в которой отражаются все ужасы людского горя. Вершины холмов безоблачны, деревья неподвижны, как камень, листья свернулись и пожелтели; на дне ручьев лежат сухие камешки, грязь в полях затвердела, из-под выгоревшей коричневой травы виднеется жаждущая земля, покрытая трещинами; виноградная лоза почернела, нигде ни облачка... Нет помощи, нет бога! В селе Брдовце пусто. Тощие собаки, понуро опустив головы, бродят по дорогам, скотина мычит в хлевах, потому что нет корма, нет пастбища, а солнце палит так, что душа горит. Ката Грегорич, бледная, с помутневшими глазами, стояла перед своим домом, глядя вслед Илии, который с кумом Губцем направлялся к дому священника. Дети тянули ее за юбку и хныкали:

– Мама, мама! Дай хлеба! Хлеба! Есть хотим.

Из глаз женщины брызнули слезы.

– Погодите, – и Ката зарыдала, – я поставила хлеб в печь.

– Ого! – И из-за изгороди высунулась корявая голова Гу-

шештича. – Да у вас хлеб в печи? Скажите, какие господа! Берегитесь, как бы крестьяне не разломали вашу печь.

– Да хлеб-то какой, – ответила сквозь слезы крестьянка, – из отрубей и дубовой коры. Разве это, прости господи, божий дар? Я должна давать его детям по маленьким кусочкам, чтоб они не умерли, проглотив этакий камень.

– Я, видите ли, умнее, – заявил Гушетич, – питаюсь ракией. Правда, я украл ее в Загребе, но разве голод спрашивает, где растет хлеб? Ну, вы все-таки счастливые, а в других местах люди и за отруби готовы убить. Слушайте! Слушайте!

В утреннем воздухе раздался тонкий звон погребального колокола, и вскоре вдоль изгороди четверо крестьян пронесли гроб, покрытый черным сукном.

– Эй, кого несете? – крикнул Гушетич.

– Бистричиху. Это уже третья сегодня, а вчера их было восемь, – ответил крестьянин.

– Что с ней было?

– Да тоже, что со всеми, – ответил крестьянин, – нечего было жрать. Вчера муж привез из Штирии краюху хлеба. Ездил за десять часов отсюда. Съела она все до последней крошки и упала мертвая.

– Будь здорова, – усмехнулся Гушетич. – Да, сегодня у нас только два живых существа сыты: Тахи в Суседо да червь в могиле. Но будет праздник и на нашей улице. Прощайте, кума Ката! Да, кстати, скажите Яне, чтоб она была осторожней. Петар Бошняк увивается вокруг нее, как ястреб вокруг

цыпленка. Знаю, что она честная, но Бошняку помогает сам черт, если не сам Тахи. Может и беда случиться. Прощайте!

– За Яну я не боюсь, кум! Прощайте! – ответила Ката и вошла в дом.

В село прискакал верхом Петар Бошняк с двумя слугами; у каждого из них было по своре охотничьих собак. Перед домом старейшины Ивана Хорвата они остановились, собаки стали прыгать, выть и лаять.

– Где старейшина? – крикнул слуга, не слезая с коня.

На пороге показался хозяин.

– Собрал ли ты по селу корм для господских собак? – заорал Петар.

– Господи, боже мой! – Старейшина сложил руки. – Что вы приводите сюда псов, когда мы сами погибаем от голода? Сегодня уж троих похоронили.

– А мне какое дело? – И Бошняк засмеялся. – Я забочусь не о вас, а о собаках моего господина. Таков приказ, чтоб вы кормили собак, а откуда будет корм – меня не касается.

– Да откуда же достать его, когда мы сами гложем дубовую кору?

– Знаю я вас, канальи! Разве ваш поп не привозит вам хлеб из Загреба, разве вам не дает его госпожа Марта из Мокриц? Давайте корм для собак!

– Верно, священник привез немного хлеба, чтоб мы его роздали больным.

– Давай корм! Вперед, ребята, вали в дом! – крикнул Петар, ударив старейшину плеткой по лицу.

Слуги бросились в дом и вскоре вынесли оттуда корзиночку с черным хлебом.

– Ага! Видишь, мошенник? Дайте сюда корзинку! На! – крикнул Петар и, разломав каждый хлебец надвое, стал кидать собакам, которые бешено прыгали вокруг коней. – Нате! Кушайте на здоровье! Ха-ха! Жрите, жуйте! Вот вас поп и накормил!

Огрызаясь, собаки бросились на хлеб; со стоном старейшина закрыл рукой окровавленное лицо. А поодаль стояли крестьяне, женщины, дети, старики – худые, бледные, с открытыми ртами. Их налитые кровью глаза, которые, казалось, готовы были выскочить из орбит, уставились на это собачье пиршество. Собаки огрызаются и жуют, звонит похоронный колокол, а Петар кричит: «На! на!»

– Отец духовный, – сказал Губец Бабичу, сидя за столом в скромном доме священника, в то время как Илия, скрестив руки, стоял у окна, – дальше так продолжаться не может. Не могут господа обманывать нас больше своей правдой. Нет правды на свете. Мы по-вашему совету ждали некоторое время. Терпение лопнуло. Мы при последнем издыхании, кровь бросилась в голову, и если мы вовремя не поднимемся, то этот старый кровопийца из Суседа высосет ее до последней капли и рука наша так ослабеет, что не сможет вонзить нож в его сердце. Господа не считают нас за лю-

дей. Хорошо! А мы им докажем обратное, докажем, что это забитое крестьянское сердце ничем не хуже сердца любого вельможи; докажем им, что мы не скоты. Да, отец духовны и, знайте, весь наш край поднимет ни Сусед кирку и мотыгу. Но крестьяне поднимутся не для того, чтоб проливать кровь, а поднимутся за правду, не для того, чтобы убивать господ, но только чтоб сохранить свою жизнь.

– Дети мои, – сказал священник кротко, кладя руку на плечо Губца, – выслушайте, что я вам скажу и зачем я вас позвал. Будьте терпеливы!

Илия вспыхнул:

– Терпеливы! А до каких же пор, честной отец? Мы голые, бедные! Разве вы не видите, как народ мрет от голода? Амбары господ полны, а мы гложем кору и обязаны кормить господских собак, а если сука подохнет, то за это плати крестьянин. Господские сеновалы набиты доверху, а у нас если найдется клочок сена, то опять-таки – нам кормить господский скот; а если какая-нибудь скотина сдохнет, мы должны за это платить.

– Послушайте, – продолжал Губец, – вот что у нас случилось! У Тахи испортилась тысяча ведер вина. Стало оно кислее уксуса. Наше хорошее вино он отнял. Вдруг по целому краю разнеслась весть, что он нам будет давать вино и чтобы крестьяне приходили с бочонками; он и роздал крестьянам тысячу ведер и приказал, чтоб каждый в недельный срок заплатил по три скудо за ведро! Три скудо за бурду, когда хо-

рошее-то вино стоит всего одно скудо!. Народ вышел из себя, вылил номой Тахи и отказался платить. Но пришли слуги, кровопийцы, и за вино забрали скот, коней, птпцу – одним словом, все. Так Тахи получил свое. Тогда некоторые села поднялись. Ответом были кнут, колы, виселица. Ох, зачем мы богу молимся? Зачем нас мать родила? Зачем мы ходим по этой земле? Неужели же для того, чтоб служить тому, кто вырывает У нас сердце из груди? Нет, нет, тысячу раз нот! Если у собаки для защиты есть зубы, у кошки – когти, у ворона – клюв, то у нас есть руки, крепкие крестьянские руки, у нас есть то, чего нет ни у собаки, ни у кошки, ни у ворона, – у нас есть ум, такой же как у господ, у нас есть сердце и душа, такие же как у господ, мы созданы по образу божьему, так же как и господа, да и наш крестьянский род старше господского, и праотец наш Адам был крестьянином. Мы не хотим гуртом, как быки, бежать под топор. Мы терпели, просили, отчаивались, но не переставали думать и, думая, точили сабли. Мы все сразу ударим, одним махом. Мы не хотим служить этому дьяволу, мы убьем, раздавим его, но только его: мы же люди, христиане, мы ищем только покоя, мы хотим жить. Толкнулись в суд – Тахи стал нас грабить; толкнулись к бану – Тахи начал нас расстреливать; толкнулись к королю – Тахи стал нас вешать; а теперь, клянусь богом, мы поступим железным кулаком в дверь к богу. Может быть, он-то не потерял сердца?

– Да простит тебе бог эти слова, – сказал священник спо-

койно, опустив голову, – потому что это крик раненой души. Каждое твое страдание откликается в моем сердце, каждая твоя слеза вызывает у меня ответную. И я родился под крестьянским кровом, и я ваш и божий. Да, дети мои, вы мученики; но верьте, божья правда не спит, а недремлющим оком учитывает все деяния людей, и когда мера переполнится, настанет ночь суда, а заря принесет спасение. Не мстите сами; бог справедлив, но он же и карает. Пусть он судит. Кто претерпел больше сына божьего? Но и он, умирая, простил своим врагам. Подумали ли вы, что будет с вами, с вашими женами и детьми, со всем народом, если вы поднимете на господ смертоносное оружие? Перебрали ли вы в уме все ужасы?

– Да, – ответил холодно Губец, – будет плохо, но хуже, чем теперь, не будет. Мы все обдумали, и все кметы от Крапины до самого Ястребарского уже сговорились, да и народ по ту сторону Сутлы, что под кнутом немецких господ, думает одинаково. Господа, понятно, ничего не подозревают, потому что мы это сохраняем в глубокой тайне. Мы не разбойники, а честные люди, но мы не хотим служить Тахи, а хотим вернуться к старым господам. Таково наше твердое решение.

– И пусть даже небеса на нас обрушатся, – добавил Григорич, – так должно быть!

– Так и будет! – сказал старый священник. – Я затем и призвал вас. Но пусть будет без крови. Я побывал в Загребе у господина бана, епископа Драшковича, и рассказал ему,

какие вы терпите муки. Он очень вас жалеет. Он обещал мне написать его королевскому величеству и сказал, чтоб и вы послали двух выборных к королю. Кроме того, он мне сказал, что второй господин бан, князь Франкопан, поедет в Вену и на словах передаст королю о всех ваших страданиях и будет просить, чтоб вас вернули старым хозяевам. Так, значит, и сделайте. Выберите двоих, а письмо королю я напишу сам, чтоб все было толково и ясно. Бог даст, обойдется и без кровопролития.

Губец задумался на минуту, потом сказал:

– Дай бог, чтоб все обошлось без кровопролития! Ох, как бы и мне этого хотелось. Сколько раз читал я книгу вечной правды и любви и учился по ней честности, справедливости и почтительности. Душа моя очистилась, сердце обновилось. И когда в беде и в отчаянии ко мне обращался народ с возгласом: давай колоть и резать, я говорил: потерпите, не может быть того, чтоб правда умерла. Я хочу мира, но сердце подсказывает, что наступают кровавые дни. У господ нет совести. Однако пусть будет по-вашему, но только из уважения к вам. Мы пошлем выборных. Посмотрим, может быть, божья рука скинет пелену с глаз короля, может быть! Ну, а если не поможет? – И Губец вскинул голову.

– Да свершится воля божья! – ответил священник, скрестив руки.

– И наша месть! – подняв кулак, закончил Илия.

Кумовья вернулись в дом Илии, и луна была уже довольно

высоко в небе, когда Матия распрощался с Илией, чтоб идти домой. На пороге он сказал ему:

– Так будет лучше всего, кум! Самим нам идти нельзя. Мы должны остаться здесь и следить за народом, чтоб кто-нибудь не изменил или в исступлении не обагрил бы свои руки невинной кровью. Я предлагаю послать Матию Бистрича отсюда и Ивана Сврача из Пущи. Это люди толковые.

– Хорошо, – сказал Илия, – но подождем еще несколько дней; завтра я буду в Жумберакe, посмотрю, не вернулся ли из Турции мой брат Ножина и не привез ли вестей о Могаиче. Он уже больше двух месяцев как ушел. Надо также узнать, что думают ускоки. По пути я заеду к Степко Григорианцу в Мокрицы. Он уже три раза присылал за мной.

– Иди, иди, кум Илия, – сказал Губец, – а потом дай мне знать. Я пошлю к тебе Пасанца, потому что мне нехорошо показываться здесь часто. Соглядатаи Тахи могут что-нибудь заподозрить. Но прежде чем ты уйдешь, не забудь сказать Яне, чтоб она с Юрко перебиралась ко мне, если возможно, на следующей неделе. Так для нее будет лучше. Ты слышал, что сказала Ката. Так, так! Прошу тебя также, следи за людьми, чтоб не грабили, не поджигали. Мы добиваемся своего права и потому не должны сами чинить неправду и зло. А теперь покойной ночи, кум!

– Счастливо, кум! – ответил Илия, и Губец пошел напрямик к реке Крапине, переехал на другой берег и направился к Стубице.

Дул сильный южный ветер, стаями гоняя по небу свинцовые тучи. Было мрачно, как в могиле, и стояла невыносимая духота. Тучи громоздились одна на другую, пока все небо не покрылось темной завесой, так что на нем не было видно ни малейшего голубого клочка. Потом начали падать крупные капли дождя, все чаще и чаще, и наконец сплошной стеной полил ливень. Листья задрожали, деревья стали расправлять свои ветви, в руслах ручьев забила белая пена, гуси выбежали из дворов, весело подняв головы и широко расправив крылья, а бедовая детвора подставляла свои светлые головки под дождевые струи. Целых два часа дождь лил как из ведра, потом показались солнечные лучи и озолотили края серых туч; золотыми зернами падали дождевые капли – все реже и реже. На порог Юркиной избы вышла Яна и, держась за притолоку, стала смотреть на небо. Она была так же свежа, как раньше, только вместо резвого и беспечного огня первой молодости на лице ее теперь отражалась какая-то тайная грусть, а уголки ее сочных губ иногда вздрагивали от горькой усмешки, изобличавшей тайное, неискоренимое страдание и глубокую скорбь.

Перед избой появился верхом приказчик из Суседа и сказал:

– Яна, хозяин приказал всем девушкам из Брдовца прийти

завтра окапывать кукурузу у Крапины.

– Девушкам? – спросила с удивлением Яна.

– Да, потому что мужчины ленятся; да твоя изба и так не могла бы послать мужчину.

– И я должна идти и оставить слепого отца?

– Да, и ты, таков приказ.

– Ладно, ладно, кум, приду. Прощайте!

Приказчик уехал, а девушка вошла в избу и сказала старику.

– Отец! Вам придется завтра пойти в гости к Илии. Я должна идти на работу, и вы не можете оставаться целый день один.

– Почему ты должна идти? Что это значит? – спросил старик, подняв голову и широко раскрыв угасшие глаза.

– Таков приказ. Ну ничего! Завтра пойду окапывать кукурузу, а послезавтра переселимся к Матии.

Старик опустил голову, обдумывая что-то.

– Яна, Ножина еще не вернулся?

– Не знаю, отец; я уже три раза справлялась у Илии, говорят, еще не вернулся из Жумберака. Не хочу и думать об этом, – продолжала девушка, утирая слезу. – Ах, отец, я надеюсь, я жду год за годом, а его все нет. Такова уж моя доля... но лучше молчать, – вздохнула Яна, прижимая руку к сердцу. – Джюро мой, Джюро мой! Видишь ли ты это солнце, на которое я гляжу? Теперь я все напряла, теперь все готово, а моя свадебная рубашка желтеет в ларе.

– Ну, а если Джуро не вернется? – спросил старик. – Ты бы не...

– Пошла за другого? – подхватила быстро Яна. – За Петара, что ли? Не говорите этого, отец! Одному дала слово и буду его или ничьей. Даже приди все ангелы небесные, и те не смогли бы меня подкупить. Я своего сердца не продаю.

– Ну, ладно, ладно, – старик закивал головой, – пусть будет по-твоему.

Стояло прекрасное, ясное утро. Освежившаяся листва дрожала под дождевыми каплями, птицы резво носились в воздухе, человек дышал полной грудью, как бы стараясь вдохнуть побольше жизни. На поле у Крапины крестьянские девушки окапывали мотыгами низкую зеленую кукурузу. Белеют рубахи, краснеют пояса; от мерного движения, которым они, то нагибаясь, то выпрямляясь, вонзают блестящую мотыгу в черную землю, их косы также равномерно ударяют им по спине. И Яна с ними, во она румянее и крепче других. Ее голые полные руки легко и ловко опускают мотыгу; девическая грудь вздрагивает. Девушки поют, и песня медленно стелется по равнине и теряется в горах; но Яна молчит, Яна смотрит в землю, словно онемела. Близится полдень. Из Суседа прискакали двое верховых. Девушки подняли головы.

– Хозяин едет, – пронесся по рядам шепот.

И правда, это был Тахи, а с ним слуга Петар Бошняк. Лицо старика побледнело и распухло и было все покрыто морщинами, глаза, с темными мешками, горели, губы кривились

как от боли. Яна подняла голову. Заметила Петара. Покраснела, словно кто-то ей всадил раскаленный нож в сердце. И снова принялась за работу. Господин Тахи проезжал на коне по рядам работниц и доехал до Яны. Петар прищурил один глаз и показал на нее пальцем. Тахи сдвинул брови, глаза у него загорелись, и он кивнул.

– Слушайте, – сказал Тахи, – сегодня можете обедать в Суседе; знаю, что дома у вас нет хлеба. Да вы и заслужили.

В это время в Брдовце пробило двенадцать. Девушки, побросав мотыги, перекрестились.

– Ну, теперь идите в Сусед, – продолжал Тахи, – вы хорошо поработали. Но чтобы все шли, я так хочу.

У Яны сильнее забилося сердце, но она положила мотыгу на плечо и, опустив голову, пошла вслед за остальными.

После обеда стали возвращаться на работу. Медленно выходила толпа крестьянок из ворот замка. Яна тоже готовилась выйти. Но в эту минуту перед ней вырос высокий слуга и сказал:

– Девушка, погоди-ка маленько!

– Уйди с дороги, – ответила Яна, – я не люблю шуток: я спешу на работу.

– Остановись, говорят тебе! – повторил слуга и потянулся к ней, но девушка, покраснев, отскочила и, замахнувшись мотыгой, гневно крикнула:

– Прочь с дороги, не то я тебя мотыгой!

Но в ту же минуту другой слуга вырвал у нее из рук мо-

тыгу, а Петар Бошняк, ухмыляясь, закрыл ворота замка.

– Пустите меня, злодеи! – закричала девушка, дрожа от страха.

– Не бойся меня, голубушка, – усмехнулся Петар, – тебя зовет уважаемый хозяин.

– Хозяин? Лжешь! Что ему от меня надо?

– Да у него с тобой какие-то счеты, – сказал Петар, ухмыляясь, и мигнул слугам.

В одну секунду один из них накинуд на голову Яне мешок, подхватил и понес ее в замок, в покои господина Тахи. Заложив руки за спину, хозяин поджидал их в первой комнате. Глаза его горели, губы дрожали. Девушка стонала и сопротивлялась. Тахи мигнул. Грубыми руками Петар содрал с нее одежды, оставив только тонкую рубашку. Тахи сделал знак рукой. Слуги вышли. Девушка сорвала с головы мешок. Горячий румянец стыда разлился по ее лицу. Ресницы дрожали, глаза гневно сверкали, рот был открыт. Как молния, она бросилась в угол и сдвинула плечи, прикрывая руками оголенную грудь. Тяжело дыша, неподвижным взглядом смотрела она исподлобья на Тахи. А он? Он стоял не говоря ни слова, как окаменелый. Брови его ходили ходуном, ноздри раздувались, глаза горели, а на лбу билась жила. Расставив ноги, руки заложил за спину. В комнате тихо, не слышно ничего, кроме дыхания. Вдруг изверг рванулся, как рысь, и, с пылающими глазами, бросился на девушку. Яна задрожала, взвизгнула и, подняв руки, ударила безумца кулаком по ли-

цу. А он руками сжал ноги девушки, как железными клещами, и поднял ее над головой.

– На помощь! – вопила несчастная и, запустив пальцы в его волосы, стала их рвать, скрежеща зубами и извиваясь, но он еще крепче сжимал ее ноги.

– Хо-хо! – расхохотался Тахи. – Напрасно, голубушка! – Он понес девушку в смежную комнату и затворил дверь.

Замок огласился душераздирающим криком... Услыхав его во дворе, Петар Бошняк сказал своему приятелю:

– Дрмачич все-таки умница; эта идея родилась в его башке. Теперь она, наверно, станет податливее.

Илия, вернувшись с дороги, сидит за столом. В угол забился Юрко. Опустив голову, озабоченный, он ждет Яну; в дверях стоит Ката, всматриваясь в даль: не идет ли девушка. Ночь, луна. Южный ветер гонит по небу светлые облака и со свистом сгибает ветви деревьев. «Ха! ха! ха!» – доносится сквозь завывание ветра страшный смех. За изгородью вприпрыжку бежит женщина. Босая, полунагая. Черные волосы и белая рубашка развеваются по ветру. Поднимает руки и хохочет: «Ха! ха! ха!» И бежит прямо к дому Илии.

– Господи боже мой! – вскрикнула Ката и, перекрестившись, вбежала в комнату.

– Что такое? – Илия вскочил, а Юрко поднял голову.

На крыльце послышались шаги, и в комнату вбежала полуголая и растрепанная, бледная и осунувшаяся Яна! Оста-

новилась посреди комнаты. Тело ее вздрагивало, глаза блестя, и она ими ворочала, словно одержимая. Опустила голову, захлопала в ладоши и разразилась смехом:

– Ха, ха, ха! Я Дора Арландова. Дора! Дора! Ха! ха! ха!

И закружилась на одной ноге, и кружилась так, хлопая в ладоши, пока не грохнулась, как мертвая, на пол.

Ката вскрикнула, Илия бросился к девушке, а Юрко встал, широко открыл невидящие глаза и застонал:

– Яна! Моя Яна! Где ты?

В комнату госпожи Уршулы вбежала Анка Коньская. Она была необычно возбуждена.

– Мама, – сказала она поспешно, – сию минуту прибыл в Загреб служащий из Брезовицы.

– Что случилось? – спросила Уршула взволнованно, побледнев.

– Господин Амброз скончался, – ответила Анка.

– Умер! – прошептала Уршула и склонила голову на грудь.

– То, чего мы боялись уже с месяц, – свершилось; горячка его убила.

– Анка, – сказала Уршула, поднимая голову, – сошла в могилу моя самая сильная опора.

– Да, – согласилась госпожа Коньская. – Мама! Плохо вам будет, если вы не воспользуетесь этим случаем. Тахи немного смягчился, Амброз умер, возьмитесь скорее за дело в закончите его разом.

– А моя клятва? – сказала мать, вздрогнув.

– Она вас больше не связывает! И так уже через несколько месяцев минет три года, да, кроме того, даю вам честное слово: Милича нет в живых.

– Погиб? Неужели? Кто тебе сказал?

– Доверенный Аланича – Дрмачич. Обеспокоенная будущим моей сестры, я его вторично отправила в Турцию. Он

побывал в Баня-Луке. Дрмачич узнал от очевидцев, что во время бунта были убиты все пленники-христиане, в том числе Милич и Мogaич. Дрмачич был и на могиле Милича. Таким образом, у тебя руки развязаны.

– Где ж этот человек, где? – спросила взволнованно Уршула.

– Привести его?

– Приведи!

Коньская вышла и вскоре привела за руку Софию, а следом за ними вошел Дрмачич и остановился у двери, поглядывая исподтишка то на Уршулу, то на Софию, которая села подле матери и с беспокойством смотрела на оборванца.

– Ваша милость, – и ходатай поклонился, – соблаговолили призвать меня, недостойного грешника.

– Да, – сказала Уршула, – и ты знаешь почему?

– Знаю, – ответил Шиме, изобразив на своем лице печаль, – по поводу господина Милича.

– Милича? – воскликнула София, покраснев, и вскочила на ноги, но мать схватила ее за руку и силой посадила на стул.

– Что ты знаешь? – спросила Уршула.

– Эх, знаю-то я все, да лучше б ничего не знать, – и Дрмачич опустил голову. – Хоть я и пропащая душа, но и во мне бьется христианское сердце. Милич был в плену в Баня-Луке.

– Жив? – радостно встрепенулась София.

– Нечестивые турки, – продолжал Шиме, – так угнетают бедных христиан, что сердце кровью обливается. Милич, эта благородная душа, все это видел своими глазами. И по его совету христиане сговорились, что Милич станет во главе их и что однажды ночью они нападут на злодеев. Будь проклят изменник! – И ходатай ударил ногой о пол, в то время как София, не спуская с него глаз, дрожала мелкой дрожью.

– Да, – продолжал Шиме слезливым голосом, – выдал их один товарищ, христиане попали в рабство, а Миличу...

– Что с ним? – вскочила София, протянув обе руки к Шиме.

– Отрубили голову! – ответил тот, спокойно посмотрев на девушку.

– Ой! – отчаянно вскрикнула София и без чувств упала на руки сестры.

– Кто это тебе сказал? – строго спросила Уршула.

– Бедный монах, который похоронил останки достойного героя.

– Это правда?

– Клянусь моим спасеньем! – И ходатай поднял кверху три пальца.

– Ступай! – Уршула махнула рукой и подошла к Софии, которую Анка уложила на кровать.

– Пока хватит, мама, – шепнула Анка, – побудьте с ней, обморок пройдет. – Потом, повернувшись к ходатаю, сказала: – Пойдем со мной, я тебе дам письмо, которое ты отне-

сешь господину Алапичу в Буковину.

Маленький Шиме Дрмачич сидит на ивовом пне на берегу Савы и по пути в Буковину подкрепляется. Он медленно вытаскивает из кармана фляжку ракии и прикладывается два, три раза. Но из кармана вместе с фляжкой тянется также письмо и падает на землю.

– Ого! Чуть было не потерял, – пробормотал ходатай. – На, сиди тут! – И он положил письмо на шляпу, лежавшую рядом с ним на траве.

На этот раз Дрмачича мучила такая жажда, что он осушил всю фляжку и, по своему обыкновению, начал философствовать. Теперь предметом его размышлений было: почему София вскрикнула при известии о смерти Милича? Взгляд его случайно упал на письмо. Вот откуда можно было бы все узнать. Он протянул руку, но быстро ее отдернул. Задумался. Эх! Была – не была – была, – гадал он по пуговицам; потом быстро распечатал письмо и прочел следующее:

«Egredie domine!

Вы, конечно, знаете, что Амброз умер; теперь легче устроить свадьбу Гавро Тахи с моей сестрой, которая через Дрмачича уже знает о смерти Милича. Действуйте вы с вашей стороны, а Степко со своей. Тахи все еще медлит. Спешу вам сообщить, что кметы вокруг Суседа очень волнуются. Это мне передал на днях Степко. Не слишком об этом беспокойтесь, эта беда скоро минет; мы легко подавим восстание, но нам оно будет на руку,

потому что старый волк смягчится. Поэтому сделайте, как считаете лучше. После похорон Амброза моя мать поедет в Мокрицы к Степко, чтобы оттуда вести подкоп против Суседа. Это к сведению, вместе с приветом и поклоном.

Готовая к услугам

Анна Коньская.

из Концины».

– Ого! – воскликнул Дрмачич, вскакивая на ноги, – Тахи и Уршула заключают мир за моей спиной, и Тахи будет продолжать сидеть в Суседе? Хорошо, что я это узнал. Надо будет позолотить свою третью пуговицу. Ха! Ха ха, – засмеялся он, – и господа, значит, умеют обманывать? Вене! Теперь надлежит переменить курс.

Ходатай засунул письмо за пазуху, переехал на другой берег Савы, но в Буковину не пошел.

В духов день 1572 года тихая ночь спустилась на край; слышится только плеск Савы, на которой дрожит бледный свет луны. У самой воды, немного дальше Запрешича, скрытая густыми высокими вербами, стоит старая, запущенная мельница. Много лет назад беглые солдаты убили тут мельника. С тех пор мельница пустует, и народ обходит ее далеко кругом. Зияют открытые окна, а вода громко плещется около деревянных развалин. В окна мельницы, сквозь кусты и ветви, пробиваются слабые лучи луны. Внутри двигаются какие-то призраки, слышится шепот, – можно подумать, что там сборище ночных духов! На расстоянии выстрела от мельницы, под кустом, виднеется что-то похожее на бревно, но оно по временам шевелится, и тогда можно различить лежащего на земле человека, который изредка приподымается, чтобы прислушаться. А на мельнице шепчутся не духи, а живые люди. Посередине, на жернове, сидит Матия Губец. Он осунулся, лицо его посерело, но спокойно; глаза горят странным блеском. Около него, на полу, подперев лицо коленями, сидит на корточках Илия Грегорич. Он молча глядит перед собой. Перед Губцем лежит на животе Гушетич и злорадно усмехается.

На опрокинутой бочке примостился детина с короткими волосами – Иван Сврач из Пущи, рядом с ним стоит сухой,

маленький рыжий человек с острым носом: Матия Бистрич из Трстеника на Сутле. В углу к стене прислонился худой, высокий человек в куньей шапке – Иван Туркович из Запрещича, а позади Губца выпятил грудь плечистый черномазый парень с суровым лицом и живыми глазами – кмет Пасанац из Стубицы.

– Братья, – спокойно начал Матия Губец, – в эту тихую ночь собрались мы, чтобы по-братски, по-человечески договориться. Вы все знаете, что мучает и тревожит нас, кметов, в соседских и стубицких владениях. Пошел уже восьмой год, как господин Тахи насилуем и обманом прогнал старых господ, восьмой кровавый год мы, как распятые мученики, живем на этой жестокой, неприятной земле. Мы мучились, а Тахи использовал наши страдания, мы работали в поте лица – и все это только на пользу Тахи. Он ел наш хлеб и наш скот, ковал нам цепи, наносил нам кровавые раны, рубил нам головы, жег наши дома и пускал наших вдов по миру. Когда настал голодный год, мы должны были кормить его собак. Подавали мы в суд, но для крестьян суда нет; обращались к бану, но он не сдержал своего обещания; дважды ходили мы к самому королю, открыли ему наше израненное, истекающее кровью сердце и сказали, что предпочитаем лучше служить дьяволу, чем Тахи. Король послал комиссара, мадьярского епископа; месяц тому назад он нас допрашивал, и мы опять выложили ему все наши горести и невзгоды. Что же сделал епископ? Передал нашу жалобу местным дворянам,

среди которых Тахи верховодит. Господин епископ послал ягненка на исповедь к волку! На своем саборе в Загребе господа решили, что суд должен нас гнать и вешать, как разбойников, и изгнать нас из общества христиан. Кроме того, господа постановили, чтоб мы, крестьяне из Суседа и Стубицы, шли строить крепость Иванич, чтоб мы оставили плуг, жен и детей. И это теперь, после того как в течение нескольких лет нас разорял град, мороз, наводнение и холод, теперь, когда земля, наконец, после долгого перерыва ждет, чтоб иаши мозолистые руки собрали ниспосланные нам богом дары. Но это еще не все! Мы давали кровопийце забирать наш хлеб, вино, скотину, дома, даже наши головы, но не можем терпеть, чтоб этот зверь насилывал наших жен и дочерей. Этого мы ему никогда не простим!

Губец вскочил, лицо его пылало, а глаза горели священным огнем.

– Никогда! – заволновались крестьяне.

– Походите по селам, – продолжал Губец, – и послушайте плач обесчещенных девушек. Мы говорили об этом комиссарам, а они хоть бы что. Посмотрите на Яну, единственную опору слепого Юрко; она сошла с ума. Нет, мы не хотим быть скотиной, не хотим, чтобы с нашей крестьянской кровью смешивалась проклятая кровь Тахи. Земля стала нам чужой, небо померкло, правда нас покинула! Так поднимемся же, братья, все как один – единым духом, единым сердцем, единой волей.

– Подымайся! – загремели крестьяне.

– Поклянитесь разбить оковы кровопийцы.

– Клянемся!

– Поклянитесь кровью Иисуса Христа стоять друг за друга, как брат за брата, в счастье и в несчастье.

– Клянемся!

– Поклянитесь мстить только виновнику, уважать чужое добро, убивать только в бою и успокоиться, когда мы прогоним Тахи!

– Клянемся! – единодушно воскликнули крестьяне, подняв руки.

В это мгновение послышался продолжительный свист. Все вскочили. К берегу пристала большая лодка, из которой вышли мужчина и женщина. Оба были закутаны в длинные плащи. Они вошли на мельницу. Сверкнувший в окно месяц осветил стоявших в кругу крестьян Степко Грегорианца и Уршулу Хенинг.

– Здравствуйте, – сказал Степко, – я пришел с госпожой Уршулой, как было условлено. Согласны ли вы подняться на Тахи?

– Согласны, – ответил Губец.

– Выгнать его и водворить старых господ?

– Да. Так решил весь край от Стубицы до Самобора, от Стеневца до Сутлы.

– Крепко ли ваше слово?

– Крепко, клянусь богом, – сказал Губец, кладя руку на

сердце.

– Покуда вы с нами, и мы будем с вами! Покуда вы будете с нами по-честному, и мы будем честны с вами.

– А когда вы думаете подняться? – спросила Уршула.

– Это трудно сказать, – ответил Губец, – надо все подготовить как следует, чтобы выступить всем сразу.

– А где вы думаете начать? – спросил Степко.

– Не спрашивайте, господин, – ответил Илия, – это уже наше дело и наш уговор. Для вас ведь главное, чтоб все было сделано.

– Есть ли у вас оружие? – спросил Степко.

– Есть немного, – ответил Губец.

– Я вам пришлю, – сказала Уршула, – а свинец и порох?

– Мало.

– Вот вам сто серебряных скудо, купите, – поспешно сказала Хенинг, передавая Илиии кошелек. – Ну, а если обманете и не подниметесь?

– Не бойтесь, – усмехнулся Губец, – нам уже стыдно, что мы не сделали этого раньше, а если и теперь не поднимемся, то нас и за людей не стоит считать.

– Это верно, – сказала Уршула, – итак, не сдавайтесь, не уклоняйтесь. Грабьте, разрушайте. Тахи не должен быть вашим хозяином. Надейтесь на нас, мы вам желаем добра и всячески вам поможем. Даю честное слово! Мы и приехали сюда, чтобы заверить вас в этом!

– Но держите язык за зубами, – продолжал Степко, – не

упоминайте наших имен.

– Только если нам вырвут сердце, то смогут найти в нем ваши имена, – сказал Губец.

– Долой Тахи! – И Уршула протянула руку Губцу.

– Долой! – И кмет пожал руку дворянки.

– Да будет так! Бог нам судья! – добавил Илия Грегориич.

Тихо крадучись меж кустов, приезжие спустились к берегу, и лодка перевезла их на другую сторону.

– Братья, – сказал Губец, – каждый из вас знает свое место. Я знаю, что весь народ наготове, как заряженное ружье, но все же еще потребуются убеждения и уговоры. Обойдите каждое село, действуйте, но так, чтобы ничего не было заметно. Пусть каждый будет – как могила. Избегайте слабых или недостойных, чтоб они нас не выдали.

– Губец, – сказал, поднимаясь, Пасанац, – ты умнее нас всех, ты человек справедливый, грамотный. Каждый носит в своем сердце твое имя. Мы поднимаем войско, но разве может оно быть без головы. Братья! Пусть нас ведет Матия Губец, пусть он будет нашим вождем! Хотите ли его?

– Хотим! Да здравствует наш вождь Губец! – крикнули все в один голос.

– Хорошо! Я поведу вас, – проговорил торжественно Губец, подняв руку, – я поведу вас в бой за старую народную правду и не покину вас до последнего издыхания. Клянусь богом!

– Ха! ха! ха! – раздался издевательский хохот, и в дверях

появилось сухое лицо Дрмачича, освещенное луной.

– Измена! Дрмачич! – Крестьяне вскочили, и вмиг засверкали десятком острых ножей.

– Вот так храбрецы! Ну, убивайте меня, – и ходатай рассмеялся, – я ведь один. Пронюхал про ваше собрание и пошел по вашим следам. Мог вас выдать. Вас бы повесили. Но я этого не сделал. Хочу быть с вами, чтоб отомстить старому кровопийце за тяжелые раны и побои. Пусть за каждую рану получит во сто крат. Клянусь богом, я ваш! Но что вы затеяли? Хотите вернуться к старым господам? Вепе! Променять лошадь на осла? Покуда существует господская порода, до тех пор будет литься крестьянская кровь и крестьянские слезы. Долой господ! Всех передушить!

– Молчи, – сказал Губец, – мы не разбойники.

– Ой, ой, крестьянский мудрец, – усмехнулся Дрмачич, – а знаешь ли ты, что Уршула и Тахи заключили мир за вашей спиной, что София выходит за Гавро и что Тахи и Уршула останутся в Суседе?

– Лжешь! – крикнул Губец, побледнев, а крестьяне бросились на Дрмачича.

– Прочитай, Губец! Ты ведь грамотный, – спокойно сказал ходатай и протянул ему письмо Анки.

Крестьяне зажгли лучину. Губец стал читать и побледнел. С горящими гневными глазами он крикнул:

– Да, Дрмачич, ты наш! Все правда, братья! Старые господа сговариваются с кровопийцей против нас. О, черное ко-

варство господ! Наше восстание должно было открыть дорогу такому союзу. Проклятие изменникам, которые только что дали нам честное слово, в то время как в сердце у них была змея. Вставайте! Долой господ! Пусть живет одна только правда! Наша свобода!

– Наша свобода! Будем жить для нее и умрем за нее! – с подъемом воскликнули крестьяне, и, под таинственный шум мельницы, в серебряных лучах луны, эти угнетенные борцы за божью правду и за человеческое достоинство подали друг другу руки.

У окна замка Мокрицы сидит София Хенинг. Она очень осунулась. Под бледной кожей ее нежного лица синеют жилки. Волосы в беспорядке падают на плечи, мутный взгляд устремлен в пол, и только изредка поднимает она глаза, окидывает на миг дивный вид, расстилающийся перед ней, и смотрит на восток. Своей маленькой ручкой она хватается за сердце, на длинных ресницах трепещет слеза, и она крепче сжимает бледные губы. Госпожа Уршула привезла сюда Софию для того, чтобы она поправилась, так как весть об ужасной смерти Милича была для девушки страшным ударом. Но вслед за матерью и сестрой приехала и госпожа Коньская, чтобы довести до конца свою хитрую затею. Целыми днями София сидит молча, уставившись в одну точку, а долгими ночами смачивает свою подушку горячими слезами. Только изредка спускается она с сестрой Мартой в парк, чтоб утишить свою боль нежным благоуханием цветущих деревьев.

В комнате сидят Уршула и госпожа Анка.

– Дорогая моя дочка, – сказала госпожа Уршула, погладив лоб своей грустной дочери, – послушай меня. Мне надо поговорить с тобой, и поговорить очень серьезно. Ты добра и послушна и, я надеюсь, покоришься материнской воле.

– Говорите, мама, – ответила тихо девушка, разглаживая складки своего платья.

Мать продолжала:

– Пока была хоть капля надежды, что твой несуженый жених может вернуться, я ждала спокойно, не желая прикасаться к твоему сердцу, хотя я уже давно потеряла всякую надежду. Я как-то начала тебе говорить, что надо было бы подумывать о другом замужестве, но ты рассердилась, и я замолчала. Теперь дело иное, теперь мы знаем, что несчастный молодой человек лежит в земле, а мертвые из могил не встают...

Госпожа Уршула на минуту умолкла. София стала дышать быстрее и разразилась рыданиями. Подождав, Уршула продолжала:

– Довольно уж невеста наплакалась о покойном возлюбленном.

– О вечном возлюбленном, – София продолжала рыдать.

– Хорошо, скажем – о вечном! Ты знаешь, как он был хорош и добр, и я уверена, что ты никого в жизни больше не полюбишь...

– Никогда! – простонала девушка.

– Но если б твой милый, который смотрит на нас с небес, мог бы говорить, он сказал бы тебе: «Слушайся своей матери!»

– Что ты от меня хочешь? – И девушка широко открыла глаза.

– Чтобы ты принесла свою вечную любовь в жертву на алтарь возвышенный и благословенный, – проговорила госпожа Коньская, молча стоявшая за стулом Софии.

– Не понимаю.

– Ты должна выйти замуж, – сказала Анка кротким голосом.

– За кого? – спросила быстро девушка.

– За Гавро Тахи, – спокойно ответила Уршула.

– За Га... за сына кровопийцы и злодея? – Смертельно побледнев, София вскочила. – Да вы сошли с ума!

– Да, за сына Тахи, – решительно сказала Анка.

– Стать рабыней незнакомого, нелюбимого человека, чей отец – кровный враг моей семьи?

– Да, – сказала Анка.

– Никогда! Никогда! – И София замахала руками.

– А знаешь ли ты, сестра, – спросила Анка, – сколько бессонных ночей твоя мать проплакала из-за насилий Тахи?

– Знаю.

– А разве ты не хочешь, чтоб твоя мать снова весело смеялась и спокойно жила в своем имении и в своих владениях?

– Хочу, от всей души хочу!

– Хочешь ли ты, чтоб проклятое ярмо кровопийцы было сброшено с измученного народа, чтоб твои слезы высохли и чтобы тысячи матерей, жен, детей и стариков благословляли тебя? Хочешь ли, София?

– Хочу, – ответила удивленно девушка, – но как...

– Если ты выйдешь за Гавро Тахи, то старый кровопийца покинет эти края, вернет имение твоей матери и ты будешь жить у нее со своим мужем. От твоей жертвы зависит наше

спасение.

С поникшей головой, тяжело дыша, не говоря ни слова, София стояла посреди комнаты.

– Ты колеблешься? Ты не веришь? – спросила Анка. – Хорошо... Сейчас увидишь.

Госпожа Коньская быстро отворила дверь в соседнюю комнату.

– Войдите, господа! – позвала она.

В комнату вошли Степко Грегорианец и Гашо Алапич.

– Кто вас посылает, благородный господин? – спросила Анка.

– Фране Тахи, – ответил горбун.

– Но какому делу?

– Объявить госпоже Уршуле, что Тахи вернет ей все имение за вознаграждение и покинет эти края, если София Хеннинг выйдет замуж за молодого Гавро Тахи.

– Слышишь, сестра, – сказала Анка, – ты еще колеблешься?

– София, соглашайся! Ради матери! – прибавил Степко.

– София! Дочь моя! – воскликнула Уршула, взяв девушку за руку. – Неужели ты не любишь свою мать?

Девушка схватилась за сердце. Потупя взор, она закачала головой и, всплеснув руками, разразилась громким отчаянным плачем.

– Да, да, да! Вы мне ранили сердце, нате, вот оно, растопчите его! Я пойду за сына кровопийцы, я принесу себя в

жертву ради несчастного народа! Берите меня! Убейте меня! Я пойду... но теперь отпустите меня! – И девушка в отчаянии бросилась к дверям.

Тут она столкнулась с входившей Мартой.

– Марта! Сестра! Родная! Уведи меня с собой, на воздух, уведи, ради бога... иначе я с ума сойду!

Сестры спустились в парк. Сквозь слезы, вздохи и причитания девушка все рассказала сестре, и Марта заплакала вместе с ней. Они дошли до того места, перед беседкой, где София в первый раз подала руку Миличу, где на ее губах впервые расцвела улыбка любви. Глубоко вздохнув, девушка положила голову на грудь Марты и сказала:

– Тогда день клонился к вечеру, и сейчас тоже уже начинает темнеть. Я стояла вот тут, а он там. Цвели цветы, пели птицы, нам улыбалось голубое небо. Он говорил, и каждое слово его падало мне в душу, как капля росы на алую розу. И он сжал мою руку. Ох, тогда словно небо раскрылось передо мной. А теперь? Теперь небо меркнет и цветы вянут; я стою на том же месте, но сердце мое сосет змея; меня продали, принесли в жертву. А... он? Ох, сестра, – зарыдала София, бросаясь на грудь Марте, – я его никогда больше не увижу... никогда.

Марта взяла руками голову сестры, поцеловала ее, и крупные слезы, как роса, закапали на золотые локоны Софии.

– Оправься, – вдруг шепнула Марта, – слышишь конский топот?

София оглянулась.

– Пойдем в замок, – сказала она.

– Посмотри, – проговорила Марта, – трое всадников слезают с коней. Как будто военные, приближаются сюда. Уйдем.

Сестры быстрыми шагами вернулись в замок, в комнату Уршулы, где господин Алания, старая Хенинг, Анка и Степко обсуждали брачный договор.

– Степко, – сказала Марта, входя, – какие-то воины идут сюда.

– Какие воины? – спросил Степко.

Но едва он успел проговорить эти слова, как в дверях показались три бородатых вооруженных человека, из которых один был одет, как ускок.

Все встали и с удивлением смотрели на них.

– Слава Иусу! – дрожащим голосом проговорил первый из вошедших – бледный, красивый мужчина.

София вздрогнула. Как громом пораженная, она шагнула вперед. Широко открыла глаза, кровь бросилась ей в лицо, она закачалась и задрожала мелкой дрожью.

– Кто вы? – строго спросил Степко.

– Томо Милич, – ответил незнакомец.

Все остолбенели.

– Милич! Ты... ты, – воскликнула София, вся преображаясь, – да, да, ты... ты! Ох, родной мой, ох, радость моя!

И девушка, подбежав к Томо, обвила его шею руками и

положила голову на грудь героя, а он обнял ее правой рукой, поцеловал в лоб и сказал торжественно:

– Госпожа Уршула! Томо Милич привел Джуро Могаича. Томо Милич исполнил ваш завет, София моя.

– Да, да, твоя, – воскликнула девушка, плача от радости и прижимаясь еще крепче к его груди, – нет той силы, которая отняла бы меня от тебя. Дай погляжу – ты ли это? – продолжала она, охватив его голову обеими руками. – Да, это ты, мой единственный, мой возлюбленный! – И, плача, она целовала его глаза.

– Здравствуйте, господин Милич, – приветствовала его Уршула холодно. – Вы сильно изменились, и я не сразу вас узнала. Да, согласно моей клятве, София ваша. Вы ее заслужили. Но ведь очевидцы сказали, что вы погибли в Баня-Луке, не так ли, Анка? – И Уршула обернулась строго к дочери. – А теперь я вижу, что эти очевидцы солгали, не так ли, Анка?

– Да, – едва слышно прошептала Анка, смертельно побледнев.

– Солгали, благородная госпожа, чтоб лишить меня сокровища, ради которого я пожертвовал жизнью, но милость божья и храбрость этого честного ускока нарушили все их темные замыслы. Когда вы послали меня за молодым Могаичем, я пошел по его следам с намерением его выкупить. Но подлый турок и меня сделал пленником. Я был рабом, я погибал... ох, долгое, долгое время; все, что человек может вы-

страдать на этом свете, все я испытал. Проходили дни, проходили годы, а нам ниоткуда не было спасения. Как-то раз один монах сказал, что обо мне справлялся человек из моего края, но что он сразу же исчез. У меня было такое чувство, что я заживо погребен и живым терплю адские муки. Однажды утром (это было месяц тому назад) передают мне записку; я прочел ее и удивился: в следующую ночь я и Могайч должны быть наготове, помощь близка. Стемнело. Я не находил себе места. Все заснуло, только мы двое не спали. Вдруг около полуночи раздался крик: «Пожар! Помогите!», и вмиг запылало одно из строений нашего хозяина-бега. В это время раздался выстрел. Турки едва успели прийти в себя, как вдруг, словно из-под земли, как дьяволы, выскочили десять ускоков, которые стали резать турок и громко выкликать наши имена. Мы присоединились к ним и, пока турки тушили огонь, благополучно скрылись в лесу... и... да стоит ли все рассказывать... и добрались сюда. Вот он – тот храбрец, Марко Ножина, который вел отряд ускоков.

Наступило гробовое молчание, никто не мог проговорить ни слова.

– А где господин Амброз? – спросил Томо.

– Умер, – ответил, опуская голову, Степко.

– Умер! Еще и это! – И Милич застонал, схватившись за голову. – Как жестока судьба, что она в мою чашу радости подливает столько горечи. О отец, о мой благодетель! Почему мне не суждено обнять тебя?

– Вместо отца вас ждут сын и его жена, – сказала Марта сердечно, протягивая ему руку, – отдохните, господин Милич, будьте нашим гостем. И вы тоже, достойные люди, сколько душе вашей будет угодно.

– Спасибо, госпожа, – поклонился Могаич, – на эту ночь мы воспользуемся вашим гостеприимством, а завтра на заре двинемся в путь, потому что и нас ожидают любящие сердца.

Во дворе Алапич прощался с хозяином, госпожами Хеннинг и Коньской.

– Мне от души жаль, – сказал он, – что затея бана не удалась и что я возвращаюсь с пустыми руками. Такова воля божья. Боюсь только, как бы от этого любовного пламени не вспыхнул страшный пожар! Избави бог!

– Ох, если б я могла это предвидеть, – вставила Анка, – но скажите мне, господин Гашпар, вы действительно не получили моего письма?

– Не получил, потому и запоздал.

– А где Дрмачич?

– Не знаю. Исчез. Злодей появится, как только голод даст себя знать. А теперь покойной ночи, благородные госпожи!

Топот коня Алапича уже утихал, а все трое продолжали еще стоять во дворе.

– Плохо наше дело, уважаемая теща, – сказал Степко, нахмурившись, – теперь ничего другого не остается, как только еще сильнее подстрекать крестьян.

– Это верно, – согласилась Уршула. – Я неохотно отдаю

дочь за Милича, но принуждена это сделать. Относительно крестьян – вы сами этим займитесь. Анка, – сказала она, взяв дочь за руку, – ты обманула мать, ты солгала про смерть Милича. Бессовестная! Вот бог нас и покарал.

Горы и доли, кусты и деревья озарены лунным светом, который стелет свой волшебный покров по равнине и алмазами сверкает по изгибам Савы. Полная тишина, только в парке, в кустах, соловей поет свою любовную песню. Медленно, нежно начинает он ее, потом все быстрее и быстрее, громче и громче, так что немая ночь трепещет от умиления. Так, все быстрее и быстрее бьется молодое сердце, загоревшееся первой любовью. Снова у открытого окна сидит София. Серебряный блеск луны падает на оконные стекла, играет на ее волосах и на счастливом лице, отражается в ее прелестных глазах. И от радостного сияния этих глаз неизъяснимым блаженством загорается взгляд бледного молодого человека, сидящего у ее ног. Это Милич. София перебирает своими белыми пальцами его черные кудри, на которые изредка падает блестящая слеза.

– Сегодня утром, – сказала девушка, – я умирала от печали, а сейчас я умираю от блаженства. Мой Томо, сердце мое, жизнь моя! Ты ли это, ты ли это? Я держу в руках твою дорогую голову, да, да, твою голову, которую не променяла бы ни на какие блага мира. Ах, эти бессердечные, бездушные люди! Обманули меня, предали, хотели выдать за другого.

Сказали, что ты умер. Дай-ка я закрою глаза, мне приснится, что я несчастна, что ты умер. – И девушка закрыла глаза, но быстро их открыла – Смотри! Я проснулась, ты жив, ты здесь, ты мой, навеки мой! Сестра! – И девушка обернулась к Марте, которая сидела поодаль и наблюдала за счастливыми влюбленными, – Сестра! Бог все-таки добрый-предобрый. Я ему от всего сердца благодарна за все мои страдания. Могла бы я сегодня переживать такое блаженство, если бы не пертерпела столько мук?

– Да, бог добр, – ответила Марта, – и сегодня он своей чудотворной силой доказал черствым душам, что есть еще правда в небесах.

– Говори, рассказывай, – молвила девушка жениху, – о том, что ты вытерпел и выстрадал из-за меня и ради меня. Я буду плакать, плакать слезами радости, слезами благодарности.

– Лучше помолчим, – шепнул Милич, не отрывая глаз от молодой девушки, – дай мне без слов любоваться твоим дорогим лицом, чтоб наглядеться на него за все те годы, что я его не видел. Я оставил едва распустившийся цветок, а нашел розу в полном цвету. Я позабыл свои страдания, я все позабыл. Я только теперь начинаю жить, потому что смотрю на тебя, потому что ты моя. Если я тебя не буду видеть – я ослепну; если ты умрешь – я не переживу тебя, как близнецы не переживают друг друга.

– О! Ты будешь вечно видеть, вечно слышать, вечно

жить! – воскликнула девушка. – Посмотри на Близнецов в небе – это мы, ото наша судьба.

И девушка нежно прильнула головкой к голове молодого человека. Волшебнo шумела река, слаще заливался соловей в зеленых ветвях, ярче блестела луна на Саве. У Марты, сидевшей в темноте, показались слезы на глазах, и она тихо прошептала:

– Радуйся, отче Амброз, почивай спокойно. Твое желание исполнилось.

Люди, шедшие на заре следующего дня из Брдовца в Запретит, были немало удивлены, увидав двух всадников, скакавших по дороге на маленьких турецких конях. Один из них, судя по одежде, был ускок; другой, бледный, с бородой, был в турецкой одежде; только по меховой шапке и длинным волосам можно было догадаться, что это христианин. Они молча ехали рядом и уже почти достигли села, когда им на дороге попалась девочка лет двенадцати, несшая большой кувшин.

– Бог помощь, девочка, – крикнул ускок, придерживая коня, – не дашь ли напитокя?

– На! – ответила девочка, взглянув на воина исподлобья, и протянула ему кувшин.

– Ты из Брдовца? – спросил Мобаич, останавливая коня.

– Да.

– Не знаешь, дома ли слепой Юрко и его дочь Яна?

Девочка посмотрела на воина с некоторым удивлением и потом сказала:

– Но ведь они живут не в Брдовце, а уж давно у Матии Губца, в Стубице.

– В Стубице? – испуганно переспросил Мобаич.

– Ну да, – подтвердила девочка.

– Марко, – сказал Мобаич своему товарищу, – повернем

коней, едем в Стубицу.

– Бог с тобой, – и ускок улыбнулся, – куда тебе спешить? Заедем в село к куму Григоричу, а после полудня отправимся к Губцу.

– Не хочу, сейчас же едем к Губцу, – настаивал Могаич, поворачивая коня.

– Ну, пусть будет по-твоему! – И ускок пожал плечами.

– Прощай, девочка, спасибо тебе!

И товарищи сразу поскакали обратно на своих резвых конях, а девочка смотрела им вслед удивленными глазами.

В Верхней Стубице, когда Могаич и Ножина скакали через село, как раз звонили полдень. Ускок, не обращая ни на кого внимания, смотрел на гриву своего коня, тогда как Могаич вытянул шею и заглядывал в каждый уголок своего родного села, которое его глаза не видели столько лет. В его душе пробуждались далекие воспоминания, ему хотелось и плакать и смеяться. Наконец они достигли дома Губца.

– Слезай! – сказал Могаич, соскакивая с коня и привязывая его к столбу ограды. Ножина последовал его примеру.

Они вошли во двор. Царила мертвая тишина. Направились к дому мимо орехового дерева. Вздвогнув, Могаич остановился и указал на что-то пальцем. Перед домом, на большом камне, сидела молодая женщина. Обвив руками ноги и положив голову на колени, она неподвижно уставилась в одну точку. Вдоль бледного лба падали растрепанные волосы, поблекшее лицо было лишено всякого выражения, в

потухших глазах не было видно мысли.

– Марко, – прошептал в ужасе Могаич, – ты видишь эту женщину?

– Вижу, слава богу!

– Знаешь ли ты Юркину Яну? – И он схватил товарища за руку.

– Только по имени, по твоим рассказам.

– Пойдем, ой, пойдем! – И парень, дрожа, потащил за собой ускока.

Они подошли к женщине.

– Яна! – вскрикнул он, схватившись за голову и смотря на нее испуганными глазами. – Яна! Боже мой, ты ли это?

Женщина пошевелинулась.

– Яна! – крикнул парень громче и положил руку на ее плечо. – Яна, это я... я, твой Джюро... я! Джюро Могаич!

От прикосновения женщина вздрогнула, оскалила зубы, вперила в парня неподвижный взгляд и разразилась хохотом:

– Ха! ха! ха! Старый господин, мы окапывали кукурузу, а колокола звонили! Дзинь! Дзинь! Слушай! Зачем вы пришли? – Глаза девушки засверкали диким блеском, и, вскочив, она крикнула: – Проклятый волк! Ты снова пришел есть мое сердце, пить мою кровь! – Она грубо схватила Джюро за грудь и заскрежетала зубами. – Хо! хо! хо! Слушайте, ко мне идут сваты, к Доре Арландовой! Глянь-ка, – зашептала Яна, показывая пальцем на деревья во дворе. – Видишь, сваты: один, два, три; видишь, вот это кум, а это шафер. Здрав-

ствуйте, господа! Тише, тише, сердце спит, пусть себе спит, не будите его!

Испуганный Джуро попятился и ухватился за Кожину, который, побледнев, наблюдал за девушкой.

– Марко, – шепнул взволнованно Джуро, – это Яна, это моя невеста.

– Несчастный! – воскликнул ускок. – Да ей не до жениха. Посмотри, как горят ее глаза. Она сошла с ума.

– Сошла с ума! – вскрикнул парень сквозь слезы, закрыв лицо руками. – Боже мой! Неужели ты избавил меня от страданий для того только, чтоб я увидел такой ужас? Чтоб я увидел, как моя возлюбленная превратилась в животное. Моя Яна! Что я тебе сделал!

И парень с криком бросился на траву и прижал лоб к сырой земле, а девушка подняла голову, подняла кверху палец и, широко раскрыв глаза, зашептала солдату:

– Слушай! Слушай! В горах завыл волк. Здравствуй, волк! Здравствуй! Я тебе дам его сердце, дам. Вот, на! Взял его, взял? Стисни зубы! Ешь, брат волк, ешь! Ох, он и меня укусил, вот тут, тут, больно укусил, – и приложив руку к сердцу, девушка принялась горько плакать, как плачут маленькие дети.

Марко стоял молча, голова его опустилась на грудь, загорелое лицо исказилось от неизмеримого страдания, а на глазах выступили слезы.

– Кого бог принес? – раздался голос с дороги.

Ускок обернулся, а Джюро вздрогнул, как от удара молнии.

– Дядя! Дядя! Это твой Джюро! Из огня да в полымя!

С распростертыми объятиями бросился парень к Губцу, который, быстро войдя во двор, остановился, посмотрел, вскрикнул от радости и горя, прижал его к груди железной рукой и, вздохнув, произнес:

– Ох, Дядаро, сын мой, дорогой мой сын! Откуда тебя бог принес?

Джюро поднял голову:

– Бога ради, не спрашивайте, скажите лучше – неужели это Яна, моя Яна?

– Да, – ответил грустно кмет.

– Но кто же ее сделал такую?

– Тахи, – ответил Губец.

– Тахи! – закричал парень так, что отдалось в горах, и сразу схватился за ружье.

– Постой, парень! – И кмет удержал его за руку. – Выслушай меня и ты, брат Марко. Ваши сердца готовы разорваться от неожиданного горя. Мое уже очерствело. Тахи силой осквернил твою невесту, и девушка сошла с ума. Вы пришли вовремя, вовремя вас бог освободил! Окинь взглядом эти долины, обними мысленно эти горы! Здесь каждое сердце болеет твоим страданием, но загляни подальше, где за горами голубеет небо, на запад – под Суседом и Ястребарским, на север – под Цесарградом и Крапиной: сердце всего народа

бьется заодно с твоим! А брось взгляд и еще дальше, туда, где вдоль всей Савы в небо упираются краньские вершины, где под немецким кнутом стонет штирийский кмет; всюду, клянусь богом, из каждой избы смотрят безумные глаза Яны, глядят и пылают, и повсюду в сердцах кметов бурлит поток. Довольно нас распинали, довольно нас обманывали! Долой господ! Долой не только Тахи, он лишь один из камней этой кровавой башни. Разрушим ее всю! Когда бог придет судить, он получит меч от крестьян. Мы вырвем из дьявольских рук эти лживые весы, сожжем книги их ложных пророков и мечом напишем новый закон, чтоб каждый человек стал человеком перед богом и людьми. Яна! – позвал Губец, посмотрев в упор на девушку.

Безумная подняла голову, ее увядшие щеки слегка зарумянились, бессознательная улыбка заиграла на ее бесчувственном лице. И, скрестив руки на груди, опустив голову, она покорно подошла к Губцу.

– Что, Гавриил, ангел мой, – сказала она, целуя руку кмету, – ты так прекрасно поешь, о продолжай петь! Это приятно, очень приятно. Мне тогда кажется, что у меня снова есть сердце. Я его потеряла. Была в горах, видишь, там, высоко, там, где бог, и искала повсюду свое сердце. Не нашла. Спросила у звезд, они сказали: ищи и найдешь его. И нашла я тебя, ангел Гавриил! Ты хранишь мое сердце. О, отдай мне его, умоляю, отдай! Чтобы снова оно билось, как в то далекое, далекое время, когда я не была еще Дорой Арландовой.

Губец, положив руку на голову несчастной, сказал парню:

– Видишь, безумие твоей бедной невесты подняло нас, крестьян, на честное дело. Мы поклялись, что не успокоимся, пока не отомстим за тебя; и даю тебе честное слово перед богом, что Матия Губец не примирится, пока не сдержит данного слова. Наши братья готовы, села ждут; пройдет еще, может быть, несколько месяцев, и свершится суд. А пока смирись, потому что ты не имеешь нрава своей преждевременной мезтью помешать мести всего народа. Я поведу народ, а у меня и так нет никого, кроме тебя. Моя мать умерла, да и Юрко, отца Яны, я схоронил.

– Хорошо, – сказал убитый горем Джуро, – я послушаюсь вас, дядя. Я выну саблю только бок о бок с вами и рядом с вами, бог даст, и погибну. Мне уж нечего ожидать на этом свете, так хоть другим помогу.

И парень подошел к Яне, поцеловал ее в лоб и прошептал сквозь слезы:

– Тебя и никого больше! Ты погибла, так пусть погибну и я!

Девушка посмотрела на него широко раскрытыми глазами.

– Братья, – сказал Ножина, – если вы не против, и я пойду с вами, пойду со своими бедняками, которые умирают с голоду в ожидании расплаты.

– Мы принимаем тебя, честный человек, – приветствовал его Губец. – Зайдем-ка в дом, переговорим, послушаем о

твоих невзгодах и обсудим положение. Оставь девушку одну, Джюро. Она так будет спокойнее.

Крестьяне вошли в дом, а Яна, напевая, направилась к лесу в поисках своего сердца.

У самого штирийского берега Савы, как раз против местечка Кршко в Краньской, на взгорье, расположен Ви-дем. За ним – довольно высокая гора, на вершине которой упирается в небо маленькая церковь святой Маркеты. Отсюда, с поляны, открывается широкий вид: к западу на Кршко и на протекающую между горами Саву, а к востоку на равнину вокруг Брежиц и дальше, на Самоборскую гору. Здесь, на поляне, среди лиственниц, одиноко стоит довольно большой дом. Внизу каменный погреб, а наверху – крепкое деревянное строение под крутой почернелой крышей. Вокруг дома – навес, под которым густыми рядами висят желтые початки кукурузы. Был 1572 год, после праздника всех святых. Наступала темнота. Небо было пасмурно; сильный влажный ветер крутил по дороге пожелтевшие листья, а когда он стихал, начинался дождь. Этот одинокий дом принадлежал Николе Крботу, плечистому, грузному штирийцу с широким красным лицом, известному богачу, но человеку отзывчивому. В задней просторной комнате дома собралось разнообразное общество. Хозяин запер двери. Рядом с ним, подле небольшого светильника, сидел Илия Грегориц, затем ускок Ножина, а напротив него три весьма различных человека. Джуро Планинец, сапожник из Кршко, маленький, сухой человек с острым лицом и таким же носом, с серыми, беспокойно

бегающими глазами; на голове у него торчала шляпчонка, а во рту болтался злой язычок. Его сосед был среднего роста, красный, крепко сбитый; на круглой голове его топорщились жесткие черные волосы и лохматилась длинная борода, из-под белой шапки уставились на светильник большие круглые глаза. Это был кузнец Павел Штерц из Святого Петра у штирийского Кушпперка. Третий, Андрия Хрибар, кожевник из Ратеч в Краньской, худой, долговязый парень. Он все время косился на свой крючковатый нос и за постоянной усмешкой скрывал свои тайные мысли. В углу у печки сидел еще Шиме Дрмачич, изредка заглядывавший в стоявшую перед ним на полу кружку, а к печке прислонился, грея спину, дряблый, белокурый, веснушчатый человек – лавочник Никола Дорочич из Метлики.

– Итак, братья, – сказал Илия, – я вам высказал все, что нас волнует, и почему мы решили подняться. Полагаю, что и вам в Краньской и в штирийском крае не намного лучше.

– Какого черта лучше, – зашумел сапожник, – удивляюсь, как это кастелян замка в Кршко не заказал еще сапоги из моей кожи.

– Нам плохо, и вам плохо, – продолжал Илия, – удары сыплются и по эту и по ту сторону Сутлы и Савы. Мы соседи, мы братья, говорим почти что на одном языке, треплют нас одинаково, – так давайте поднимемся все вместе. И не только против одного хозяина, а против всех господ.

– Против малых и больших пиявок! – подтвердил кулаком

сапожник.

– Учить вас немногому придется, – продолжал Грегориц, – ваши из Метлики уже не раз показали, что они умеют молодом крестить по старому обычаю. Но хочу вам сказать, чего мы, хорваты, добиваемся и как мы будем действовать. Говорю вам от имени Губца из Стубицы, нашего вождя. В стубицких и соседских владениях все села наготове. У нас есть ружья, копья, порох и свинец. Будут и хорошие топоры, потому что нас много. Каждая изба дает парня. Выбрали мы и командиров, – все это хорошо вам знакомые люди, так как вы часто бываете у нас по торговым делам. Губец, Пасанац и Могаич поведут людей из Стубицы, я – брдовецких, Никола Купинич – соседских, Иван Туркович – кметов из Запрешича, Павел Мелинчевич – народ из Пущи, Иван Карлован – из Стеневца, а Павел Фратрич – из Ступницы. Когда настанет время, каждый командир соберет отряд, а там – что бог даст! Но одних этих сил было бы недостаточно. Нас могли бы быстро одолеть. С нами пойдут и все кметы госпожи Барбары Эрдеди, этого черта в женском обличье. Ястребарское, Окич и дворяне-драганичане тоже с нами, а за народ вокруг Цесарграда и Тухаля я также не боюсь.

– И не надо бояться, – сказал Ножина, – я только что из тех мест. С нами пойдут не только кметы, но и мелкие дворяне, которые точат зубы на господ Кеглевичей. Поведет их Гашпар Бенкович, дворянин из Забока, а приказчик господина Секеля, Иван Доловчак из Крапины, обещал нам и ру-

жья. За людей господина Зринского в Озале я бы не ручался, потому что Зринский не мучает крестьян.

– А ускоки, Марко? – раздался из угла голос Дрмачича.

– Они уже наполовину мои, мой дружок, – ответил у скок, – хоть они, слава богу, и не платят оброка, но голодают и мрут с голоду на казенном жалованье.

– Так вот, братья, – продолжал Илия, – как мы будем действовать. Хотите ли быть заодно с нами?

– Но чего вы, хорваты, добиваетесь? – спросил кузнец.

– Болван! – И сапожник хватил кулаком по столу. – Уничтожить всех, кто носит господскую одежду.

– Нет, – и Илия закачал головой, – мы не хотим, чтоб проливалась наша кровь, но не хотим проливать и чужую; мы бережем свое, но не забираем чужого. Мы служим одному королю, – но только ему, и не хотим иметь сто хозяев. Мы не хотим ни барщины, ни повин-постей, ни десятины, ни дорожных поборов, ни кнута, ни колодок, – мы хотим равного права для всех людей, которых бог сотворил по своему образу. Когда мы поднимемся, мы сначала двинемся к вам в горы. Бы пойдете с нами. Мы свободные – свободны и вы. Мы не будем беспорядочной толпой, не будем ни грабить, ни жечь, а будем, как брат с братом, крестьянин с крестьянином, – крепкая воля, твердый порядок. И когда у вас в горах наше войско увеличится и достигнет нескольких тысяч, тогда мы пойдём на Загреб. Мы метлой выметим бар, чтобы следа их не осталось, мы восстановим настоящую правду, которая бу-

дет судить всех одинаково, мы сами будем охранять границу от турок и не класть половину королевских денег в карман, как это делают господа. Правильно ли, брат кузнец?

– Да, брат хорват! – И Павел протянул ему через стол свою руку.

– Эх, и буду же я судить господ! – погрозился щуплый сапожник. – Каждый день какой-нибудь негодяй будет сидеть у меня перед домом в колодках.

– А где же вы будете, пока не придете к нам? – спросил Хрибар. – Где вы думаете начать восстание?

– Прямо на Загреб идти мы не можем, – объяснил Илия, – нас было бы мало. С турком сейчас мир, и господа смогли бы выставить против нас много хорошо обученных войск. Как же быть? А вот как. Я поднимусь первый, прорвусь сюда на Брежицы и Кршко. Поднимем здесь народ. Одни пусть идут из Кршко на Костаневицу, чтоб соединиться с ускоками и ястребарским отрядом, и пусть возьмут Метлику и Ново-Место. Я же пойду на Севницу, оттуда в Планину, Куншперк и Пилштайн, а на Сутле нас встретят люди из Цесарграда. Губец будет стоять под Златаром и Стубицей, в центре, чтобы охранять наш тыл и не дать возможности нашим и вашим господам соединиться. А когда мы, с божьей помощью, усилимся, то соберемся под Суседом у Савы и оттуда ударим на Загреб. Вы же поднимайте народ по тем областям, где мы пойдем, поднимайте его и дальше, у Любляны и у моря, чтоб и там повеселить господ. Ничего не записывайте,

чтоб не напали на наш след. Знаком нашим будет петушиное перо. Не болтайте зря, а молча точите ножи, и когда наш человек с петушиным пером придет в село, то вынимайте ножи и поднимайте народ. Все вы здесь – наши старые знакомые: мы знаем, что и вы ненавидите господ. Потому-то мы вас и призывали в этот почтенный дом, потому-то мы, хорваты, и пришли к вам, штирийцам и краньцам, чтоб спросить, хотите ли вы подняться с нами за старую правду? Отвечайте, идти ли нам с вами или без вас? Ведь что бы там ни было, а подняться мы должны. Господа опять послали своих людей к королю с просьбой послать войско против нас.

– Мы пойдем, – вскочили на ноги словенцы, – пойдем за вашу правду, за нашу правду!

– И пусть будет проклят тот, кто нас предаст! – добавил кузнец.

– Я пойду по селам от Кршко через Лесковачко-Поле до Костаневицы, – вызвался сапожник.

– Я приведу Брежицы, – крикнул хозяин.

– Я ручаюсь за Метлику, – сказал Дорочич.

– А я за Боштань и Ратечи, – подхватил Хрибар.

– Что касается горного края от Сутлы до Лашко и Целье, то я раздую его своими мехами! – загремел кузнец.

– А прежде всего, братья, – сказал Илия, – займите все паромы на Саве, чтоб отрезать господам переправу.

Дрмачич, до сих пор спокойно слушавший переговоры, изредка лишь потягивая из кружки, при последних словах

поднял голову и сказал:

– Послушайте, люди, умное слово. Нас будет много, но мы ведь не солдаты, а народ; народ же, знаете, колеблется, как лоза на ветру. Нас могут и разбить. А надо схватить господ и спереди и сзади, за голову и за хвост.

– Не понимаю, – сказал кузнец.

– Надо договориться... – продолжал ходатай.

– С кем? – воскликнул сапожник.

– С турком. Меня там немного знают, и я с удовольствием обделаю вам это дело. Мы отсюда, турки оттуда...

– Да ты что, рехнулся? – вспыхнул Илия. – Выгнать одного черта, чтоб призвать другого? Стать рабами нехристей? Ты что, крещеный или нет?

– Слушай ты, писака, – сказал ускок, становясь перед ходатаем и поднимая кулак, – если твой паршивый язык еще раз произнесет такую дьявольскую шутку, я тебе так сдавлю твою башку, что и мозг выскочит. С турком! Да разве ты не знаешь этих нехристей? Поди ты к черту!

Ходатай, побледнев, пожал плечами и промолчал.

– Нет, мы пойдем одни, братья, – крикнул кузнец, подняв кружку, – как честные люди, пойдем сами бороться за свою свободу! Выпьем из этой кружки, как братья. За наше здоровье, за наше счастье! Помогите нам бог!

– Помогите нам бог! – отозвались все, и каждый выпил из кружки.

Все бросились обнимать и целовать друг друга.

– Разойдемся, братья, – сказал Илия, – уже поздняя ночь, а день не должен застать нас здесь. Покойной ночи! А когда в село придет петушиное перо...

– Мы будем знать, – сказал кузнец, пожимая его руку, – что петух приветствует зарю нашей правды, нашей свободы.

– Дай-то бог. Аминь! – сказал ускок...

Ночь на масленой 1573 года. В ясном небе звезды горят, как драгоценные камни, в горах и долинах густой снег искрится в лунном свете, волшебным блеском иней на сухих ветвях, и сверкают сосульки льда под соломенными крышами сельских изб. Маленькие оконца светятся, словно красные глаза, а из труб весело вьется белый дым. В брдовецкой корчме горит лучина, пиликают маленькие и гудят большие гусли, народ, попивая, веселится. В доме священника тоже горит свет. На коленях перед священником стоит Илия Григорич. Он исповедался и ждет благословения.

– Отец духовный, – говорит он, – отпусти мне грехи. Жену и детей я отправил к Освальду в Пишец; там они в безопасности. Я свободен и силен. Пусть взойдет теперь заря правды. Благословите меня.

– Бог благословит тебя, – ответил старик со слезами на глазах, – и пусть господь, судья праведный, укажет вам путь. Будьте справедливы, как он. Иди, сынок, с миром, и да охранят тебя ангелы своими крылами. Бог знает, увидят ли тебя еще раз мои стариковские глаза, но моя душа и моя молитва будут тебя сопровождать. Прощай!

Недалеко от дома священника Илия встретился с человеком высокого роста.

– Илия, – сказал незнакомец, – я пришел от Губца и при-

вел тебе сорок человек с хорошими ружьями.

– Ладно. Поставь людей за корчмой и по знаку – выступай.

Что, у Губца все готово?

– Он как раз сейчас должен подняться.

– Так. Ну, смотри, – сказал Илия и пошел к корчме. В дымной корчме сидела толпа крестьян и пила. Пламя лучины весело играло на их головах. В углу пиликали гусли, лилось вино, а посреди комнаты кружилось бешеное коло. За столом против дверей сидели Гушетич, Ножина и Бистрич. Гушетич пил и довольным взглядом следил за пляской, Ножина молча смотрел перед собой, а ходатай Дрмачич кружился, покрикивая, в веселом коло. Люди веселы! Люди счастливы! Их ничто не тяготит! В это время вошел Илия Грегориц. В шапке у него торчало петушиное перо, на плечах была длинная шуба.

– Да здравствует Илия! – закричал развеселившийся народ. – Будь здоров и счастлив на веселой масленице!

– Веселитесь, братья, – и крестьянин сдержанно улыбнулся, садясь подле Ножины.

И снова поют гусли, звенят чаши, а коло кружится и кружится, словно его подгоняет нечистая сила.

– Эх! Валяй, девка! – закричал ходатай, прыгая, как козел. – И у самого сатаны в аду не бывает лучшего веселья!

Вбежала девушка и в ужасе прошептала:

– Идут из Суседа...

Люди встрепенулись, коло остановилось, гусли замолкли.

В корчму вошел Петар Бошняк с четырьмя вооруженными спутниками.

– Добрый вечер, – приветливо сказал он. – Ну, что ж, веселитесь? Это правильно! Хозяин, три кружки вина! Будем пить, пока пьется!

Крестьяне сохраняли гробовое молчание. Вдруг взгляд Петара упал на ходатая, который, как кот, уставился на слугу Тахи.

– Ого! – И Петар засмеялся. – Какая вода тебя сюда занесла, избитая каналья? Разве ты забыл, что здесь растут виселицы?

– Я пришел, Петар, – сказал злорадно ходатай, становясь против Петара, – объявить тебе и твоему господину, что бок мои зажили и что каждая палка бывает о двух концах, а веревка не спрашивает, кому принадлежит шея – кмету или вельможе.

– Что ты сказал, каналья? – И Бошняк вскочил в ярости. – Ты бранишь моего господина? Ребята, – обратился он к своим спутникам, – вяжите собаку!

Дрмачич, попятился, ратники шагнули вперед, народ с ропотом повскакал. Бошняк свистнул, и десять вооруженных слуг вбежали в корчму.

– Вяжите собаку! – крикнул Бошняк. – А вы, канальи-кметы, ни с места!

Но в эту минуту поднялся Илия, распахнул одежду так, чтобы стал виден белый полотняный крест, нашитый у него

на груди, поднял кружку и крикнул громовым голосом:

– Пора, братья! За нашу свободу и право поднимаются кирка и мотыга! Крестьянин свободен! Долой Тахи! Вставай!

– Вставай! – закричали все, и в один миг у всех в руках засверкали сабли и ружья.

Бошняк побледнел.

– Что же вы меня не вяжете? – спросил Дрмачич, захохотав.

– Вставай! С божьей помощью! – крикнул Ножина и выстрелил в окно.

В корчму мгновенно вбежало сорок крестьян с ружьями, и через минуту слуги Тахи лежали, связанные, на полу. Выстрел следовал за выстрелом, церковный колокол звонил все громче и громче, а вдали откликались другие выстрелы и другие колокола. И в эту масленичную ночь весь край, в котором с оружием в руках восстал народ, огласился кличем:

«С божьей помощью кирка и мотыга поднимаются за старую правду!»

– Боже мой, чем вы так напуганы, сын мой? – спросила Уршула Хенинг Степко, который только что возвратился из Загреба в Мокрицы.

– Плохо дело, – ответил вельможа, беспокойно шагая взад и вперед по комнате.

– Какие же вы привезли новости? Восстали крестьяне?

– Увы, восстали, – сказал тот, глядя в землю.

– Да говорите же, бога ради.

– Мы выпустили из рук поводья. Не знаю, что и думать.

Злые вести, как черные вороны, слетаются со всех сторон к дворцу бана. Проклятое крестьянское движение разливается по всему краю, как поток. Не только мужичье Тахи взбунтовалось в Суседе и Стубице, но и кметы вдовы бана в Цесарграде подняли свои безумные головы. Кастелян оказал сопротивление, но крестьяне сожгли замок, захватили пушки и убили кастеляна. В горах Окич и вокруг Керестница парод собрался и разрушил замок. Драганчские дворяне идут под своим знаменем на Ястребарское, чтобы напасть на вдову бана. Кровопийца Тахи запер ворота в Суседе и зарядил пушки, чтобы ярость крестьян охладилась об окровавленные стены. Но крестьяне не напали на Сусед. Всюду по снежной равнине движется, извиваясь, словно черная змея, огромное множество разъяренных крестьян; у всех, как острые шипы,

блестит оружие. Всюду слышен жалобный звон колоколов, всюду пылают поместья Тахи. Я проскакал через Ступник. В селе почти ни одного мужчины. Все ушли в войско, потому что у них оно теперь есть. Толпа соединялась с толпой – превращалась в отряд, отряд примыкал к отряду – и образовалось целое войско. И все поднялись сразу, одним махом.

– Они не идут на Сусед, не идут на Тахи? Так куда же? – спросила Уршула.

– Откуда мне знать! Идут на запад. Слышал, что они через Сутлу переправились в Штирию.

– А что понадобилось хорватам в Штирии, там ведь нет Тахи?

– Откуда мне знать! – И Степко сердито стукнул ногой о пол. – Но послушайте, что это? Звонят колокола. Слышите крики?

Степко подбежал к окну и распахнул его.

– Боже мой! Да ведь это в моем поместье.

В комнату вбежал испуганный мокрицкий кастелян.

– Господин, – сказал он, – беда! Войско хорватских крестьян под командой Илии Грегориича стоит у Добовы и идет к Брежицам. Две тысячи вооруженных людей. Штирийцы повсюду присоединяются к ним. Беда настигла и нас. Ваши есеничане разломали контору по податям, захватили господский паром. Из Бреган выгнали ваших приказчиков, там звонят во все колокола. По селам скачут всадники, мужики собираются с оружием и кричат, что теперь нет больше господ

и что они идут в Добову к хорватам.

– Боже мой, мы пропали! – И Уршула заломила руки.

– Кастелян, – сказал испуганно Степко, – закройте ворота замка, наведите пушки и соберите людей. Сколько их?

– Около сорока.

– И это все?

– Все.

– Погодите! Вы повезете письмо господину подполковнику ускоков Йошко Турпу в Костаневицу. Расскажите ему, в чем дело, и пусть он скорей шлет сюда хотя бы три сотни ускоков и два мешка пороха. А что Сврач, в замке?

– Пошлите его сюда! А вы езжайте скорей.

Кастелян ушел, и вскоре перед хозяином предстал крестьянин Иван Сврач.

– Что прикажете, ваша милость? – спросил он холодно, поглядывая исподлобья на Степко.

– Какой дьявол вселился в ваши крестьянские башки? Что вам надо в Штирии и Краньской? – крикнул вельможа.

– А я про то не ведаю, – и крестьянин пожал плечами, – вы же знаете, что я был здесь, на службе.

– Но ты должен знать, каковы их намерения.

– Я же вам сказал, хозяин, что не знаю, сами у них спросите.

– Иван, – сказал Степко мягче, – возьми коня, поезжай скорей в Добову к Илии. Проси его вспомнить о нашем договоре, пусть он вернется, пусть ударит на Сусед.

– Хорошо, – сказал Иван, помедлив немного, – не знаю только, захочет ли он.

С этими словами крестьянин вышел из комнаты.

– Я спущусь в село, теща, чтоб остановить крестьян. Не говорите ничего Марте, чтобы не пугать ее.

– Бога ради, не делайте этого, Степко! – взмолилась Уршула.

– Вы думаете, что Степко Грегорианец боится? Увидим. Прощайте!

Проходил один час за другим, и Уршула считала их в смертельном страхе, утешая себя и обманывая Марту. Уже близилась ночь. Наконец Степко вернулся и попросил к себе тещу. Он был мрачен.

– Ну, что? – спросила женщина.

– Кастелян вернулся?

– Нет.

– Все идет не так, как нужно! Чума их побери! – прокричал Степко, сжимая кулаки. – Поскакал я с десятью парнями к парому. На берегу Савы толпились сотни крестьян, все вооруженные, как будто собрались в далекий путь. Десятками и полусотнями переправлялись они через Саву. Я крикнул им, чтоб остановились, и спросил, куда они идут. Но они ни слова. Тогда я пришпорил коня, подскакал к парому, чтобы преградить им путь. «Куда вы направляетесь, каналы?» – закричал я. «К своим братьям, – ответил мне старый есеничанин, – за своим правом». – «Против кого?» – «Против гос-

под». – «Разве вы, злодеи, не знаете, что я и есть ваш господин?» – «Вы им были, – ответил старый каналья, – а теперь другой порядок. Уйдите с дороги, иначе может дойти до греха!» – добавил старик, показав пальцем на сотни копий, направленных в мою сторону. Я подождал немного, но в толпе поднялся громкий ропот и движение и меня оттеснили от берега.

Уршула едва дышала.

– Вернулся ли Сврач? – прошептала она в испуге.

– Вернулся.

– Что же ответил Илия?

– Что слишком поздно. Что он не вернется, что мы обманули народ, так как хотели помириться с Тахи. Теперь они поднимаются против всех господ.

– Какой же черт нас предал? – спросила Уршула, задрожав.

– Эх, только бы мне узнать, кто! – И Степко погрозил кулаком. – Я послал Сврача во второй раз, сказал, что о примирении с Тахи не может быть и речи, потому что София вышла замуж за Милича. И пусть они вернуться, так как иначе я их насажу на вертел.

– И что ж сказал Сврач?

– Он вовсе не вернулся, – ответил Степко, опустив голову.

– Нож повернулся против нас, – вымолвила старая Хенинг. – Помоги нам бог!

Гашпар Посингер, комендант крепости в Брежицах, был в бешенстве. Ударами в барабан он созывал всех жителей местечка защищать замок от хорватских крестьян, отряд которых стремительно приближался из Добовы. Пришло с десятков людей, остальные отказались. 3 февраля 1573 года, около полудня, на площадь в Брежицы прискакал всадник, крестьянин Шанталич. На нем был овчинный тулуп, вывернутый наизнанку, на шапке торчало перо, в правой руке он держал саблю, а в левой белый флаг.

– Эй, люди брежичане! Почтенные горожане! – крикнул он народу, который с криками высыпал из своих домов, – Слушайте! Меня шлет к вам ваш командир Илия. Наше войско идет сюда, но вам бояться нечего. Мы вам не желаем зла! Мы вам друзья и братья. Мы идем на господ. Не хотим податей, не хотим поборов, не хотим кнута.

– Долой кнут! – загремел народ.

– Раз так, – продолжал Шанталич, – присоединяйтесь к нам, сдайте нам Брежицы.

– Согласны! Мы ваши! – кричали брежичане.

В эту минуту среди народа появился маленький толстый человек, брежицкий жупан Юре, и стал громко кричать:

– Убейте пьяного хорвата! Вы слышали, этот язычник восстанавливает нас против наших добрых господ. Убейте его, или я вас арестую.

И жупан гневно поднял кулак, а из замка грянула пушка.

– Ха, ха! Долой жупана, долой лицемера! – народ бесно-

вался. – Хорват пришел в добрый час! Теперь конец господам и их кровавым слугам! – заорал Никола Кробот и с такой силой ударил жупана рукой по животу, что тот грохнулся о землю лицом.

– Брежичане! – И Никола поднял дубину. – Вы мужчины?

– Да.

– Брежичане! Хотите ли, чтобы ваши немецкие господа продолжали дубасить вас по спинам и рыться в ваших карманах?

– Не хотим!

– Долой господ! Пусть приходят хорваты! Не так ли, братья?

– Пусть приходят хорваты! – кричал в волнении народ.

Через час, с барабанным боем и криками, с белым знаменем, на котором был вышит черный крест, в Брежицы вошло две тысячи конных и пеших хорватских и штирийских крестьян во главе с Илией Грегоричем. Никола Кробот сдержал свое слово: Брежицы сдались, и красное вино из бочонка толстого жупана вновь оросило старую правду; но Грегорич крикнул громовым голосом:

– Вперед, братья, вперед! Вам предстоит дальняя дорога!

От Стара-Васи до Видема гремит барабан. Иногда слышится ружейный выстрел и глухо откликается в снежной равнине. Штирийки выбегают на крыльцо. Это идут хорваты, идут на господ. Сколько их, тучи! И не сосчитать. Конца-края не видно. Одни идут по снегу пешком, другие едут

верхом. Какие все необыкновенные люди, бородатые парни. Одни в широких шляпах, другие в меховых шапках, одни в опанках, другие в сапогах, на одних плащи, на других вывернутые наизнанку тулупы, на третьих вышитые кафтаны из грубого сукна, на четвертых безрукавки. Усы заиндевели. Все весело глядят вперед. Они ведь свободны! У кого ружье, у кого копье, у кого сабля, у кого коса, у кого топор, есть и молоты и дубины. У каждого на груди белый крест, они называют себя крестоносцами; у каждого в шапку или шляпу воткнуто перо, и над всеми развевается белое знамя с черным крестом. Возле знамени, устремив взор вперед, с достоинством едет на коне командир – Илия Грегориич. Вот это человек! Взгляд независимый, за поясом блестят серебряные пистолеты, – видно, ничего не боится. И у них четыре пушки на колесах. Это им прислали люди из Цесарграда вместе с десятью железными мушкетами. Бьют в барабаны, стреляют из ружей, словно они идут на храмовой праздник или на свадьбу. А поют-то как хорошо, протяжно, как на всенощной. Так дошли они до Видема. «Тут придется ждать, – сказал Илия, – заходи куда хочешь, в дом, на конюшню, в амбар, в церковь, или жди прямо на снегу». Уж вечер, туман, пасмурно. По ту сторону Савы в окнах домов Кршко мерцают огоньки, круто высятся горы в тумане, в зимнем воздухе торчат сухие ветки, снегу всюду навалило пропасть. Но что тебе за дело до тумана или снега, коль ты свой? В Видеме народу – сколько картошки на картофельном поле. Больше всего

толкотни перед домом сельского жупана. Тут стоят пушки, тут, у дверей, прислонено знамя. Двери открыты. Командиры входят и выходят, словно это корчма.

– Какого черта мы ждем здесь? – спросил стоявший перед дверью ступницкий командир Павел Фратрич. – Какую еще кашу варит нам Илия?

– Ну, конечно, кашу, – ответил со смехом стеневецкий командир Иван Карлован, дую в кулаки, – кашу для важных господ. Будет им что расхлебывать!

В большой комнате жупана пылает печь. Возле нее, на скамье, растянулся Ножина. Ружье его лежит на полу. В углу, на земле, сидит Мато Гушетич, режет краюху хлеба и смотрит на Николу Крбота, который за длинным столом чокается с Николой Купиничем, а у окна маленький ходатай нашептывает о важных делах метличанину Дорочичу. Спустя немного в комнату вваливается мокрый, измученный дорогой Иван Сврач.

– Ого! Ты, Сврач? – воскликнули все.

– Где Илия? – спросил пришедший, потянувшись за кружкой.

– На той стороне, в Кршко, – ответил Гушетич, – ведет переговоры с горожанами, чтоб они примкнули к нам.

– Собачья погода, – сказал, отряхиваясь, Сврач, – продрог до костей.

– Ну, что ж там? – спросил ходатай.

В это время на пороге показался Илия и с ним сапожник

Юре Плацинец и портной Освальд, горожане из Кршко.

– Бог в помощь, братья! – приветствовал Илия. – Счастье нам улыбается. Нам удалось договориться с горожанами Кршко. Они с нами. Мы поклялись друг другу, и вот они для подтверждения посылают этих честных людей.

– Клянусь честью! – И сапожник ударил себя в грудь. – Я человек порядочный. Пусть все мои каблуки выйдут кривыми, коли я лгу. Хочется мне сшить себе пару сапог из господской кожи!

– А, ты пришел, Сврач? – продолжал Илия. – Какие же ты принес вести?

– Нам нечего бояться ни ускоков, ни конницы Зринского. Можем смело идти вперед.

– Хорошо, – сказал Илия, – завтра спозаранку перейдем Саву. Ты, Купинич, поведешь войско, а с тобой пойдут Туркович, Фратрич, Никола Бартолич и Грга Дрводелич. Возьмете тысячу человек, пять фальконетов и две пушки.

– А ты, командир? – спросил Купинич.

– Я пойду дальше, к Севнице и на гору Пилштайн, где нас ждет Штерц. Вы от Кршко пойдете на Дренову, в Ускокские горы. Туда же, с другой стороны, придут и люди из Ястребарского, и тогда вы направитесь на Метлику, которая вас ждет. В той стороне нам нечего опасаться, потому что жумберачаче наши. Дрмачич, садись и пиши письмо, чтоб Ножина мог отнести его ускокам. Они обещали и не обманут. Но пусть увидят черным по белому, что мы их считаем братьями.

Дрмачич сел писать письмо, а Илия, сбросив тулуп, присел к столу. В это время снаружи послышался громкий плач.

– Что такое? – И Илия вскочил.

В комнату вбежала плачущая штирийка.

– Добрые люди, – причитала она сквозь слезы, – в мою бедную избу ворвался один из ваших, топором разбил ларь и взял все как есть.

– Кто это был? – вспылил Илия.

– Вот он, – крикнул в дверях Карлован, таща за шиворот бледного крестьянина.

– Кто ты? – спросил Илия.

– Степан Шафарич, – ответил крестьянин, заикаясь.

– Разве мы турки, каналья? Разве мы затем поднялись, чтоб красть? Вздернуть его здесь же перед домом, чтоб каждая воровская душа видела, что ее ожидает.

Крестьянин закричал, но через несколько минут тело его уже болталось на сухой яблоне перед домом жупана. В этой суматохе Иван Сврач вышел из дома и скрылся в темноте.

– Где же Сврач? – спросил вскоре Гушетич. – Знаешь ли, Илия, что Сврач отнял у жены брежицкого жупана десять цехинов?

– И он тоже? – Командир рассердился. – Где он, разыскать его и тоже вздернуть, кто бы он ни был.

Напрасно! Сврача и след простыл.

– Хе! хе! – засмеялся сапожник. – Умен! Не нравится запах веревки!

– Вот письмо для Ножины, – сказал ходатай Илии, – хорошо было бы, если б он сейчас же поехал.

– Ладно, пускай едет! Брат Марко, поднимайся! В путь!

Ускок вскочил, потянулся, засунул письмо за пазуху и перекинул ружье через плечо.

– Вы гоните меня к волкам, ну что ж! Пусть будет так, и да поможет бог. Я повезу это письмо к братьям ускокам, пусть им поп прочтет, и если в ближайшие дни в Жумбераке не полетят искры из кремня, то это будет моя вина.

– Скажи братьям, – наставлял Илия, – чтобы спускались с гор и спешили к Кршко.

– Понятно, скажу! И сам приду, если бог даст, на свадьбу молодецкую. Прощай, Илия, дорогой, названный брат, желаю тебе удачи. Прощайте, братья, до радостной встречи!

Ножина расцеловался с Илией, вышел, сел на коня и понесся в сторону Ускокских гор.

Было уже поздно, и войско спало, когда недалеко от Савы два человека встретились в ночном тумане.

– Дорочич, – сказал один из них шепотом, – это ты?

– Да, Дрмачич. Что такое?

– Ты поедешь завтра в Метлику?

– Да.

– Ты не раздумал? Эти глупые крестьянские головы в наших руках. Господа заплатят нам за них дорого, мы ведь знаем все нити.

– Хе! Верно, яблочко вкусно, но как быть с нашей клят-

вой?

– Да нужно ли перед разбойниками клятву держать? Ведь они по закону-то разбойники. Значит?...

– Ладно. Но как?

– Очень просто. Я напишу письмо. Ты повезешь его Алапичу в Ястребарское, там, где твой брат. А в Метлику не поедешь. А я часть дороги проеду с тобой; скажу, что хочу обследовать район. Поверят.

– А потом?

– Вернусь к крестьянам.

– Но...

– Молчи! Идут. Ты ступай сюда, я – туда. Значит, завтра. Покойной ночи!

День занялся ясный. В бледном зимнем небе солнце стояло, как горячий багровый шар, а снег и иней сверкали, как стекло. На штирийском берегу Савы выстроилось крестьянское войско. На краньском берегу толпился народ, следя за всем, что происходит, а из замка над Кршко, крепко заперев железные ворота, наблюдал комендант. Вскоре от краньского берега отчалил паром и подошел к штирийскому берегу. Тут стоял Илия, а рядом с ним крестьянские командиры. Илия говорил растроганным голосом:

– Братья! Пошли мы из дому завоевывать нашу свободу. Пришли в этот край и встретили здесь своих братьев. Мы сильны, потому что стоим за правое дело. Здесь пути наши

расходятся, но цель у нас одна. Кого-нибудь из нас судьба толкнет с войском господ. Пусть не дрогнет ваше сердце, покажите, что вы мужчины! – Командир снял шапку и, подняв глаза к небу, сказал: – Боже! Ты видишь нас, стоящих здесь, на морозе, на чужой земле! Боже! Ты знаешь, что наши намерения чисты, что поднялись мы не на злое дело. Благослови нас, боже! Пошли нам счастье! С богом, братья, до встречи под Суседом! Прощайте!

– Илия, – сказал командир Купинич и положил три пальца на саблю, – клянусь тебе, что живым этой сабли не отдам, и буду биться до последней капли крови. Прощай!

И командиры обнялись.

Один за другим отряды переправились на пароме через Саву; на первом был ходатай и метличанин Дорочич. Когда последний паром пристал к Кршко, Илия крикнул своему войску:

– С богом вперед – на Севницу! Прощайте, братья! Прощайте! – И он рукой послал последний привет братьям на том берегу.

– Прощайте! – отозвалась тысяча голосов с краньской стороны.

А войско Илии двинулось дальше по штирийской земле на запад; долго еще в горах вдоль Савы гремел барабан, долго еще лилась протяжная мелодия грустной хорватской песни.

От Кршко к селу Дренову в Лесковачко-Поле скачут два

всадника: метличанин Дорочич и писака Шиме. Доехав до места, где дороги расходятся – одна на Брегане, другая на Костаневицу, – ходатай остановил коня, и Дорочич последовал его примеру.

– Ну, вот, – сказал Шиме, – здесь нам надо расстаться. Ты поезжай на восток через Самобор к Алапичу, а я поеду дальше, своей дорогой.

– Куда?

– Не спрашивай! Передай только письмо Алапичу. Прощай, счастливого пути!

И, не дожидаясь ответа, Шиме пришпорил коня и помчался без оглядки на юг, а друг его направился к Самобору.

Уже темнело, когда Шиме после утомительного пути приехал в Костаневицу. Оставив коня у корчмы, он расспросил, где живет барон Йошко Турн, подполковник пограничных войск и капитан ускоков, и пошел по указанному пути. Перед домом стояло несколько пеших ускоков и стрелков-пограничников. Шиме обратился к человеку высокого роста, с длинной черной бородой и длинными волосами, одетому в серый кафтан; тот поглядывал из-под широкополой шляпы и постукивал пальцем по своему длинному мечу.

– Ваша милость, – сказал ходатай с поклоном, – что, вельможный господин барон Турн дома?

– Да, – ответил Черный Матяш, начальник хорватских стрелков, смерив ходатая взглядом с головы до ног.

– Прошу вас, проводите меня к нему, и немедля; я должен

сообщить ему важные вести.

– А ты кто? – спросил офицер.

– Весьма преданный господину барону человек. Прошу вас, проводите меня, потому что каждая минута дорога.

Офицер сделал знак ходатаю и повел его вверх по лестнице, к комнате Турна. Пробыв несколько минут у командира, он позвал Шиме, а сам ушел.

Господин Турн, человек богатырского сложения, с продолговатым лицом и большими усами, одетый в доломан пограничного офицера, сидел за столом, на котором были шапка, меч, письма и маленький светильник. Господин Турн писал длинное письмо, а за его спиной стоял худой белокурый офицер, пограничник Ласер, капитан отряда из Бихача, и перебирал пачку писем. Начальник поднял голову.

– Ты кто? Откуда? – спросил он Шиме по-хорватски.

– Бедный писарь из Хорватии, с реки Сутлы.

– Что тебе от меня надо?

– Я у вас ничего не прошу, ваша милость; это вы должны у меня просить.

– Я – у тебя? – И барон засмеялся. – Ну, говори.

– Вы, конечно, слышали, – продолжал Шиме, – что хорватские хорьки залезли в ваш курятник?

– Ты говоришь о хорватских бунтовщиках? Мне все известно. – И Турн быстро встал.

– То есть вы кое-что слышали, потому что мужики шумят довольно громко, да и ваши усюки как-то странно шепчут-

ся у вас за спиной. Но, простите меня, вы ровно ничего не знаете, тогда как я узнал все: как, когда, где и куда, – потому что я втерся к ним в доверие и знаю все их планы.

– Значит, и ты бунтовщик? – сказал Турн, вспыхнув.

– Ваша милость, извольте поглядеть на мои кости, какой же я бунтовщик! Я думал оказать услугу властям, потому и шпионил за крестьянами.

– Ну, рассказывай! – сказал Турн; но Шиме, усмехнувшись, заметил:

– Я, между прочим, человек бедный, а рука руку моет. Сперва дайте мне честное слово, что мне ничего за это не будет.

– Хорошо! Даю тебе честное слово. А чтоб помыть руки, вот тебе задаток, – и офицер кинул на стол кошелек.

Ходатай с улыбкой засунул его в карман и с той же улыбкой вытащил из-за пазухи письмо, передал его барону и сказал:

– Я тут все записал подробно: и командиров, и отряды, и куда, и каким путем пойдут. Прочтите, а потом сделайте так, чтоб им наверняка свернуть шею.

Турн принялся читать, а Дрмачич, сидя в углу на скамье, опустил голову и наблюдал за бароном, глаза которого пробежали строки все с большим и большим вниманием. Наконец он вскочил и сказал по-немецки, чтоб Дрмачич не мог понять:

– Прочтите, господин Ласер! Тут, видит бог, придется за-

сучить рукава. Это дело нешуточное, это не простое возмущение кметов, это серьезнее, чем мне говорил Степко Григорианец. Сегодня же гонец пусть отвезет от меня письмо в Любляну к господам дворянам, чтоб подняли ополчение. Другой гонец повезет весть управляющему Цельским округом. Я же с тридцатью всадниками вечером поеду в Жумберак, чтоб этот черт Ножина не успел подкупить людей. Возьму с собой денег, чтобы хоть на время успокоить ускоков. Вернусь завтра. Пусть Черный Матяш будет наготове с сотней своих стрелков, да и вы, капитан, приготовьте ваших всадников. Я постараюсь набрать как можно больше ускоков. Как только я вернусь, мы ударим на Кршко, потому что ни в коем случае нельзя допустить, чтоб эта зараза продолжала распространяться дальше. Бан, господин Халек, и хорватские дворяне, по обыкновению, наверно, ничего не делают. А ты куда ж денешься? – обратился он к Шиме по-хорватски.

– Вернусь к крестьянам, – усмехнулся ходатай.

– К крестьянам? Что ж ты там будешь делать?

– Так ведь надо же вам иметь своего человека в змеином гнезде. А скажите, вам приятно было бы получить голову Грегориича?

– Приятно.

– Сколько вы за нее дадите?

– Пятьсот талеров.

– Честное слово?

– Честное слово.

– Ладно. Покойной ночи, уважаемый господин, – сказал Шиме, поднимаясь, – надо скорее возвращаться, чтоб не пронюхали измены. Но я заслужил больше, чем задаток.

– Вот тебе пятьдесят талеров.

– Благодарю. Не забывайте – мужики думают, что ускоки к ним присоединятся. Это не плохо для отвода глаз. Покойной ночи!

Предатель ушел, а вскоре затем барон Йошко Турн поехал по направлению к Жумберацким горам.

Там, где Сава, протекая между штирийскими и краньскими горами, выходит из ущелья на равнину, там, на краньском берегу, против местечка Видем, тянется, в виде предгорья, довольно значительная цепь гор, пересеченная долинами и ущельями. В том месте, где изгиб реки подходит к горам, берега очень круты, почти отвесны, и между горой и водой едва нашлось место, где смогло прилепиться местечко Кршко. По обеим сторонам единственной улицы, посредине которой стоит остроконечная церковь, тянутся скромные словенские домики. Тесовые крыши почернели, оконца маленькие, невелики и деревянные крылечки, так что кажется, будто крохотные цыплята, испугавшись, что над ними вьется хищная птица, сгрудились около наседки. Да и действительно вьется: словно ястреб, навис со скалы над словенским местечком укрепленный замок немецких баронов. От Кршко на восток и на юг начинается равнина, по которой Сава несет свои воды к Брежицам. По равнине, до Сутлы, тянется штирийское предгорье, а с этой стороны, на другом конце равнины, видны Ускокские горы, и у подножия их лежит местечко Костаневица, и извивается, спеша к Брежицам, река Крка. Если пойти вдоль горы через Кршко к югу, то на возвышении стоит замок Турн, за ним на равнине раскинулось богатое село Лесковац, а дальше, в поле, лежит Дренова. Здесь

дороги расходятся. Одна бежит на юг, через переправу, на Костаневицу, другая на запад, в Чатеж и, через Мокрицы, в Хорватию.

Утром 5 февраля 1573 года над этим покрытым снегом краем стлался густой белый туман. Солнце еще боролось с ним. Была не сухая зимняя стужа, а влажный, пронизывающий до костей холод. Сквозь пелену тумана виднелись темные силуэты изб, мелкие сухие кусты и деревья, оголенная изгородь или какая-нибудь покосившаяся труба, а на штирийском берегу из непроницаемого желто-серого покрова торчал только шпиль колокольни церкви в Видеме. Несмотря на такую погоду, в Кршко царило необычайное оживление, как в храмовый праздник или на ярмарке; в сером тумане копошилось множество черных фигур. Кршко было набито битком. Да и немудрено! Здесь расположилось хорватское крестьянское войско, ожидая братьев ускоков, которые, как сообщил Дрмачич, возвращаясь к Илии из Костаневицы, сегодня должны присоединиться к крестьянам. По словам Дрмачича, жумберачане прогнали Турна и барон теперь бежит к Ново-Месту. Воины заполнили все дома, но местечко маленькое, потому войско расположилось и на улицах, и ниже у Лесковца, до Дреновы, под открытым небом. В тумане краснеет множество костров. Возле них отдыхают крестьяне, поджидая братьев ускоков. Нет у них забот, не знают они страха. Почему? Да потому что далеко вокруг нет войска господ. Смотри, как весело пылает пламя! Снег вокруг

него растаял, образовав большой круг черной земли. У огня сидит на корточках пастух, в плаще и в белой овечьей шапке. Щеки его надулись и раскраснелись, он наигрывает на свирели. Вокруг костра вьется сказочное коло. Можно подумать, что иванов день. Хорватские парни, в вышитых кафтанах, шляпы набекрень, приплясывают мелкими шажками, обнимая ядреных краньских девушек. А у этих грудь вздымается, глаза блестят, и они украдкой, наклонив голову, улыбаются хорватам. Поодаль лежат и сидят, следя за котлами на огне и за вертелом, на котором жарится барашек, хорваты постарше; пожилые краньцы, в длинных кожихах и мягких шапках, смотрят на коло, дивятся и смеются. Не сон ли это? Нет! Пей, брат! Фляжка ходит по рукам. Эхма! Сегодня праздник, завтра праздник, каждый день праздник, потому что нет господ, нет кнута. Огонь трещит, вода кипит, свирель плачет, коло вьется, земля дрожит. В стороне сложено все оружие. Весело, брат, ни забот, ни страха!

А что делается на селе! Как все кипит и бурлит! Море голов, сплошное море! Сюда с оружием стекается один отряд за другим – это окрестные краньцы. Под горой стоит большой господский амбар. Он каменный и без окон, но посередине разведен огонь, дающий и свет и тепло. Вокруг огня, на соломе, расположились командиры и тихонько совещаются. Купинич сидит неподвижно, Фратрич что-то оживленно рассказывает; здесь же и Туркович, и Дрводелич, и Бартолич. Пламя дрожит на их лицах и озаряет окружающий их полу-

мрак, где вокруг своих командиров теснятся, шумят и галдят люди. Огонь освещает темные бородатые лица, сверкающие глаза, сжатые кулаки, блестящее оружие, белые кресты. Освещает он и группу горожан из Кршко, которые в раздумье глядят на эту пеструю толпу; среди них, прыгая и размахивая руками, шмыгает маленький сапожник Планинец. Глаза бегают, шапка едва держится на голове. Совсем рехнулся парень.

– Эй, – крикнул он, хлопая соседа портного по плечу, – вот это жизнь, это раздолье, а! Да что нам рай? Благодарю святую Розалию, что ты, ржавая игла этакая, родился теперь. Теперь мы дела вершим, теперь наша сила! Все теперь наше – до самого моря, слышишь, до самого моря! Ни барщины, ни оброка, ни колодок, ни властей. Ешь и пей в свое удовольствие, и работы не спрашивают.

– А откуда же еда? – спросил, смеясь, мельник.

– От господ, жернов ты этакий! – ответил сапожник и продолжал, обращаясь к портному: – Эх, и представлю же я счетик господам! Клянусь шилом, графы вернут нам не только отработанное нашими мозолистыми руками, но и все, что отработали руки наших отцов и дедов! Запомни это, козленочек ты мой, и повесь свои нитки на гвоздь, потому что настало время не шить, а пороть. Ух! – продолжал он, засучив рукава. – Что мы тут сидим, словно на покаянии? У меня руки чешутся. Хочется драться, драться!

– Тише, братья, – проговорил звонким голосом Купинич,

поднимая голову.

Все притихли.

– Мы, народные командиры, – продолжал Купинич, – договорились о наших делах. Идти ли нам на Жумберак или ждать здесь? И решили – ждать. Вы слышали, как Дрмачич сказал, что ускоки придут сюда. Да, так будет лучше. Нас много, а горы крутые, дорог нет, все покрыто снегом, да и где бедным горным жителям достать столько пищи, чтоб накормить нас? Мы бы их объели. К тому же надо вам знать, что из Самобора пришел наш брат Бистрич и сообщил, что ястребарчане и окичане идут к нам через Мокрицы. Мы не можем их покинуть. Поэтому будем ждать! Так лучше. Но вот давно уже отошла ранняя обедня, а ускоков все нет. Если они не придут к полудню, мы пошлем брата Бистрича в сторону Констаневицы, разузнать, в чем дело. Согласны?

– Согласны! – отозвались крестьяне.

– А как у вас, брат Андрия? – обратился Купинич к стоявшему за ним Хрибару.

– Все от Боштаня до Ратеч зарядили ружья. Только ждут петушиного пера.

– Ладно, брат Андрия, – продолжал Нико, – неси им его! Поезжай сейчас же. Пусть поднимаются во имя бога!

– Еду! – ответил Хрибар. – Прощайте, братья, желаю счастья!

– А вы, люди, – обратился Купинич к народу после ухода Хрибара, – не теряйте голову, не наполняйте ее посторон-

ними мыслями, не выпускайте сабли из рук. Надо, чтоб был порядок и спокойствие, потому что враг плетет свои сети повсюду.

В этот момент сапожник, покинувший было кружок, вернулся, держа высоко над головой большой нож, а за ним два крестьянина несли на деревянном вертеле жареного тельца.

– Господа, – крикнул Планинец, останавливаясь перед огнем, после того как крестьяне опустили тельца на землю, – я сказал «господа», потому что теперь мы – господа. Жаль, что нам придется ждать, но вы говорите, что так лучше. Согласен. Но зато не будем терять времени. Пробыло одиннадцать, и, чтобы наполнить наши пустые животы, горожане послали вам, командиры, этого жареного тельца. Тельце, несомненно, барский, стоит только посмотреть на его морду. Пока нам еще не выпало счастье дубасить кулаками по барским спинам, поточим-ка нож на этом барском тельце!

– Поточим! Поточим! – кричали крестьяне, в то время как сапожник крепко обнимал и целовал командира Фратрича.

Крестьяне уже потянулись было за дареным жарким, но Планинец выпятил грудь и загрохотал:

– Погодите! Неужели вы хотите, чтоб этот жареный вельможа проследовал с этого света в наши глубокие и широкие утробы без подобающих почестей? Это невозможно. Давайте спую ему отходную!

Вонзив нож в жаркое, сапожник запел тоненьким голосом.

– *Magnifice spectabilis domine! Orcumdederunt me!*

Requiescat⁷⁸ в желудке. Аминь!

– Аминь! – подхватила с хохотом сотня глоток; все весело и радостно загалдели.

Вдруг раздался выстрел. Послышались крики. Что такое? Народ всполошился. Командиры повскакали. Сапожник побледнел. Снова выстрел, второй, третий... десятый.

– На нас идет войско, войско! – доносилось издали. Купинич поднялся с гордой осанкой льва, глаза загорелись, и, махнув саблей, он крикнул:

– Вперед, братья! С богом!

У Лесковца в тумане горят костры. Крестьяне пьют, огонь трещит, свирели плачут, коло вьется все быстрее и быстрее! Весело! Далеко вокруг нет нигде войска господ, а они поджидают братьев! Весело, люди! Мы свободны! Весело, братья!

Грянул выстрел.

– Ой! О господи! – вскрикнул ведший коло и, схватившись за сердце, упал мертвый.

Второй, третий выстрел. Что это? Люди всполошились, как дикие голуби. В тумане зачернели какие-то фигуры... высокие шапки. Да это ускоки! Здорово! Пришли на подмогу.

– Погодите, братья! – крикнул один из крестьян. – Вы ошибаетесь. Мы же ваши бра... – Грянул выстрел, он упал.

– Эй, бей! Руби! Пали! – раздалось дикие крики, а из ту-

⁷⁸ Достойный и славный господин! Меня окружили! Мир праху его... (лат.)

мана неся один черный отряд за другим. Это ускоки и хорватские стрелки, с ними на коне барон Йошко Турн. Безоружные люди были охвачены ужасом. Как обезумевшие, бросились они к Кршко. Трещит выстрел за выстрелом, летит пуля за пулей, один за другим падают крестьяне. Они бегут, а за ними, как черти, несутся ускоки. При въезде в местечко началась давка, вот они заходят за скалу, где навалены сугробы снега. Бьет барабан, на колокольне ударили в набат. Из села прискакал всадник.

– Остановитесь, братья! Защищайтесь! Нас предали! Бейте! – кричал он. Это был Фратрич.

Толпа остановилась. От рук ускоков уже пылают первые дома Кршко. В самом узком месте села крестьяне ждут ошестинившимися ружьями. С гиканьем быстро катится на них клубок ускоков. Вот они уже совсем близко, рукой подать. Крестьяне стреляют. Ускоки дрогнули; то тут, то там падают они, то тут, то там краснеет снег.

– Вперед! – кричит Турн.

И, пригнувшись к седлу, несутся ускоки и стрелки. Все ближе и ближе. Они мчатся стремительно, как поток, но крестьяне стоят спокойно. И снова гром выстрелов, и снова смерть косит первые ряды. Как муравьи, лезут ускоки, а навстречу им идут крестьяне. В страшном реве, сотрясающем воздух, не слышны ружейные выстрелы, не слышны стоны. Вот они уже подошли вплотную друг к другу. Ружья смолкли, сверкнули ножи, заблестели косы, заскрежетали зубы.

– Бей! – орет Турн хриплым голосом.

– С нами бог! – гремит Фратрич, который на коне, с горящими глазами, размахивает топором.

Сошлись отряд с отрядом – грудь с грудью, руки и ноги сплелись, руки хватают за горло. За изгородью у берега закипел кровавый бой. Отряды с отрядами свиваются в один кровавый клубок, который кружится, визжит, стонет, кланет, колет и гибнет. Как молния, сверкает в тумане нож, кося, как змея, рассекает воздух, кровавое пляшется коло, далеко вокруг разлетается снег, на котором алеют следы крови. Турн, в бешенстве рубя мечом, гонит свои отряды в бой. Напрасно: крестьяне держатся стойко; где стоит, там и падает, где стоит, там и колет; рысь грызется с рысью, рысь терзает рысь. Громче и громче гудит церковный колокол, чаще бьет барабан. Вдруг где-то к северу от местечка раздается звук трубы.

– Что за черт? – кричит Фратрич. – У наших ведь нет трубы.

Гремят ружья, трещат выстрелы. С северной стороны врывается сильный отряд краньских всадников. Он обошел гору, чтобы ударить крестьянам в тыл. Высоко развеваются знамя, бешено режут трубы, на широкополых шляпах пляшут перья, в воздухе сверкают мечи. Они несутся, как черти, а впереди бихачский капитан Данило Ласер из Вилденека. Навстречу им бросается Купинич с кучкой людей. Всадники яростно рубят крестьян, крестьяне в ответ шлюют им из-за

оград и из окон смертоносный огонь. Посреди местечка стоит старая башня. Туда-то забрался Дрводелич с пятнадцатью стрелками.

– Видишь ты вон того черта, украшенного перьями? – сказал Дрводеличу Никола, сын брдовецкого кузнеца, показывая на Ласера. – погоди! Этот заяц мой.

Он нагнул голову, прицелился и выстрелил. Ласер упал навзничь, а взбешенный конь поволок его по окровавленному снегу. Среди воинов в башне раздались веселые возгласы.

– Ловко, прямо в лоб угодил! – закричал со смехом смуглый сын кузнеца. – Пали еще, ребята!

И снова смертельный огонь из башни косит ряды всадников. Третий их погибает, знаменосец падает от топора, копьё пронзает трубача, но они, как бешеные, продолжают рубить налево и направо и все дальше врезаются в массу крестьян. Купинич на коне рубит, как обезумевший. Он ранен в левую руку. Ничего, рубит по-прежнему. «Бей, во имя бога!» Но вот отряд ускоков появляется посреди села и напирает с тыла. Он тайком пробрался вдоль реки, за домами, и ворвался в местечко. «Огонь!» – орут ускоки. «Руби!» – кричат всадники. Всюду кипит бой. Ничего не слышно, кроме трескотни ружей, звяканья сабель и стонов. Фратрич еще держится у въезда. Черный Матяш размещает стрелков в большом доме у дороги и оттуда открывает такую пальбу, что крестьяне падают в снег, как снопы. Ярость все усиливается. «Ломайте дом!» – раздаются крики, и люди с топорами бросают-

ся на убежище Матяша. Сзади еще громче гремит труба. О, ужас! У скок прикладом размозжил голову Фратричу. Всадники пробиваются, нажимают с тыла. Крестьяне окружены, сдавлены. Ускоки врываются в дома. Местечко ярко пылает. «Палите из пушек!» – кричит Турн. Блестит огонь, ядра режут и разносят в мелкие клочья целые отряды крестьян. Они бегут, а ускоки с гиканьем преследуют их по окровавленным телам и загоняют ножами прямо в горящие дома и в холодную Саву. Люди или убиты, или разбежались, или схвачены. Видишь, вон там на пригорке каменный дом? Из окна выглядывает мушкет. Здесь еще держится последняя горсточка, пятьдесят человек, во главе с Купиничем. Бледный, весь в крови, он все же спокойно стоит возле мушкета. «В атаку! Бей!» – орет Турн, и обезумевшая толпа кидается на пригорок. Раздается залп. Двадцать ускоков повалились мертвыми, и в этот момент Купинич с мечом в руке выбегает из дома, и за ним все его люди.

– С богом! За старую правду! – кричит командир. Но его сражает пуля, он падает на колени, и десяток ножей вонзается в его геройскую грудь. Ни один из его товарищей не остался в живых. Все полегли перед пылающим домом, подле своего командира.

Турн побледнел. Воздух содрогается от дикого рева. Люди озверели. Эх, всадники гонят крестьян в Саву! А ускоки? Барабан бьет сбор. Но они не обращают внимания, они заняты другим делом. Горе тебе: если у тебя был дом – он сгорел;

была скотина – зарезана; был ребенок – задушен, горе тебе, если у тебя была жена...

Полдень давно миновал. На колокольне рыдает колокол. Что это – «Ave Maria»? Набат? Похоронный перезвон? Спустилась ночь. А воины все рыскают по местечку, как волки в поисках добычи, выволакивая из домов перепуганных женщин. Вот среди снега чернеет пожарище. Перед ним сидит и плачет мать, а языки пламени еще лижут амбар. Над местечком стелется дым. Куда ни глянешь, везде снег багрянеет от крови. За каждым забором, на дороге лежат изуродованные окровавленные трупы, в руках у них нож или ружье, а там, где возвышается целая гора трупов, там лежит и маленький сапожник. Половина крестьян убита, мало кому удалось спастись бегством. Но мертвым хорошо, а каково живым, попавшим в лапы Турна? Вон они стоят, привязанные к деревьям, среди них командиры Туркович, Бартолич, Дрводелич. Горе им!

– Погодите, собаки! – кричит им Турн. – За каждую каплю благородной крови Ласера по одной собачьей крестьянской голове!

Медленно текут у них слезы по лицу, медленно течет по снежной равнине Сава и уносит сотни мертвых хорватов, уносит их назад, домой. Не к матерям ли, к женам, к детям?

Господин Турн собрал войско перед церковью.

– Вождей этой крестьянской сволочи, – сказал он Матяшу, – пошлите завтра под крепкой стражей в Любляну. Вы

останетесь здесь со стрелками, а я чем свет пойду с остальным войском на помощь вдове бана в Хорватию. Да, погодите, – добавил подполковник, – надо отметить дома, которые были против нас. Каждому хозяину отрезать нос и левое ухо, и пусть носят это клеймо на страх другим.

Сквозь мглу виднеются костры, вокруг них сидят хорватские пехотинцы, краньские; они пьют, поют, пляшут коло. Можно подумать, что Иванов день. В глубокой тьме раздается страшный крик несчастных пленников, которым нож ускоков ставит кровавое клеймо. А над багряным пламенем, над снежной пустыней вьется черный ворон и каркает: «Эй, старая правда! Эй, свобода, где же ты? Под чужим государем, за чужого государя хорват убивает хорвата, словенец – словенца, брат – брата! Эй, радуйся, черный ворон! Тебе досталось их сердце! Ты будешь пить их черные очи!»

7 февраля 1573 года, когда на колокольне церкви св. Краля пробило полдень, крупные отряды всадников вступали в мирный Загреб, где и так уже кишела пехота бана.

Впереди отряда, на белом коне, в латах и железном шлеме, на котором качался пучок белых и синих перьев, гарцевал господин Гашпар Алапич, ставший после смерти Фране Слуньского наместником бана. Он был бледен, утомлен, конь и оружие его были в грязи; всадники его также устали, а кони измучены. За наместником беспорядочной массой трусили вольные крестьяне Барбары Эрдеди в синем, зеленые копьеносцы под знаменем Зринского и туropolьские дворяне; последний отряд гнал перед собой толпу босых, бледных и оборванных крестьян, связанных веревкой. Всадники петринской дорогой доехали до площади Хармицы и выстроились здесь, связанных же крестьян епископская стража повела во дворец епископа. Только что Алапич собрался сделать перекличку, как от ворот Капитула подскочил капитан банских гусар Ладислав Пловдин и, приветствуя Алапича, сказал:

– Вельможный господин! Благородный господин бан, узнав, что вы прибыли, просит вас немедленно к себе во дворец.

– Хорошо, господин Ладислав. Я сейчас поеду за вами, –

ответил лениво Алапич; потом крикнул строгим голосом: – Молодцы! Подождите здесь, покуда не придет приказ от господина бана, – и, пришпорив коня, понесся к воротам Капитула.

В зале епископского дворца, во главе длинного стола, сидел мрачный и задумчивый епископ Драшкович и перебирал письма. Ему что-то оживленно рассказывали подбан, нотариус Петричевич и великий жупан загребский и вараждинский. Кругом стояли капитаны харамий, командиры банских гусар и усатые главари ускокских отрядов. Когда на пороге зазвенели шпоры маленького Гашпара, все оживилось, а епископ поднялся и, шагнув навстречу вошедшему Алапичу, протянул ему обе руки.

– Аве, рыцарь Шиклоша и Керестинца! – приветствовал его епископ. – Благодарю вас, наш славный герой! Я уже слышал, что вы нам несете хорошие вести. Садитесь, вы устали.

– Видит бог, устал, – ответил Алапич, кланяясь, снял шлем и отер пот со лба. – И не удивительно, *reverendissime*, – продолжал он, садясь рядом с баном, – если вчерашний день и не отмечен в календаре, то, ей-ей, он все-таки был красный.

– Рассказывайте! – сказал епископ. – Впрочем, нет, пойдите ко мне. А вы, господа, ждите здесь моих дальнейших приказаний.

В комнате бана Гашо скинул латы и оружие, сел около печки и, в то время как Драшкович, по своему обыкновению,

шагал взад и вперед, начал, положив ногу на ногу, свой рассказ:

– Тут дело нешуточное, *reverendissime*; во всех краях мужичье кипит, как в котле. И идет на нас. Расскажу вам вкратце. Окич, Самобор, Ястребарское, Керестинец и драганичаче поднялись против моей сестры в тот самый момент, когда брдовчане перешли Сутлу. Эта весть была как гром среди ясного неба. Сестра старалась успокоить кметов. Безуспешно. Она умоляла Турна прислать ей из Жумберака ускоков, но тот ответил, что они ему самому нужны и что сами они ненадежны. Собаки кметы подожгли также Керестинец. Их собралось около двух тысяч, и они должны были идти в Ускокские горы и дальше в Краньскую. Тогда я поплевал на руки, собрал туропольпев, свободных крестьян моей сестры, занял у господина Зринского всадников и – в дорогу. Все оказалось легче, чем я предполагал. Во-первых, у этой сволочи было мало ружей, а во-вторых, мне помогло предательство. Ко мне из Краньской явился некий метличанин Никола Дорочич и раскрыл все их планы. У него в крестьянском войске был знакомый командир. Никола. Его-то и купил мой кошелек, а крестьяне на него чуть не богу молились. Никола и убедил их не идти в горы, а пойти равниной через Самобор в Краньскую. Я же распустил слух, что иду на Ястребарское, а сам расположил войска в лесу под Керестинцом. И вот вчера на заре, когда мужики проходили там беспечно толпами, как муравьи, мои всадники, *reverendissime*, броси-

лись на них, как черти, и ударили по скотам спереди и с тыла. Три часа мы молотили – вся равнина была покрыта трупами. Шестьсот человек полегло, но и нам это обошлось не дешево, потому что кметы злы, как собаки. Потом я пошел в Мокрицы, где встретил Турна, который позавчера разбил бунтовщиков под Кршко. Он спешил нам на помощь, но мы в ней больше не нуждались.

– А Грегорианец? – спросил епископ.

– Сидит в каше, которую сам заварил и сам же в ней ошпарился. Раньше был, как бешеная собака, а теперь виляет хвостом, как сука.

– Злодей! Он обагрил кровью королевство. А ускоки?

– Теперь успокоились. Они уже были готовы присоединиться к крестьянам. Но Турн подоспел вовремя. Бросил им в пасть несколько кошельков с цехинами, захватил вождя восстания – Ножину, названного брата Илии, повесил троих ускоков и приказал расстрелять одного попа; и теперь ускоки ему верны. Но с этой чертовской историей еще не покончено. Надо бояться за Ново-Место, Метлику и Озале. Все пылает до самого Целя. Штирийские и краньские бароны дрожат, как в лихорадке. Крас и Горенское волнуются, зараза проникла также в Каринтию. Горенские, триестские и каринтийские дворяне вербуют войска, а в Краньской и Штирип ополчение уже стоит под оружием.

– Знаю, – сказал сердито епископ, – мне писали штирийцы, а также император и эрцгерцог Карл. Укоряют меня

в бездействии. Видит бог, с меня довольно этого банства! Сколько раз я писал, чтоб суд убрал Тахи, эту язву нашего королевства, виновника всего этого кровопролития. И разве мы не посылали Кеглевича и Брзая к королю, прося помощи против крестьян? И все безуспешно. Я умолял генералов Вида Халека и Ауершперга прислать нам пограничников. «Не можем, – отвечают, – без приказа императора». А приказ не приходит, и мне сдается, что немцы были бы довольны, если б крестьяне нас побили. И выходит, что виноват я! Но слушайте дальше! Теперь, когда льется столько невинной крови, когда все королевство пылает, когда восстание разлилось до Вараждина и Крижевцев, в такое-то время я получаю письмо от императора: ввести госпожу Хенинг во владение половиной Суседа и постараться убедить Тахи отдать другую половину за деньги. Неужели для этого нужно было девять лет?

– Это тонкая политика! – усмехнулся Алапич. – Признаться, я немилосердно бью крестьян, и мы должны усмирить их совершенно, потому что они поднялись на дворян, но у меня сердце обливается кровью, когда я вижу, как народ в отчаянии теряет голову. Если б было больше справедливости, чем милости, могло бы обойтись и без этого.

– Да, domine Гашпар, и я не жестокий человек, но это ядовитое растение надо вырвать с корнем, потому что дело идет о жизни всего дворянства, ибо в кметов вселился сатана. Видя, что от немцев нет помощи, я призвал в Загреб ополчение королевства Славонии. Потому-то я вас и пригласил. Вы

станете во главе его. В Загребе я собрал пять тысяч отборного войска – харамии, ускоки, банские гусары и канониры. Да и вы привели прекрасный отряд. Поэтому с богом в путь! И завтра же!

– Уже завтра?

– Да, – ответил решительно епископ, – у Стубицы и Златара собралось шесть тысяч крестьян, и ведет их Матия Губец. Весь народ до самого Междумурья ждет его, и если только Илия Грегориц из Штирии соединится с Губцем, нам придется туго! Этому необходимо помешать. Не теряйте времени. Докажем, что мы сами можем совладать с восстанием, что мы здесь хозяева и что мы не нуждаемся в помощи немцев.

– Vene, reverendissime, пусть будет по-вашему. Завтра я двинусь на Стубицу, но не раньше полудня. Войску надо отдохнуть, да и моим грешным костям нужен покой.

Через час по улицам Загреба загрели трубы и затрещали барабаны. Из дворца епископа поскакали офицеры к своим отрядам, объявить им приказ быть готовыми к завтрашнему дню, так как войско выступит в поход на север.

Стубицкая долина опоясана горными массивами. Они тянутся с обеих сторон: слева – крутые, справа – спускаясь пологими холмами. Начало долины, у стубицких Топлиц, широкое, но потом горы постепенно сближаются, долина суживается, и, наконец, за селом Верхняя Стубица, над которым высится замок Тахи, начинаются горы. Все покрыто снегом – и волнообразные вершины гор, по которым лепятся маленькие домики, и деревья, и крыши крестьянских изб. В этой долине и в этих горах расположилось войско Губца – шесть тысяч человек – в ожидании Илии Грегорича и его отряда.

Зимняя ночь. По небу бегут облака, ветер гуляет в горах и по долине, мир объят непроницаемой тьмой. В темноте, словно искры, светятся огоньки изб; в долине крестьяне зажгли костры и, тесно прижавшись друг к другу и опустив головы на грудь, спят вокруг огня. Иногда мимо костра проедет всадник, проверяя спящие отряды, и быстро исчезает во мраке; время от времени раздается в ночи протяжное «ой» стражи и разносится дальше по долине и по горам. На вершине, что напротив Топлиц, стоит избушка. Здесь передовой пост; перед дверью воткнут высокий кол с пучком соломы на конце, а в избушке Андрия Пасанац греет руки и смотрит в огонь; на земле лежат парни, а у открытых дверей сидит закутанный в тулуп крестьянин с ружьем в руках и смотрит

рит в темную ночь. Под горой направо, на пологом холме, в самом узком месте долины, стоит маленькая церковь, а рядом в снегу торчат деревянные кресты. Это кладбище, и отсюда можно видеть всю долину. Посреди кладбища развевается большое белое знамя с черным крестом, вокруг кладбища насыпан вал, а за ним стоят четыре железные пушки на колесах. Двери открыты, в церкви горит лучина. На полу, на соломе, разостлана безрукавка, на которой спит девушка. Она подложила худые руки под голову и повернула бледное, увядшее лицо к лучине. Это Яна. Около нее сидят двое. На камне – пожилой человек с сединой, но с молодой душой и с горящими глазами; на черной шапке длинное перо и белый серебряный крест, на жилете блестят серебряные застёжки, на плечи накинута нарядная тулуп; локтями он упирается о широкую, кованную серебром саблю. Это Губец. Перед ним сидит на земле, обняв руками колени и вперив взгляд в вождя, бледный молодой крестьянин – Могаич.

– Никаких вестей от Илии, – проговорил Губец, – а обещал обо всем сообщать мне. Знает ли он, что наши потерпели поражение под Керестинцом? Плохо дело. Измена. Да! Кто ж тебя и предаст в первую голову, как не свой? Но ничего, – и крестьянин поднял глаза, – Илия и Матия еще держатся, а господа трясутся. Знаю. Стоит только крикнуть, что и мы люди, как уж их бросает в дрожь.

– Дядя, – сказал Могаич, – ты настоящий человек, ты замечательный человек, ты лучше любого графа. Народ тебя

почитает святым. А знаешь ли ты, что я тебе скажу, о чем ты и не подозреваешь? Командиры совещались между собой.

– Совещались? Без меня?!

– Без тебя, но о тебе! Они решили завтра провозгласить тебя королем. Тебя венчают короной, и ты будешь править крестьянами.

– Они рехнулись! Разве каждый честный человек достоин быть королем? Разве нет сотни людей лучше меня? На свете есть только один король.

– Кто?

– Бог! В его руках скипетр, он правит миром. Говорю тебе – они рехнулись. Передай им это от моего имени. Неужели мы поднялись и поставили на карту свои головы, чтоб играть в правителей и королей? На что это нам? Мы обнажили мечи, чтоб завоевать себе свободную жизнь, как у других, чтоб сердце наше могло радостно биться, как оно хочет; мы поднялись, чтобы больше не гнуть спину, как рабы, перед людьми, которые родились из такой же, как и мы, немощной утробы. В руках божьих и наше счастье и наше несчастье. Я уповаю на бога и верю, что мы победим. Но если нас и постигнет неудача, то мы все же не зря прольем нашу кровь. Тысячелетия проходили, а мир блуждал во мраке язычества. Но наконец пришло спасенье, пришел сын божий и научил нас, что человек должен любить человека, как брат брата. Если даже нас растопчут копыта господских коней и в наши головы вонзится мученический венец, то все же на-

ша кровь будет залогом лучших времен, она будет взывать к богу; и верю: займется наконец день, когда восторжествует единая справедливость и для дворцов и для хижин. Но бороться мы должны до последней капли крови; пусть увидят, что и наш кулак крепок; мы должны бороться, даже если нам суждено погибнуть, потому что честный человек думает не только о себе, но и о тех, кто придет после него. Ведь не каждому приходится собирать плоды с дерева, которое он посадил. Будем думать, сынок, и о наших внуках и правнуках.

Парень опутив голову слушал слова вождя, как вдруг вдалеке глухо прозвучал выстрел. Губец поднял глаза, а Могач побежал к дверям.

– Дядя, – крикнул он, – перед избушкой Пасанца вспыхнула солома, сигнал опасности. Будить воинов?

– Подожди, – сказал Губец, – сперва узнаем, какие вести.

Через четверть часа к церкви подбежал громадный Пасанец и с ним маленький человек в тулупе и меховой шапке, надвинутой на уши.

– Командир, – сказал взволнованный Пасанец, хватая Губца за руку, – этот человек пробрался из Загреба через горы и принес тебе вести.

– Что скажешь? – спросил Матия, поднимаясь на ноги.

– Загреб полон войска, – сказал, тяжело вздохнув, маленький человек, отряхивая лед с усов, – Алапич пришел вчера из Ястребарского и теперь идет на тебя. Этой ночью он выступит из Загреба.

– Что же, мы его и встретим с божьей помощью, – сказал вождь. – Сколько у него войска?

– Да больше пяти тысяч.

– Какие войска?

– Есть и войска бана, и вольные, и гусары, и ускоки, есть и большие пушки.

– Ладно, – Губец кивнул, – Джуро, буди воинов!

Могаич зажег фитиль, бросился к пушке у ограды; в темноте вспыхнул огонь, выстрел разнесся по горам. Сразу же зажегся длинный ряд соломенных пучков по долине и в горах. В ближайшем отряде раздался выстрел, ему откликнулись из второго отряда, потом из третьего, и так все дальше и дальше. Протяжно загудел в ночной темноте пастуший рог, в долине пронесся рокот барабана. У костров, как муравьи, закопошились люди. Крики становились все явственнее, мимо огней проносились темные фигуры; горная котловина стала похожа на бушующее темное море. На кладбище собрался стубицкий отряд – все люди среднего роста, сухие, с острыми лицами, но сущие дьяволы; за поясом топоры, в руках ружья. Ведет их Павел Брезовачкий, тоже стубичанин. Пришло еще человек двадцать пожилых, но крепких крестьян из разных краев – отставные банские бомбардиры. Каждый подошел к своей лумбарде. В церкви, вокруг Губца, сидят командиры Андрия Пасанац, Джуро Могаич, Винко Лепоич – плечистый стриженный парень с маленькими глазами и смешливым выражением лица, Нико Позебец – красавец с

живыми синими глазами. Грга Вагич – глашатай из Орославля, и Павел Брезовачкий.

– Братья, – сказал Губец, поднявшись, – господа идут на нас. Ведет их Гашпар Алапич. Завтра будет литься кровь. Придется засучить рукава. Нас, слава богу, довольно, не сразу одолеют. А если бог поможет, то и мы их одолеем. Я собрал вас, чтоб сообщить об этом и чтоб мы могли как следует подготовиться, прежде чем на нас налетит враг. Все ли отряды вы подняли?

– Да, все на ногах и под ружьем, – отозвался Пасанац.

– Хорошо, братья, – продолжал Губец, – а теперь договоримся по-братски, как нам распределить наши силы, как вести нападение и как построить защиту.

– Я считаю, – крикнул Вагич, ударив по широкой сабле, – что надо всем вместе идти против них.

– В уме ли ты, Грга, – и Брезовачкий закачал головой, – неужели ты хочешь ухватить бешеного быка за рога, чтоб он тебя бросил оземь?

– А ты что думаешь, вождь, – спросил Позебец Губца, – ты всех нас умнее. Пусть говорит Матия. Так, братья?

– Говори! – крикнули командиры.

– Я вот как думаю. Войско идет от Яковля и около церкви святого Петра спустится в стубицкую долину. Мы не можем его остановить, но и не можем ожидать его под горой. Это было бы безумие. Если мы будем внизу, то они нас сверху просто сметут. Около Топлиц долина слишком широка, там

нам тоже невозможно их ожидать, так как у них много всадников, а у нас их мало. Надо, чтобы они вошли в горы, как в тиски, и тогда мы будем хозяевами положения: у них начнется давка, кони будут метаться, а мы по ним ударим.

– Правильно, – согласился Пасанац.

– Я полагаю, что мы должны распределить наши силы следующим образом. Пасанац со своими стрелками пусть останется на вершине, у церкви святого Петра. Когда войско господ будет спускаться, пали по ним сколько можешь, а потом отойди к нам. Вагич с всадниками пусть расположится у Топлиц. Можешь драться, но не теряй головы и отступай, заманивая их между гор. Позебец будет стоять на холмах слева; я, Могаич и Брезовачкий – здесь, справа, а Лепоич войдет в самую Стубицу, где во рвах у ручья стоят пушки. Когда их войско бросится вслед за Вагичем и войдет в узкое место долины, вы с холмов откроете огонь из пушек, а ты, Лепоич, встречай их в самой Стубице; мы спустимся с двух сторон и зажмем этих вельможных героев в наших грубых кулаках. Правильно, братья?

– Хорошо, вождь! – сказали все.

– День занимается, братья, – сказал Губец, поднимаясь, – вставай! Пора! Дай бог счастья!

Командиры вышли из церкви; восток белел, облака разошлись, мороз крепчал. Могаич задержался в церкви. Свет догорающей лучины играл на лице спящей девушки. Парень стал на колени, склонился над ней и прошептал:

– Сегодня твой день, моя Яна, помоги нам бог! – и поцеловал ее в лоб. Утерев слезу, Джуро последовал за остальными.

– Прощай, Матия, – и Пасанац пожал руку вождя, – иду на свое место. Прощайте, братья, до счастливой встречи!

Отряды выстроились в долине, у подножья холма, по вершинам – конные дозорные, пешие с ружьями и копьями, тесно сбитые, голова к голове. Все серьезные, отважные люди; стоят молча и смотрят перед собой. Медленно выплывает на небо багровый шар солнца. Его лучи озаряют развевающееся знамя с крестом. Оно пылает на смуглых бородатых лицах, на блестящем оружии, освещает головы командиров, стоящих на холме, вокруг знамени. Среди них выделяется Губец: на утреннем солнце рдеют перья в его шапке и блестит серебряный крест. Левой рукой он опирается о палицу, правую положил на грудь и темными серьезными глазами смотрит на свое войско. Он заговорил громко, и слова его легко достигали до всех:

– Братья мои! Восходит солнце, над горами занимается прекрасный день; он глядит на нас, на угнетенный хорватский народ, стоящий с ружьями и саблями под святым знаменем. И спрашивает нас день: зачем вы бросили соху и плуг, жен и детей, чего вы тут стоите в снегу, на морозе? О, светлый день! Нас гонит черная неволя, а зовет – свобода, святая свобода! Мы люди честные. Мы разбили цепи – и выковали сабли, разломали плуги – и сделали копья. Пропала челове-

ческая правда. Мы восстанавливаем ее – мы, бедные кметы; и мы взываем, взываем так громко, чтобы и до бога дошло: боже, дай нам свободу, дай нам справедливость, ибо и наша душа бессмертна, и мы созданы по образу божьему, и мы твои дети! Мы поднялись за свободу, и каждый из нас носит ее в сердце и в руках. На нас идут господа, на нас наступают сильное войско, готовое вырвать наше сердце и растоптать нашу честь. Вскоре на этих высотах заблестит их оружие. Но не пугайтесь блеска хіх сабель: на их стороне – сила и дьявол, на нашей – правда и бог! Будьте крепки, поднимите головы, пусть они сегодня узнают, чего стоит крестьянский кулак; будьте крепки, держитесь стойко и разите, как гром, чтоб они увидели, что свобода может сделать из раба! Бейтесь смело – вы бьетесь за святую правду! Дело идет о жизни и смерти. Бейтесь храбро, чтоб победить, потому что если вы снова попадете под ярмо господ – горе вам! Сам дьявол в аду не придумает тех мучений, которые выдумают для вас господа; каждый день будет вам приносить новые проклятия, каждая ночь – новые мучения, так что вы станете молить бога, чтоб земля, по которой вы ходите, разверзлась. Потому-то мы и должны биться до последней капли крови. Я поведу вас и клянусь этим святым знаменем стоять подле вас до последнего вздоха и отдать свою жизнь за свободу! Клянетесь ли и вы?

– Клянемся! – загремело по долине.

Тогда Вагич выбежал вперед, стал перед Губцем и, подняв

саблю, крикнул:

– Матия, будь нашим королем!

– Молчите! – крикнул Губец. – Я хочу быть только свободным человеком. Подумаем о царе небесном и обратим к нему наши сердца.

И, сняв шапку, вождь преклонил колена, его примеру последовали командиры и все войско. Губец воскликнул:

– Боже праведный! Боже милостивый! На голой земле стоят перед тобой на коленях твои бедные дети и взывают из глубины своего сердца: смилуйся, услышь нас, освободи нас! Наше сердце открыто перед тобой; ты видишь, что мы правы. Прости над нами свои милостивые руки, чтоб мы обрели славу под твоим знаменем. Освободи нас! Аминь!

«Аминь!» – пронеслось по рядам. «Аминь!» – прошептали бледные губы Яны, которая, со сложенными руками, стояла на коленях у церковных дверей и смотрела на Матию Губца.

С востока послышался выстрел, на высотах засверкали копья войска господ.

– Вставай, братья! – вскричал Губец, поднимаясь. – Господа идут! Добро пожаловать! Вставай! За старую правду, за святую свободу, с богом!

Со стороны Яковля доносился странный шум – не то море, не то буря. Медленно движется войско, ползет по снегу, словно черное чудовище. Близ церкви св. Петра показался

отряд банских гусар с саблями наголо. Едут осторожно, оглядываясь по сторонам. Вот они на спуске под крутым холмом, поравнялись с избушкой. Из нее раздаются три выстрела, и один за другим три всадника падают в снег. Но подходит более крупный отряд. Из-за изгороди и избушки торчат крестьянские шапки. «Пали!» – раздается голос Пасанца; пули градом осыпают гусар и косят их ряды: они отступают. «Слышите! – говорит Пасанец. – Гремит барабан, это пехота идет. Все ли готово?» – «Готово!» По дороге, с барабанным боем, идет сильный отряд харамий. Из избушки грянули выстрелы, и передовые харамии повалились в снег. «В атаку!» – кричит поручик; и пехотинцы с криками полезли на горку, но с вершины гремел выстрел за выстрелом, и солдат за солдатом скатывались вниз, как комья снега. «В атаку!» – крикнул поручик и упал раненый. «В атаку!» – прохрипел он, уже лежа в снегу. Солдаты снова кинулись вперед. Все тихо. Ага, вероятно, у этой сволочи вышел весь порох. Гей, гей! Солдаты достигли вершины, добежали до избушки, разломали запертые двери. Эге, крестьяне убегают! Избушка удобна для обстрела. И солдаты ворвались внутрь. Но раздался оглушительный взрыв, взвилось огромное пламя, и избушка вместе со всеми солдатами взлетела на воздух; руки, ноги, головы, оружие посыпались, как дождь, на окровавленный снег. Это Пасанец взорвал их. Войско объято ужасом и яростью.

– Вперед! – закричал Алапич, подскакав к первым отрядам.

Войско стало двигаться дальше. Оно текло, как черная река; конница медленно продвигалась по дороге, пехота – ружья наготове – шла нестройными кучками, а позади, на волах, поддерживаемые иваницкими канонирами, тянулись пушки. Теперь войско развернулось в поле около Топлиц, перед входом в долину.

– Остановите отряды, – крикнул Алапич командирам, проскакав вдоль рядов, – за Топлицами в поле стоит сильный отряд крестьян. Надо быть настороже.

Трубач затрубил, и скоро командиры отрядов собрались около начальника.

– Господа, – сказал он, – прошу вас наблюдать за своими солдатами, чтоб нам не осрамиться. Крестьяне в остервенении. Они хорошо вооружены. Пехота, харамии и ускоки станут в центре, конница – с правого и левого флангов; вы, господин Пловдин, будете справа с гусарами бана, а слева господин Арбанас с туропольцами и господин Фаркашич с копьеносцами Зринского; пушки пусть будут в тылу. Пехота будет наступать прямо вперед, а конница нападет с флангов. Теперь войска пусть отдохнут часа два, а там что бог даст! Выставьте, господа, на всякий случай передовую охрану!

Было примерно девять часов утра 9 февраля 1573 года, когда по рядам ополчения забили барабаны и загремели трубы. «Стройся! Смирно!» – раздалась команда офицеров, стоявших перед своими отрядами, с саблями наголо. На зимнем

солнце ряды ружей и штыков пехоты блестели, как серебряные колосья. Весело развевались перья на шлемах всадников. Трубач Алапича затрубил, ему ответили другие трубы, знаменосец поднял знамя бана, а за ним поднялись знамена других отрядов.

«Вперед!» – дал приказ Алапич, и войско двинулось, развертываясь все шире и шире и угрожая захватить Вагича в тиски. Уже началась перестрелка передовых постов. Крестьяне целились во всадников из-за деревьев. Слева за Топлицами господин Арбанас поскакал с туропольцами через кустарник, чтоб обойти Вагича справа. Впереди весело неслись дворяне в голубых мундирах, да, видно, не в добрый час из-за снеговых окопов посыпался на них смертоносный град пуль, и конница принуждена была отступить к главным силам. Пловдин налетает все яростнее, банские гусары стрелой несутся в атаку на левое крыло крестьян, но на полпути перед ними вырастает отряд крестьянских всадников. Страшно было это столкновение, все сплелось в один клубок, – но очень скоро верх взяли гусары, изрубленные крестьянские всадники все пали мертвыми в снег. Барабан ускоряет свою дробь, все чаще звучит труба; начинается ружейная трескотня. Вагич отступает так стремительно, что кажется, будто он бежит к выходу в долину. Ура! За ним мчится Пловдин. Отряд Вагича бьется уже у самого выхода в долину. Гусары совсем близко, но вдруг отряд крестьян развернулся и осыпал их огнем, а с крутого холма Позебец ударяет в самую их гушу

из двух пушек. Пловдин не обращает внимания, гусары падают, как снопы, но продолжают рубить и пробиваться вперед, следуя за своим начальником. «Вперед, молодцы! Бейте крестьянских собак!» – командует капитан и хочет замахнуться на Вагича, но новый залп крестьян разрежает ряды гусар, и пуля поражает храброго Пловдина в грудь; он погибает под копытами своих же всадников. При виде гибели гусарского капитана среди крестьян раздаются радостные возгласы, а гусары приходят в замешательство.

Мчавшийся вдоль тесных рядов пехоты Алапич побагровел от гнева. Глаза его горели, губы дрожали. Вырвав знамя из рук знаменосца, он взмахнул мечом и крикнул:

– Вперед! Бейте! Трусы! Позор! Вы храбрецы и испугались этих проходимцев, которые побросали плуги, чтоб грабить. Вперед, всадники! Вперед, ускоки!

Над узкой долиной сияет солнце, кругом сверкает снег, блестит оружие тысячной массы, которая в этой котловине кидается и мечется в кровавой схватке не на жизнь, а на смерть. Как буря, несутся зеленые всадники Зринского, копья наперевес, сметая перед собой отряды крестьян, но из рвов, из-за каждого куста или дерева гремит выстрел за выстрелом и валит всадников. Быстрой рысью в долину прорываются смуглые ускоки в шапках. Плащи их алеют, как дикий мак. Ведет их Страхинич. Но с ближних холмов гремят пушки, ядра падают в самую середину, и ускоки то рассыпаются, то вновь смыкаются. Дошли до деревянной избы у

дороги. Три раза шли в атаку, и три раза отступали, в четвертый – густой массой, как муравьи, они овладели избой и перебили всех крестьян. Тесными рядами, медленно движутся харамии с опущенными ружьями. Синие туропольцы теснятся рядом с ними на конях. На повороте дороги, около лесочка, на войско господ бросается конный отряд крестьян. В один миг сабли скрестились, как огненные змеи, а палицы удавили, как гром, по ломким щитам. В лесочке за каждым деревом, став на одно колено, крестьяне целятся, стреляют снова целятся; кони вздымаются на дыбы, всадники падают. В долине кишит целое море голов, а над ними сверкает оружие, как белая пена на гребне валов. Все войско бана вошло в долину. Алапич кричит и подбадривает громким голосом:

– Вперед, вперед!

Тесня перед собой Вагича, они прошли уже половину долины. Теперь они уже близ местечка Стубицы. Но внезапно отряды Вагича расступаются, и перед сомкнутыми рядами войск бана оказывается поток, а за ним высокий земляной вал, на котором стоит Лепоич с десятью пушками и двумя тысячами крестьян. Раздается десять выстрелов, серебристо-белый дым стелется по земле, ружья трещат, стрелы свистят. Первый отряд ускоков – сплошное кровавое месиво. Ряды харамий дрогнули, всадники начали в беспорядке отступать.

– Канониры, вперед! – орет Алапич.

Из-за плотной изгороди сада блеснули дула ружей. Огонь

по рву срезал крестьянские головы с насыпи. Над полем битвы нависла туча дыма, в которой едва можно было различить почернелые, окровавленные фигуры ожесточенно дерущихся людей.

– В атаку! – приказывает Алапич.

И пехота бросается на ров, ползет по земле, взбирается по лестницам, цепляется ногтями, орет, падает, стонет. Но вот с флангов стремительно спускаются с гор густые толпы крестьян и бросаются на войска бана; от маленькой церкви идет стубицкий отряд; впереди, на конях, Губец и Могаич.

– С нами бог! За старую правду! – гремит голос вождя. Они, как рыси, кидаются на харамий. Топоры сверкают и рубят, ружья трещат, глаза Губца мечут искры, его палица наносит беспощадные удары, а рядом с ним Могаич, как ангел смерти. Один отряд харамий уже окружен крестьянами. Он силится прорваться. «Разгоните крестьянскую сволочь!» – кричит байский капитан и бросается вперед, по пистолет Могаича укладывает его на месте; кольцо крестьян все суживается, и вскоре от харамий остается только груда тел.

– Прорыв, прорыв нужен! – кричит Алапич. Лицо его черно от дыма, вражеская пуля сбила перья со шлема. – Ребята, в атаку! Проклятое мужичье нас теснит! – На мгновение все как будто притихли, потом сразу во всех частях загрели барабаны, затрубили трубы, и, как яростное море у прибрежных камней, густые массы войск с ревом поднялись на стубицкие окопы. Воины в полном исступлении, никто не

думает о смерти. Сверху на них сыплется град пуль, дождь стрел и катятся камни, разбивая головы и ломая кости. Но им все нипочем – лезут и лезут, как черти. Топоры рубят головы, ножи вонзаются в бока, падают навзничь убитые, но, прячась за мертвых, карабкаясь на плечи других, живые с криками наседают, как сумасшедшие. Эй! Первый ускок взобрался на окоп, замахивается ножом, качается и стремглав падает вниз. Но за ним лезет второй, третий. Пушки смолкли. Войско хлынуло в окопы. Крестьяне бегут, бросая оружие. Бегут! Лепоич, подлый трус, крикнул им в страхе: «Бегите!» Изменник, трус! Накажи его бог!

– Победа, – кричит Алапч. – Прорыв!

Широким потоком вливается войско через окопы в местечко, колет, рубит и разворачивается.

– Назад, молодцы! – заорал начальник. – Теперь мы будем наступать на ущелье.

Сомкнутыми рядами, как буря, войска ринулись вперед, и отряды крестьян рассеялись, как осенние листья. Кое-где они еще защищались храбро, но копыя воинов Зринского быстро справлялись с этими горсточками. Стубичане еще держались, окруженные целой горой трупов. Дважды наступала на них пехота под командой Алапича и дважды была отбита с тяжелыми потерями. Пошли в третий раз. С горящими глазами Могаич воскликнул:

– Братья, не сдаваться! – и заколол офицера; но тот, падая, успел выстрелить из пистолета и попал храбрецу в грудь.

Могоич закачался и упал. В ярости стубичане отбили и четвертую атаку. Губец поднял бледного, раненого парня, взвалил его на коня и крикнул другу Пасанцу:

– Держись, брат! Я сейчас вернусь. Надо только укрыть раненого.

Он быстро поскакал к маленькой церкви, слез и внес туда Джуро. Яны не было. Губец уложил парня на землю, растегнул рубаху. Из богатырской груди струилась кровь. Губец стал на колени и склонился над Джуро. Тот открыл мутные глаза.

– Дядя, – прошептал он, – жжет, жжет!

– погоди, сынок, – сказал, вздохнув, вождь, у которого блеснули слезы, – дай-ка я перевяжу тебе рану.

– Оставь, пусть льется кровь, тут ничем не поможешь, – улыбнулся Джуро, – пусть льется... за свободу наших внуков. А где же Яна, моя Яна? – И раненый поднял голову.

– Не знаю, не знаю, сынок, – сказал Матия, оглядываясь, – здесь ее нет.

– Поцелуй ее за меня! Береги ее! Умоляю тебя! Плохо наше дело. Эх, Лепоич, Лепоич! Но, слышишь, там внизу еще стреляют, наши еще бьются.

– Еще... – И Губец нагнулся к парню. – Это последнее дыхание нашей свободы, последнее! О господи!

– Почему, дядя, почему... дядя... жжет... – И Джуро вздрогнул, пожал Губцу руку, повел глазами и вытянулся мертвый.

Склонившись над павшим героем, Губец закрыл лицо руками и горько заплакал.

Крики и шум все приближались. Стубичане отступали по горе, отбиваясь и отстреливаясь, но со всех сторон солдаты массами наседали на холм. Крестьяне уже были за оградой кладбища, продолжая отчаянно защищаться. Па-санац при отступлении был ранен и взят в плен. Нет командира, не осталось ни крошки пороха и свинца, две трети людей уже погибло. Ускоки набрасываются, как голодные волки, в руках у них сверкают мечи. На кладбище скрестились топоры и ножи, на могилах идет бой, встретились грудь с грудью, голова с головой, сердце с сердцем, и на холмиках могил алеет кровь, словно цветут на снегу розы. Стубичане еще защищают вход в церковь. Они стоят кругом и, размахивая топорами, косят головы ускокам.

– Труссы, – закричал подскакавший Алапич, – ударьте, бейте их!

– Остановитесь! – раздался голос из церкви, и на пороге появился Губец. В обеих руках он держал по пистолету.

И крестьяне и солдаты опустили оружие.

– Ты начальник? – спросил Губец Алапича, с удивлением смотревшего на это неожиданное появление.

– Я.

– Слушай! Дай этим людям из Стубицы жизнь и свободу, чтоб они не погибали зря, потому что у них есть жены и дети, а в благодарность я тебе скажу, где скрывается Матия Губец,

зачинщик и главарь восстания.

– Ты мне выдашь мужичьего короля? – воскликнул радостно Гашо. – Быть по-твоему: как только ты мне передашь Губца, я им дам жизнь и свободу.

– Поклянись кровью спасителя!

– Клянусь кровью спасителя, – сказал Алапич, подняв кверху три пальца.

– Вот я, бери меня, – сказал спокойно вождь, кидая оружие, – я и есть Губец!

– Ты? – воскликнул наместник бана, бледнея.

– Да, я зачинщик восстания, вождь крестьянского войска и защитник свободы.

– А знаешь ли ты, что тебя ожидает? – спросил его Алапич.

– Знаю, – ответил Губец, – идем, веди меня куда хочешь.

– Уведите его в замок Стубицу, а этих крестьян оберегайте от всяких обид.

– Прощайте, братья! – обратился Губец к оставшимся последним храбрецам своих отрядов, которые со слезами на глазах стояли вокруг него на коленях. – Встаньте, на колени становятся лишь перед богом. Мы проиграли. Такова воля божья. Я погибну, но вы живите, возвращайтесь домой, к своим, чтоб не прекратился наш род. Не падайте духом. Бог даст, и настанет день святой свободы. Благословляю вас, и вы простите меня. Об одном прошу: я оставляю Яну, несчастную сироту, на вашем попечении. Будете заботиться о ней?

– Будем! Будем! – ответили крестьяне, опустив заплаканные лица и целуя руки своего вождя.

– Прощайте, братья! Прощай, свобода! Прощай, моя родная колыбель! – воскликнул Губец, отрываясь от крестьян. – Господин начальник, я готов, веди меня!

Вершины гор над стубицкой долиной озарены лупой, куда не глянешь – снег искрится алмазами, а по всей долине на снегу цветут кровавые цветы смерти. Шесть часов бились здесь свобода и сила, шесть часов сиял здесь первый луч сознания хорватского народа и – померк. Свобода хорватов поправа хорватами же. Длинными рядами, словно скошенные одним взмахом косы, лежат бледные мертвые герои – те же лица, те же черты, та же колыбель, разные одежды, но одно проклятие. В голубом сиянии ночи алеет пламя горящих сел, где ускоки грабят добычу, откуда слышатся отчаянные вопли женщин, а вдоль дорог деревья среди зимы принесли страшные плоды: на каждой ветке висит закоченелый труп крестьянина, повешенного ускоками. В замке Стубица царит веселье. Господин Алапич чествует офицеров. С потемневшим лицом сидит горбун среди пьяной компании, наполняет чаши, поет песни и с криками и восклицаниями славит вином гибель крестьянской свободы. Господин Алапич угощает своих офицеров красным вином, вкусным жареным мясом, белым хлебом и крестьянскими девушками, которых ускоки силой приволокли в замок. Льется вино, глаза горят,

раздаются песни, а поруганная невинность в отчаянии взывает к богу сквозь освещенные окна замка Стубица. На кладбище спят мертвые герои, но одна душа не спит: на пороге маленькой церкви сидит бледная Яна, на коленях ее лежит тело несуженого жениха. И девушка целует, обнимает его, гладит ему волосы и сквозь слезы шепчет ему на ухо:

– Мой! Мой! Мой!

Одно лишь окно в замке темно. Две крепкие руки в окнах ухватились за толстые железные решетки, и бледное лицо глядит на безмолвное, мертвое поле. Губец! Он слышит песни и смех господ, он слышит стоны и плач крестьян. На глазах его появляются слезы, и, подняв глаза к небу, он шепчет в ночную темноту:

– О счастливые, золотые звезды! Тысячи лет глядите вы на мир и будете сиять над ним еще тысячи лет. О, как вы счастливы, звезды, потому что мое разбитое сердце подсказывает мне, что настанет день, когда вы будете озарять свободный, счастливый хорватский народ.

В то время как хорватские дворяне собирали силы для подавления крестьянского восстания, на штирийском берегу Савы одно село поднималось за другим. Движение взволновало и словенцев и разлилось мощным потоком. Крестьяне восстали в Бланце; в Райхенбурге у господ ничего не осталось, кроме голых стен замка; близ Севницы стояло войско Илии; Боштань в Краньской пылала; Андрия Хрибар принес в Ратечи петушиное перо, а кметы графа Ламберга под командой своего старосты взяли за оружие. Напрасно комендант крепости Янко Гведич умолял их остаться верными и защищать замок. Горожане и крестьяне двинулись к Зидани-Мосту и Лашко, прогнав назад поскакавшего было за ними Гведича. Шестого февраля пятьсот человек Илии добрались до штирийской Лока-на-Саве. Толпа ворвалась в дом священника Якова Келека в Слапе, взломала погреб и забрала вино. Все паромы были заняты отрядами крестьян. Народ стекался отовсюду, как муравьи, и присоединялся к хорватам. «Долой повинности, долой дорожные поборы, долой барщину и господ, мы сами господа!» – кричал повсюду словенский народ; и пугливо ежились наемники немецких баронов. Но сильнее всего восстание крестьян разгорелось по лесам штирийских круч на Саве. Козье, Пилштайн, Плапина, Пишец, Куншперк образовали одно грозное целое, от

страха перед которым задрожала и крепость Целе. Твердый, как кремень, кузнец Павел Штерц поднял в горах священное знамя восстания, горы и доли Словении огласились тысячеголосым громовым кличем «Свобода!», и разъяренный народ кинулся на своих притеснителей. От искры, блеснувшей в маленькой кузнице в Плапине, запылал весь край. Гашпар Мартун и Йожа Скомин ведут народ от монастыря св. Георгия, Юре Зупан собрал отряды под замком Хербург, Крсто Пустак командует в Бизельском близ Савы, а в Пишце поднимает кметов Филипп Вишерич. Всем осточертело рабство, и, словно горные потоки, народ стекался под знамя кузнеца с криками: «Настала старая правда! Хорваты идут! Идем все с братьями хорватами!» Затрепетали от удивления стройные ели, в страхе взвился со своей скалы орел, веселее заблестели кристаллическим блеском снеговые вершины; ибо казалось, что ураган сметет все каменные гнезда господ, взойдет заря, как некогда, когда Людевит Посавский стер с лица земли франков; казалось, это вернутся времена правления Само, – так широко разносился из темной зелени лесов над снежными волнами гор сказочно прекрасный клич: «Свобода!»

5 февраля 1573 года на монахов монастыря св. Георгия-на-горах напал великий ужас. Был полдень, они сидели за длинным столом в трапезной, наслаждаясь искрящимся лютенбергским вином и житием святых отцов, которое читал им, сидя возле пылающей печки, один из братии. Внезапно вбежал бледный как полотно толстый привратник и в

страхе едва мог пробормотать в свой двойной подбородок:

– Братья! Крестьяне из Планины идут на нас! Сохрани нас бог от дьявольской напасти!

Настоятель выронил из рук нож и, надев на седую голову черную шапочку, поплелся вниз, к монастырским воротам, за которыми слышался глухой ропот. Настоятель поглядел в окошечко. Перед монастырем теснилась толпа вооруженных крестьян во главе с сильным, смуглым детиной. Шапка с развевающимся петушиным пером была надета набекрень, на крепком теле кафтан из черного бархата, на груди красовался белый полотняный крест, сбоку сабля, за поясом пистолет, на плече внушающий страх железный молот. Рядом с ним неистово бил в барабан барабанщик в потрепанной форме ополченца и широкополой шляпе; над головами воинов виднелись топоры, косы, сабли и ружья. Детиной встал на камень и закричал:

– Братья! Сто лет тому назад ваши деды грозили кулаками господским замкам и кричали: «Слушайте! Мы хоть не господа, но все же не собаки. Дайте нам старую правду!» Но господа усмехнулись и подавили восстание ваших дедов. Теперь песня иная. Теперь мы идем не с кулаками, а с железными молотами, потому что к нам идут наши братья – хорваты! Мы не бабы, – сбросим оковы, наточим сабли, уничтожим господский кнут!

– Уничтожим кнут! Поднимем молот! – раздалось по лесу вокруг монастыря.

– Ладно! Отворите! – крикнул Павел Штерц, ударив молотом в ворота.

Показался дрожащий настоятель.

– Что вам надо, детушки? – спросил старик.

– Мы не желаем вам зла, – ответил кузнец, – мы не тронем ваше святое жилище, не сожжем и усадебных построек. Вам нечего нас опасаться. Мы пришли подымать народ в горах. Пусть каждый человек станет свободным, пусть каждый чувствует себя человеком. Ведь так учит и господь бог, не правда ли? Довольно давать и платить, довольно беспроектного рабства. Теперь мы не хуже господ. А вы, если вы вправду слуги божий, если вы одной с нами крови, объявите в церкви на все четыре стороны: бог заповедал свободу народу! А пришли мы к монастырю потому, что голодны. Ваша кухня обильна, погреба полны. Мы не силой берем, а просим: уделите людям, которые идут в Планину, откуда и я пришел. Туда и хорваты придут.

И настоятель уделил им, но ничего не сказал, а крестьяне, расположившись перед монастырем, долго распивали монастырское вино и пели: «Уничтожим кнут, поднимем молот, с нами идет наш брат, хорват!» Песня эта разносилась далеко по горам, а в монастыре монахи тихо шептали молитвы. Но вот кузнец поднял молот, громко забарабанил оборванный барабанщик, и Павел Штерц крикнул:

– Прощайте, ребята! Я должен идти вперед! А вы завтра идите следом за мной, в Планину.

В штирийском селе Планине, недалеко от Козья, в низком большом помещении корчмы, освещенном висевшим с потолка светильником, шумит народ. Все словенцы – высокие, с длинными строгими лицами, в длинных тулупах и меховых шапках. Они пьют из кружек вино, стучат кулаками по столу и ждут командира – кузнеца, ушедшего поднимать народ около монастыря. Тут и Йожа Скомин, сухой, костистый парень. Помещение низкое и темное, и в слабом свете едва можно различить движения людей. На пороге появился щуплый человечек, держа руки в карманах, судя по одежде – хорват.

– Добрый вечер, братья! – приветствовал незнакомец крестьян. – Здесь ли Павел Штерц?

– Нет, – ответил Скомин, – ушел в горы. Но скоро вернется. Ты хорват, так подсаживайся.

Человечек сел рядом с командиром.

– Да, – сказал он, – я ходатай Дрмачич, хорват из войска Илии.

– Когда ж придет Илия?

– Не знаю, – и ходатай пожал плечами.

– Как не знаешь? Он же нам дал знать!

– Гм... Да. Дал знать! – согласился Дрмачич.

– Ну? А ты чего пришел?

– Бегу.

– Почему? Говори!

– Не скажу. Вы меня заколете.

– Говори! Ничего тебе не будет, – сказал Скомин.

– Могу спокойно говорить? Честное слово?

– Честное слово. Говори!

– Бегу, потому что неохота висеть. Да, так-то! Не нравится? Вы поднялись на господ? Не так ли? За нас, за хорватов?

– Ну, да! – воскликнули крестьяне в один голос.

– Хороши герои! Где вы купили свою шкуру, что так дешево ее продаете за других? Я бы на это не пошел. Я еще не рехнулся. Потому и бегу. Что-то тут пахнет дохлятиной. Есть вороны – будут, наверно, и виселицы. В Кршко они уже стоят.

– А что случилось в Кршко? – спросили крестьяне, поднимая головы.

– Спросите у воронов! Они уж попиروвали! Турн побил и перевешал всех крестьян.

– Перевешал! – ужаснулись все; послышался ропот.

– Лжешь, негодяй! – вскричал Скомин, схватив ходатая за грудь.

– А, так! Прощайте! – И Шимун поднялся.

– Пусть говорит! – зашумели крестьяне.

– Да и перевешал-то не всех, – продолжал, стоя, Шимун, – половина уплыла по Саве.

– Правда?

– Правда, клянусь раем! Чего только не говорили! Говорили, будто ускоки придут на помощь. Какого там черта! Хороша помощь! Слыхали ли вы о Ножине?

– Да, – ответил Скомин, – это верный человек.

– Ну, коли он верный, так, значит, я – граф! Ха, ха! Верный человек! Разве честно поклясться и солгать? Разве честно обещать действовать в твоих интересах, а потом пировать с твоим врагом? Разве честно, что Ножина выдал барону Турну все наши намерения, что он повел его к Кршко и допустил, чтоб перекололи людей, как скот, что... Эх, сердце обливается кровью, когда подумаю, как ускоки побили всех наших братьев и сожгли местечко.

– Сожгли? – вскричал Скомин, побледнев и схватившись за голову; крестьяне стали перешептываться.

– Дотла! – крикнул ходатай, и глаза его заблестали. – Так будет и с вами. Будут и вас вешать и топить, Вепе, чего ж вы бунтуете? Вы надеетесь. На кого? Брежичане и метличане поджали хвосты. Вы надеетесь на войско Илии? На Илию, который запутался и с изголодавшимися отрядами набросился на ваш край, чтоб вас объесть. Вепе. В уме ли вы?

– Держи язык за зубами, собака! – крикнул Скомин и замахнулся на Дрмачича. Но ходатай, как кошка, перепрыгнул через стол и стал посреди комнаты. Двадцать кулаков поднялись на Скомина, и раздались крики:

– Не мешай ему говорить! Послушаем! Он говорит правду.

Крестьяне, стоявшие у дверей, стали потихоньку выходить.

– Я не буду молчать, – усмехнулся дерзко Дрмачич, под-

бочениваясь. – Все вам скажу. Знаете ли вы, кого поджидает Илия? Кого поджидает ваш любимый Штерц? Друзей! Турок!

– Турок?! – отозвался в ужасе народ.

– Да. Турки подкупили ваших командиров золотом! По ту сторону Сутлы нехристи уже опустошают, жгут, уводят в плен и господ и крестьян. Вас обманули. Турки проглотят господ, а потом и вас, а Павел, Илия и Губец убегут с полученным за вашу кровь золотом. А? Что скажете? И ради этого вы рискуете головой и шкурой? Придет турок, и с Планиной будет то же, что и с Конщиной: камня на камне не останется.

Толпу взорвало, Скомин побледнел, задрожал, схватил кружку и пустил ее в ходатая, но тот нагнулся, и черепки рассыпались по полу.

– Изменник! Убить его!

– Нет, нет, – кричали крестьяне, – он наш, наш! За взятку продали нас нехристям!

В этой суматохе в дверях появился кузнец, вернувшийся из монастыря св. Георгия.

– Бог мой! Что это такое, братья? А, это ты, Шиме? Где Илия?

Но ходатай молчал, уставившись на кузнеца. Вдруг он вздрогнул, показал на него пальцем и крикнул:

– Вот антихрист! Убейте его!

– Убьем негодяя! – заорали крестьяне.

– Что вы, рехнулись? – И кузнец отступил, бледнея.

– Нет, образумились. – И ходатай захохотал. – Хватайте его!

Толпа, как волки, накинулась на командира. Штерц кулаком повалил одного, другого, но ходатай бросился ему под ноги. Кузнец споткнулся и упал; разъяренная толпа окружила его и стала вязать веревками.

– Вот хорошо, – и Шиме захлопал в ладоши, – а теперь отведите турка в крепость Планину, к господину командиру Зибенрайхеру! Он вас угостит ужином, а его веревкой.

Взбешенная толпа крестьян с бранью поволокла окровавленного Штерца к замку, а ходатай Дрмачич скрылся в ночной темноте.

На запад от местечка Севницы, к северу от Савы поднимаются небольшие, пологие холмы, лежащие у подножья горы, покрытой лесом стройных лиственниц. У одного из этих холмов, под остроконечным навесом на четырех столбах, стоит грубо сделанная статуя богородицы; сердце ее пронзают семь мечей. Здесь на полянах расположилось крестьянское войско, возле старинной статуи сидел, подперев голову руками, Илия Григорич; а рядом, прислонившись к столбу и смотря себе под ноги, стоял Гушетич.

– Где же этот Дрмачич? – проговорил недовольно Илия. – Третьего дня послал его в Планину объявить Штерцу о моем приходе и сообщить мне, все ли готово. Солнце уже высоко, а его все нет.

– Почему ты не послал меня? – спросил Гушетич.

– Ты вспыльчив, а тут надо действовать спокойно и разумно, – ответил Илия.

– Но также и честно, – добавил крестьянин, – а вполне ли ты доверяешь Дрмачичу? Слишком уж он зол, да и жаден.

– Доверяю, – сказал Илия. – Что его к нам привело? Жажда мести. И покуда он не отомстит Тахи, он будет нам верен. Ну, а потом... мы и без него обойдемся.

– Ну, ладно, – усмехнулся Гушетич, – это твое дело, ты командир, но смотри, чтобы он тебя не обманул, как тот него-

дядя Ножина.

– Да, Ножина! – И Илия ударил себя по лбу. – Я готов был отдать за него правую руку. Принял его в дом, побратался с ним, а он, убей его бог, вместо того чтобы привлечь ускоков, оттолкнул их от нас и выдал наших братьев Турну. Беда! На юге у нас неудача, нам словно отсекли правую руку. Краньцы перепугаются, половина наших погибла, ускоки стоят на нашем пути, а людям из Ястребарского дорога перерезана. По ту сторону Савы нечего ждать счастья. Но, бог даст, найдем его по эту сторону реки. Отсюда пойдем в штирийские горы. Там нас ждет Штерц со своими людьми. В нем бьется сердце народа, и он поднял весь народ. Павел пойдет с нами через Сутлу к Стубице, где нас ждет Матия. Увидишь, Гушетич, как мы еще тряхнем свет!

– А чего же мы тут ждем и теряем время? – спросил Гушетич. – Да и к чему ждать Дрмачича, который, может быть, заснул по дороге в какой-нибудь корчме? У нас же есть штирийцы, которые знают дорогу, да и ты ее знаешь издавна. Идем на Планину. В горах мы в большей безопасности, чем тут, возле Савы. Двинемся сейчас же! Согласен, Илия?

– Ты прав, – ответил командир, – ведь мы и так знаем, что поднялся весь край. Пойди, передай по отрядам, что мы идем на север.

Вскоре у Севницы забили барабаны, отряды построились за своим вождем, знамя развернулось, и войско тронулось, оглашая воздух криками, как стоглавый змей, и скоро исчез-

ло в снежных горах штирийского берега.

Над горами алеет небо, на западе гаснет день и сквозь стройные стволы елей последними красными лучами озаряет нескончаемые снеговые просторы. Медленно продвигается войско по глубокому снегу; то взбираясь на кручи, то скользя под гору, воины с поникшей головой проходят через горные селенья. Где же народ? Никто их не ждет. Все ворота закрыты, и только изредка из окошка с любопытством выглянет чье-то смуглое лицо. Ни людей, ни приветствий, ни веселых криков. Где они идут – среди друзей или врагов? Так-то подготовил крестьян Павел Штерц? Наконец они достигли вершины одинокой горы. У лесной опушки стоит маленькая церковь. Люди остановились. Дальше идти нет сил, надо отдохнуть. С каждой минутой становится все темнее. То тут, то там уже зажглись костры. Они были недалеко от села Подгорья, как вдруг с севера прискакал крестьянин.

– Где Илия? – спросил он.

Его повели к нему.

– Кто ты? – спросил Илия.

– Командир Скомин, сторонник старой правды.

– Какие вести несешь?

– Плохие. Бога ради, спешите скорей в Планину. Не теряйте ни минуты! Накажи бог вашего посланца! Он повернул парод против вас. Сказал, что вы изменники и продали страну туркам.

– Мы?! – закричал Илия, вскакивая на ноги в гневе. – Вот видишь, Илия, что это за ангел? – усмехнулся Гушетич.

– Поспешите, хорваты! – умолял Скомин. – Народ разбегается. Павла Штерца наши крестьяне передали в руки немцев.

– Павла! – простонал Илия. – Вперед, ребята, на Планину, выручим Павла. Иначе мы пропали. О, проклятая змея, которую я согрел на своей груди!

Войско сразу же поднялось с места. Еще было совсем темно, когда в Планине услышали шум. Народ перепугался. Вдали, со снежной горы, освещая путь горящими ветками лиственниц, спускались к селу целые толпы хорватов. Рассвело. Илия с сорока всадниками поскакал к крепости и потребовал от коменданта Зибенрайхера выдачи пленного Павла. Но из-за крепких стен раздался насмешливый голос немца:

– Ищите вашего Павла в сельской крепости, я вчера отослал его туда под конвоем.

Проклятье! Немцы взяли Павла, они вырвали у народа его сердце! Нет спасенья! Мрачно смотрят штирийские крестьяне.

– Вперед, братья! – крикнул в отчаянье Илия, у которого на глазах выступили слезы, – на Пилштайн, на Кланец, в Хорватию, чтоб немцы не отрезали нас от Губца. Вперед, потому что из Целя идет войско господ.

– А все господское жгите! – добавил Гушетич.

И запылали факелы! Это уж не ветки лиственниц. Это ярким пламенем горят хутора, амбары и сараи господ, освещающая путь войску – от Плашшы до Козья, от Козья до Пилштайна и дальше по Сутле, к Свети-Петару. Вон Сутла в снегах, вон и хорватские горы.

– Вперед, братья! – кричит Илия, проносясь на коне. – Губец нас ждет. Здесь, на чужой стороне, нам нет спасенья. Вон и хорватская земля!

Вождь скачет, ободряет, увещевает, и войско, изнемогая, пробирается через глубокий снег. Люди падают от усталости. Но это никого не останавливает. Они замерзнут, их добьют немцы, пожрут вороны. Фальконеты застревают в снегу на кручах. «Вперед, перед нами Хорватия!» – кричит вождь, и ему вторит его друг Гушетич. Теперь они уже недалеко от Свети-Петара, от границы. Тут, между горами, долина; в нее то и спускается замерзающее войско. Люди притихли; озлобленные, они глухо ропщут. Но Илия их успокаивает, обещает и утешает. Еще немного – и мы дома, в Хорватии. Только перевалить через эту гору, там, где выход в долину. И люди лезут в гору, стремясь к этому выходу. Но что это блеснуло там в горном ущелье? Не мечи ли это? Не трубы ли? Да, да! Черт бы их побрал! Это отряды капитана Джуро Шратенбаха, это цельские латники. Мужики испуганно вострепнулись. Но поздно. С ревом труб и дикими криками ринулись латники под гору на несчастных, голодных крестьян и поражают всех, как молния. А с тыла напирают другие дьяволы.

Граф Дитрихштейн ведет на изнемогающих крестьян большой отряд наемных всадников. Наемники опустили копья и с ревом вонзают свои железные жала в крестьянские сердца. Окруженные со всех сторон, люди сбились в кучу. Без коней, без пушек, голодные, нищие, обессиленные.

– Вот хорватские горы, – гремит далеко кругом голос Илии, а Шанталич высоко поднимает святое знамя креста.

С ожесточением сопротивляется народ, еще раз в отчаянном усилии поднимаются усталые руки и стреляют ружья, рубят сабли, косы косят наемное войско. Наступают, отступают и снова наступают. Но больше нельзя выдержать, невозможно! Сдавлены со всех сторон. Шратенбах рубит и колет, Дитрихштейн бьет и разит. Латники высоко на копьях и сверху поражают голых и голодных пеших крестьян. Волки, волки режут сбившееся в кучу стадо, – и сабля коротка, и коса слаба, и ружье без заряда. Некуда податься... А командир? Его нет пигде! Они бросают ружья и сабли, косы и молоты и бегут... бегут! Куда? Нигде нет спасенья, нигде нет выхода. Крики и стоны наполняют долину, снег обагрется кровью, – гуляет всюду смерть! И не стало войска Илии, а есть только поле, покрытое мертвыми телами, и пятьсот несчастных пленников, которых с великим торжеством, под оглушительный рев труб, с развевающимся зеленым знаменем Штирии, ведет в Целе капитан Джуро Шратенбах.

В лунном свете вдоль Сутлы бегут два человека, два хор-

ватских вооруженных крестьянина – Григорич и Гушетич. Они пробились. Бегут, утопая в глубоком снегу. Кони их па-
ли. Гушетич опустился на пень.

– Не могу дальше, не могу.

– Еще чуточку, еще чуточку, – шепчет Илия. – Вон село, видишь огни? Бодрись! Я не хочу, чтоб меня взяли живым...

– Не могу.

– Несчастный! А я? Рана на правой руке горит так, что с ума сойти можно, но идем дальше. Вставай!

Гушетич поднялся, и, медленно шагая в снегу, оба добра-
лись до первого дома у церкви...

– Остановимся тут, – сказал Илия, – это дом священника.

– Что мы будем тут делать? Он нас убьет. Отдохнем где-
нибудь на сене, а потом перемахнем через Сутлу в Хорватию.
Перевозчик мне знаком.

– Нет, – ответил Илия, – я должен попасть в Пищец, чтоб
еще раз повидать жену и детей.

– Это безумие! Что ты хочешь делать?

– погоди! – прошептал Илия и саблей постучал в ворота.

В окне показался священник.

– Старик, – крикнул Илия, – отвори нам конюшню. Дай
коней.

– Кто вы такие?

– Хорошие люди в беде.

– Убирайтесь вон, – ответил священник, – вы разбойники!

– Поп, дай коней, – закричал Илия, – а не то мы спалим

твой дом. Мы не язычники, нас преследуют немцы. Дай нам коней, мы хорватские крестоносцы. Клянусь богом, мы их тебе вернем!

Старик вышел и, дрожа, сказал, подавая Илии ключи:

– Вон конюшня. Берите.

– Спасибо тебе, отец, – сказал Илия. – Коней вернем через шесть дней. Спасибо тебе! Ты спас голову двум честным людям.

Высоко в небе стояла луна и озаряла двух всадников, скакавших в эту зимнюю ночь вдоль Сутлы.

К привратнику замка Мокрицы подошел старик, монах-францисканец, и спросил, дома ли господин Степко Грегорианец. Привратник ответил утвердительно. Тогда седовласый старец медленными шагами поднялся в верхний этаж замка, тихонько постучался и вошел в комнату точно он шел по хорошо знакомым местам. В маленькой комнате за столом сидел хозяин, нервно перебирая письма. Неожиданное приветствие монаха заставило его вздрогнуть.

– Слава Иисусу! – сказал монах.

– Во веки веков! – ответил Стойко. – Кто ты, отец святой, и что тебе надо?

– Я принес тебе привет, господин Грегорианец.

– От кого?

– От двух покойников.

– Покойников?... – удивился хозяин, вставая.

– Садись и слушай, – седовласый старец сделал знак рукой; Степко подчинился. – Ты меня узнаешь? Не правда ли? Я брат Бонавентура из монастыря святого Франциска в Загребе. Раньше я носил другое имя, звали меня Иван Бабич.

– Брдовецкий священник? – И Степко от удивления даже встал и схватился за ручку стула.

– Да, сын мой, ты угадал. Я был брдовецким священником. Мне сказали, что я согрешил тем, что подстрекал кре-

стьян. Ну и бог с ними. Меня заточили на время в монастырь, но я остался там навсегда замаливать свои грехи. Теперь зовусь братом Бонавентурой. Вот пришел к тебе. Принес тебе привет от двух покойников – от твоего отца Амброза и от Матии Губца, мужичьего короля.

– Не пойму что-то, – сказал Степко, опуская голову.

– Слушай и поймешь! Твой отец умирал. Около него не было ни сына, ни снохи, был только я. Старец призвал меня, своего друга, чтоб утешить его в последние минуты жизни. Как сейчас все вижу. Он лежал в постели, держа в руках освященную свечу. Я стоял возле постели на коленях и молился. В комнате было тихо и спокойно. Едва слышалось дыхание старика. Вдруг он приподнялся. Лицо его горело, глаза сияли. Мне казалось, что передо мной святой. Он заговорил: «Старый друг, слуга божий! Вот что хочу я тебе сказать. От первой жены моей, Вероники, у меня есть сын, Степко, которого ты, конечно, знаешь. Горячая, чересчур горячая кровь. Мне, как видно, пришло время умирать, покинуть детей. Младший сын, Бальтазар, хилый, он не принесет роду моему ни потомства, ни славы. Но прошу тебя, обрати внимание на старшего. Он не сегодня завтра будет взрослым человеком. Жаль было бы если из-за своей горячности он погрязнет во зле. А соблазнов много, потому что времена плохие. Следи за ним – тебе открыты все сердца. Отец духовный, тебе его вверяю, и если он очень согрешит, впадет в тяжкий грех, пойдти и скажи ему: „Остановись! Ты выбрал

плохую порогу. Покайся!“ Коснись его сердца, обрати его к богу. Да еще скажи ему, пускай всегда помнит, что он дворянин, но пусть также не забывает, что род его вышел из народа. Народ – наша сила, без него мы, вельможи, похожи на легкие облака, которые ветер гоняет взад и вперед по небу. Мы же поступаем плохо. Давим, притесняем народ, и в сердце его вырастает ядовитое растение – ненависть. Ох, – продолжал старик пророчески, – вижу, что придет зловещий день, когда родина потонет в крови. Коса уже будет косить не траву, а головы, и крестьянский молот станет молотом смерти. Мне-то будет хорошо, я буду лежать спокойно в тихой могиле и ждать трубы господней, но сын ведь останется жить. Скажи ему, чтоб тогда он не кривил душой, чтоб сердцем его владели те же чувства, какие владели моим, потому что барство подобно листу, который зеленеет, но потом увядает, а честное и благородное сердце – цветок, никогда не вянувший, потому что его орошает господняя слеза!» Так говорил твой отец; почтенная голова его потихоньку склонилась на подушки, на устах заиграла улыбка, как предвестник вечного блаженства; я поклялся ему исполнить его просьбу. Вот я и пришел к тебе сегодня, как голос, взывающий из отцовской могилы, пришел, так как ты впал в тяжкий грех, пришел сказать тебе: «Остановись! Ты выбрал плохой путь. Покайся!»

– Я впал в тяжкий грех! – И, побледнев, Степко шагнул к монаху, но тот сделал знак рукой, и он отступил.

– Да, – продолжал старик, – теперь выслушай страшную

повесть! Было это неделю тому назад. Была суббота, и я стоял в своей келье на молитве. В это время явился ко мне посланец из суда и сказал, что меня зовет человек, которого надо напутствовать перед смертью. Я пошел за посланцем и понес с собой хлеб небесный, преосуществленное тело сына божьего. Пришли в крепость, в мрачный дом, в темную тюрьму. Там, на камне, сидел человек; на руках и ногах у него были тяжелые оковы. Светильник чуть горел, дрожащее пламя потрескивало, а заключенный вперил взор в огонь. Не успел я войти, как он встал передо мной на колени, скрестил руки на груди и сказал:

«Отец духовный, завтра мне суждено умереть. Такова воля божья. Мне все равно. Умираю я, слава богу, невинным, а бог справедлив, и я надеюсь предстать перед ним. Прости мне, отец духовный, что я призвал тебя в тот час, когда мне подносят последнюю чашу крови. Мне хотелось, чтоб ты был подле меня в предсмертные, горькие мгновения, потому что сердце мое для тебя как раскрытая книга. Читай в нем и суди сам – виновен ли я? Мне же сердце, быстрыми ударами отбивающее последние мгновения моей жизни, шепчет: ты грешен, как и все люди, но погибаешь безвинно, потому что ты искал правды, а убила тебя неправда. Да, – сказал заключенный, вскочив на ноги, и оковы его загремели, – бог окрылил мою душу, чтоб я мог подняться в небесную высь, бог дал мне горячее сердце, чтоб я мог откликнуться на каждую слезу и на каждый вздох народа, из которого я сам вышел. Я

люблю этот народ, среди которого я родился, люблю эту землю, которая меня кормит, – и вот это-то и есть причина моей смерти. Когда чаша слез переполнилась, когда вздохи превратились в бурю, тогда я поднял народ за правду. Мы проиграли. Нас погубила доверчивость и предательство наших же людей. Мы поднялись слишком рано. Плод еще не созрел. Но течение времени вечно и из непроницаемого мрака будущности мне сияет звезда спасения моего народа. Придет время, и рука вечности уравниет всех людей и что будет хорошо для одного, то не сможет быть плохо для другого. Вот эта-то моя вера и является моей виной перед людьми. Пусть возьмут мою жизнь, пусть торжествует их правда, пусть готовят мне мучения. Конечно, разнесется глупая клевета, что я злодей и выродок рода человеческого, но пройдут года, солнце правды рассеет туман, и тогда каждый честный человек скажет: он был благородный человек, вечная ему память! Но забудем земное, душа моя стремится к небу, – продолжал заключенный, снова становясь на колени, – отец духовный, прошу тебя, уготовь мне путь в рай, отпусти мне грехи. Я покаюсь тебе во всем. У меня были веские причины возненавидеть господ, но ведь и господа – люди и мои братья, а ненавидеть грешно. Прости, господи, и меня и их. Больше всех я возненавидел одного – Степко Григорианца. Он подстрекал, соблазнял, возбуждал крестьян, совал им в руки нож, он им поклялся, – и он обманул их, он клятвопреступник, из-за него пролилась кровь народа, из-за него мне снесут голову

без суда. Без суда, отец! Потому что, предстань я перед судом, пусть даже судом господ, я бы высказал им всю правду и перечислил бы все их грехи. Этого они и боятся и потому казнят меня так поспешно и ничего не записывают, чтоб для грядущих поколений не осталось никакого свидетельства их позора. Когда же из-под руки палача ветер разнесет мой пепел на все четыре стороны, ты пойдя к Степко Грегорианцу, передай ему от меня привет и скажи, что я от всего сердца ему прощаю то, что он покинул и обманул нас и нарушил свою клятву...»

Заключенный с сокрушенным сердцем исповедался во всех своих грехах, я их отпустил, подкрепил его пищей небесной и молился с ним целую ночь на коленях. Настало воскресенье. В утреннем воздухе разливался колокольный звон, в котором слышалось рыдание погребального перезвона. В тюрьму вошла стража, и тюремщик крикнул: «Идем! Пора!» Еще раз склонился передо мной заключенный, и еще раз простер я над ним благословляющие руки. Окруженные стражей, мы вышли из тюрьмы. На площади перед церковью св. Марка стояла такая толпа, что яблоку негде было упасть; все окна и крыши были полны любопытных. Впереди нас шел городской судья с жезлом, за ним мы, окруженные двумя рядами стражников, с нами же шел закованный крестьянин Пасанац, а за нами палач в красном одеянии и его помощники. Осужденный гордо поднял голову и глядел поверх любопытной толпы, которая, напирая, шептала:

«Смотрите, это Губец, мужичий король!»

Посреди площади было открытое место, оцепленное войсками бана, и там был разложен костер и установлено колесо. Когда мы туда пришли, судья выступил, поднял жезл и провозгласил:

«Слушайте все! Перед вами стоит Матия Губец, кмет из Стубицы, разбойник, злодей и бунтовщик, чья преступная рука поднялась против божеского и человеческого закона, против короля и дворян. С ним и Андрия Пасанац, его сообщник, такой же злодей, как он. Но правда восторжествовала, и свершился суд над злодеями. Пасанац будет сперва колесован, а потом ему отрубят голову. Матия же Губец, извращенная рабская душа которого дерзнула играть в короля, пусть примет и королевские почести: на раскаленном троне его венчают раскаленной короной и потом подвергнут четвертованию».

Губец побледнел, вздрогнул, стиснул зубы и посмотрел на народ. Народ заволновался, а судья бросил сломанный жезл к ногам осужденных и крикнул: «Палач! Они твои, бери их!»

Пасанац расцеловался с Губцем, стал передо мной на колени, смотря в землю, и не успел я его благословить, как палачи накинулись на него и в одно мгновение положили на колесо, на котором торчали острые шипы. Палач высоко взмахнул ломом и переломил Пасанцу кости на руках и ногах, в двух местах. При каждом ударе воздух оглашался душераздирающим криком, вырывавшимся из посиневших, дрожа-

щих губ крестьянина. Вскоре его сняли с колеса, и когда раздробленная человеческая масса упала на землю, помощник палача ухватил Пасанца за волосы, палач взмахнул мечом и показал народу окровавленную голову.

Все это время Губец, бледный и безмолвный, как камень, глядел на народ, и только при каждом крике товарища на глазах его показывались слезы.

«Отец духовный, теперь очередь за мной, – прошептал он, когда окровавленный труп рухнул на землю, – помоги мне бог! Помоги бог народу!» Палач приблизился, по Губец махнул рукой: «Отойди, я хочу помолиться. Благослови меня, отец!»

Он преклонил колени, перекрестился и сказал громким голосом:

«Боже! Поддержи и укрепи меня! Сделай так, чтоб с телом не погибла и душа. Я восстал за правду и свободу, за них и умираю. Всем прощаю... и Тахи и Грегорианцу. Благослови меня, отче!»

Я положил ему руку на голову, а у самого словно земля из-под ног уходит. «Иди с миром, сын мой, грехи твои тебе отпускаются», – сказал я.

«Аминь», – прошептал осужденный. Палач схватил его и стал сдирать с него одежду. Силой посадил его на трон из раскаленного железа. Щеки Губца покраснели, он затрясся. Палач подошел с раскаленными клещами и начал рвать кусками мясо на руках, ногах и оголенной груди. С каждым ра-

зом обнажалась кровавая рана, тело вздрагивало, лоб покрывался крупными каплями пота, а из груди вырывался глухой стоп. Наконец палач клещами вынул из огня корону из раскаленного железа.

«Эй, король, вот тебе корона!» – крикнул он и опустил ее на голову Губца. Кожа лопнула, брызнула кровь вздрогнули помертвелые губы, смертельная бледность разлилась по всему лицу; он еще раз взглянул на меня и прошептал: «Прощай, отец!» И из глаз его градом полились слезы.

Я бросился бежать. Вся кровь во мне кипела, на лбу выступил пот, и по телу пробежали мурашки. Я бежал, как пьяный, как безумный. В келье я бросился на колени, хотел молиться – и не мог. Упал на пол и плакал, плакал всю ночь до зари. О боже мой! Зачем ты дал мне дожить до этого дня, который разбил мне сердце, расстроил нервы, отравил душу; зачем ты мне дал увидеть предсмертный взгляд окровавленных очей, взгляд, который будет терзать меня до конца моих дней. Степан, слышал ли ты эту кровавую повесть? Понял ли ты весь ужас этих страшных мгновений? Слушай, трусливая ты душа! Я тебе принес привет и прощенье от мужичьего короля! Сгорай от стыда, ничтожный вельможа! Погляди на нашу несчастную родину, пересчитай опустелые пожарища, окровавленные трупы плачущих матерей и жен и, сгорая со стыда, трепещи и содрогайся. Ты всему виной, несчастный клятвопреступник, ты и твой изверг Тахи. Каждый шаг ваш в крови, над вашими головами тяготеет проклятье. На колени,

великий вельможа и великий грешник! Кайся денно и ночью, потому что грехов твоих – что песку в море, что капель в океане. Обрати свое гордое сердце к народу, залечи его раны бальзамом, постарайся быть достойным образа божьего, который ты носишь на себе. Подле тебя – ангел суший, жена твоя. Склонись под ее крыло. Кайся! Прежде чем минет год, я снова приду из своего монастырского заточения и либо отпущу тебе грехи, либо прокляну тебя навеки!

Монах ушел, а Грегорианец остался один в своей мрачной комнате, коленапреклоненный, бледный, с поникшей головой и сложенными руками. И долго так стоял он на коленях, дрожа от страха, потому что из темноты на него был устремлен предсмертный взгляд мужичьего короля.

Под горой близ Пищеца стоит высокий деревянный дом с крыльцом. Это дом Освальда. Ночь, темно, из-за черных туч едва пробивается луна. У крыльца, возле дороги, стоит вооруженный крестьянин-хорват и держит двух коней, – это Гушетич. На крыльце женщина с ребенком на руках; рядом с ней мальчик. Она склонилась к стоящему на ступеньках коренастому хорвату – Илии. В одной руке он сжимает ружье, а другой обвил стан женщины.

– Жена! Родная! – шептал Илия. – Все пропало, все. Губец погиб. Брата моего повесили в Брежицах, Тахи сжег наш дом. Я едва спас голову. Предал нас проклятый злодей Др-мачич, предал и Ножина. Здесь я не могу оставаться. Меня преследуют, надо бежать, иначе я погиб. Не о себе я беспокоюсь, а о тебе, Ката, и о наших невинных детях. Пойду по направлению к Турции. Там кипит битва! Там меня никто не знает. Как только накоплю малую толику, убегу к венецианцам. На, возьми этот кошелек с золотом. Береги его!

– Илия! Друг мой! – плакала женщина в отчаянии. – Как я, несчастная, останусь без тебя, жизнь моя? Что скажу я детям, когда они будут спрашивать об отце? Ох, останься, иначе, как бог свят, я пропала. Нет, нет, беги, беги, ради бога! Тебя могут поймать и убить... ох, зачем меня только мать родила!

– Прощай! – прошептал Илия. – Прощай! – Он поцеловал ребенка, потом взял голову старшего мальчика, прижал свои губы к его невинному лбу и, обняв жену, долго не выпускал ее из своих объятий, словно расставался с ней навеки.

– Прощай! – пробормотал он сквозь слезы. – Прощай, родная, до встречи!

– Прощай... прощай! – рыдала в темноте Ката, крепче прижимая ребенка, когда оба всадника уже скрылись во мраке.

И снова ночь. По дороге, около замка Ясеновац, спешат два пешехода – Грегориц и Гушетич. Коней они оставили в Загорье у знакомого дворянина Розалича с просьбой вернуть их штирийскому священнику, боясь, что верхом они будут слишком заметны. Идут они быстро, не говоря ни слова и зорко глядя перед собой. Из страха быть опознанными ускоками – их здесь великое множество – они обходят села, огоньки которых блестят вдалеке.

– Илия, ты голоден? – спросил Гушетич.

– Да, но стараюсь не думать об этом.

– А я не могу: и голод и жажда жгут утробу.

– Потерпи, мы недалеко от границы; там сможем досыта наесться на счет турок.

– Да, а до тех пор подохнуть тут с голоду?

– Да ты что, баба, что ли? Разве ты не знаешь, что ищут наши следы? Возьми себя в руки.

– Не могу. Я не баба, но и не птица небесная, которую бог

питает.

– Что ж ты хочешь? Попасться им в лапы?

– Нет. Слушай. Там, за лесом, есть одинокая корчма. Я ее знаю с давних времен. Про нее ходят дурные слухи, это место сборища гайдуков. Зайдем туда. Напьемся, поедим, выспимся до утра, и я опять буду в своей тарелке.

Илия немного замаялся, потом согласился.

– Идем, – сказал он, – пусть будет по-твоему, только бы не было беды.

– О какой беде ты говоришь, – и Гушетич засмеялся, – есть и пить беда, что ли?

Оба крестьянина окольными путями зашагали быстрее. Луна стояла высоко, и вдаль на фоне неба вырисовывались сухие деревья и красная точка меж стволов – огонек корчмы. Туда они и направились через поле и вскоре исчезли за деревьями.

Через каких-нибудь четверть часа к месту, откуда ушли крестьяне, подъехали всадники: один, в широкополой шляпе, был, по-видимому, офицер, рядом с ним ехал маленький человечек, надвинувший поля шляпы так, что лица его не было видно, и с ними четыре усюка. Отряд остановился посреди дороги.

– Вернемся, – сказал недовольно офицер, – что ты нас мучаешь здесь, в грязи и в снегу? Брось ты Илию, его и сам черт не выследит. Бог знает, где он. Наверно, в плену у турок. Крутимся и вертимся, идем за тобой, как медведи за

поводырем. И все зря. Вернемся.

– Нельзя, господин поручик, – запротестовал человек, – сколько мук мы претерпели, чтоб напасть на их след, и почти что настигли их у Пищеца, где живет жена Илии. Они должны были недавно здесь пройти; ведь они, дураки, теперь идут пешком. Вам хорошо известен приказ господина Турна. Мы должны их изловить. Погодите-ка, – продолжал он, спрыгивая с коня, – дайте-ка погляжу. Так и есть, два мужских следа в снегу. Это они. Тут вот повернули в поле, – и он нагнулся. – Повремените здесь немного и подержите моего коня. Я пойду по следам, чтоб посмотреть, куда они приведут.

– Иди и убирайся к черту, – пробормотал поручик, закутываясь в плащ, – а ты, Иван, подержи коня этого мошенника.

Человек, смотря себе под ноги, направился полем к лесу, а всадники, оставшись на дороге и напевая под нос песенку, глядели ему вслед. Через четверть часа маленькая фигурка снова показалась у опушки и быстро зашагала по полю.

– Ага, вот он! – сказал Иван. – Жаль, что дорогой не свернул себе шеи. Шпион!

Человек подбежал.

– Так и есть, – крикнул он, – у меня нюх хороший. Они там, в корчме за лесом.

– Ты уверен, что это они? – спросил офицер.

– Живы-живехоньки! – подтвердил человек. – Я сам видел их снаружи через окно. Идем. Но оставьте коней у леса, чтоб

негодяи по топоту не могли догадаться.

Маленький отряд поскакал к лесу. Тут они привязали коней к деревьям, и один из них остался сторожить. Вскоре они достигли корчмы.

– Окружим ее, – сказал человек.

Ускоки и офицер заняли позиции вокруг уединенного дома. Человек потащил офицера за руку и тихонько подвел его к окну.

– Поглядите-ка, господин офицер! Вон сидят за столом и едят. Усатый – это Илия. Его надо взять живым, а другой – Гушетич. Того можете и зарезать, так, между делом.

Крестьяне сидели спиной к окну. Стекло зазвенело, треснуло, и в комнату влетела пуля. Они вскочили, схватили свои ружья и прицелились из окна, перед которым стояло двое ускоков, спрятавшись за деревья.

– Кто там, черт тебя дери? – крикнул Илия и выстрелил; ускоки ответили, но холостыми зарядами. Во время этой перестрелки за спиной крестьян тихонько отворилась дверь, и офицер с ускоками, словно рыси, накинудись на них сзади. Бой был короткий. Вскоре крестьяне, связанные по рукам и ногам, лежали на грязном полу корчмы, а корчмарь преспокойно наливал вино офицеру и ускокам.

– А кто мне заплатит за вино, что выпили эти негодяи? – спросил он.

– Я, – сказал, усмехаясь, Дрмачич, который появился, как только увидел, что крестьяне связаны, – я заплачу за своего

приятеля Илию. Добрый вечер, кум, как поживаешь? Не видались с Севницы.

– Собака! – проскрежетал Илия.

– Э, брат, – и ходатай встал перед ним, – жаль мне твою драгоценную голову, но еще больше я оплакивал бы пятьсот талеров, которые мне обещал за нее господин Турн.

Он подсел к Ивану.

– Вот твоя награда! – сказал офицер, бросая шпиону кошелек, полный талеров; тот принялся считать серебряники и наконец, смеясь, сказал:

– Полных пять сотен! Точно. Большая цена за голову. Не правда ли, Иван? На вот тебе несколько скуди.

– Иуда! – пробормотал Иван, отодвигаясь от маленького ходатая. – Не прикасайся к честному человеку.

В начале 1573 года закончилась с грехом пополам ожесточенная тяжба, тянувшаяся почти десять лет и стоившая хорватскому народу столько слез и крови. Медлительное правосудие, запятнанное взятками и пристрастием, тогда только провозгласило свое решение, когда все королевство уже пылало, когда сами судьи испугались за последствия своей несправедливости. Когда из тысячи грудей, попранных злобой Тахи, вырвался вопль отчаяния, когда перед всеми разверзлась страшная бездна, когда потрясены были и закон и суд, а оскорбленное достоинство крестьянских масс попыталось уничтожить все привилегии дворянства, только тогда дворяне покинули партию Ферко Тахи. Сам он, среди всеобщего возбуждения, с ожесточенным и гневным сердцем, с разбитым телом, скованный болезнью, сидел одиноко в замке Сусед, как волк в своей берлоге. В нем кипела злоба, и в ярости он глядел с высокой башни, как весь край, до самого горизонта, был объят пламенем крестьянского гнева. И еще больше возросла в нем ярость, когда ему было объявлено баном, что суд желает, а король, под угрозой немилости, требует вернуть замок старой Хенинг, которая боролась с ним не на жизнь, а на смерть и которая смертельно оскорбила надменного аристократа, обещав выдать свою дочь за его сына, а потом отдав ее за неизвестного и неимущего дворянина.

Комиссары снова ввели Уршулу в Сусед. Вступая в замок, из которого ее выгнало беззаконие, гордая вдова высоко держала голову, а на ее губах дрожала злорадная усмешка. Тахи же сидел у своего камина с поникшей головой, уставившись в гладкий каменный пол, и от злости скрежетал зубами. Теперь два врага жили под одним кровом, два озлобленных сердца кипели в одном аду.

Только один еще раз Тахи показался на людях. 18 февраля 1573 года, через несколько дней после казни Губца, в Загребе заседал сабор королевства Далмации, Хорватии и Славонии, и в момент, когда дворяне разбушевались, на собрание вдруг приплелся на костылях, поддерживаемый своим сыном, седоволосый, сморщенный старик с пожелтевшим, поблекшим лицом. Это был Тахи. Шум сразу смолк, и по собранию пробежал шепот. Старик остановился перед стоявшим на возвышении креслом бана Драшковича. Бан, поглаживая бороду, сердито устремил на Тахи свои колючие глаза. Подняв кверху худую правую руку, Тахи заговорил дрожащим голосом:

– Вельможный, достопочтеннейший господин бан! Благородные сословия и чины! Перед вами стоит изнемогающий, слабый старик, который обращается к вам как к верховному судилищу этой страны и ищет у вас правосудия. Я достоин вашей защиты, потому что верой и правдой служил трем королям, потому что моя рука изнемогла, рубя саблями врагов родины. Вспомните все лютые схватки, и вы увиди-

те, что в каждой из них Тахи проливал свою кровь. Теперь я уж только старое, высохшее дерево. Мое единственное желание – мирно провести последние дни моей бурной жизни под своим кровом и умереть спокойно. Но враги не хотят этого. Они подняли топор на меня, на сухой, истлевающий пень. Мне трудно много говорить. Да и вам известно, о чем я прошу. Когда злобствующие люди возбудили против меня ярость крестьян, комиссары силой ввели госпожу Уршулу Хенинг во владение половиной моего имения. Я повторяю – моего имения, потому что я купил его за свои деньги. Это несправедливость, вопиющая несправедливость! Мало того что меня грабили, жгли и штрафовали, что мне угрожала смерть, – приходится еще с ними делиться. Я повторяю, что это несправедливо, – и старик в гневе закачал головой, – я не признаю комиссаров, я признаю только ваш высокий суд. Будьте справедливы, верните мне то, что мне принадлежит. Я протестую против насилия, хотя бы и королевского!

И, подняв голову, старик посмотрел на бана мутными глазами.

– Именитые господа, – крикнул гневно Степко Грегорианец, который до сих пор сидел в углу с опущенной головой, а теперь вскочил, – именитые господа! Я должен выразить протест от имени своей тещи, госпожи Уршулы Хенинг. Как? До каких же пор это будет продолжаться? Неужели суд и закон ничего не значат в нашей стране? Неужели разбойнику разрешается грабить чужое добро? Неужели не довольно бы-

ло крови и несчастий? Неужели вы хотите, чтоб стало еще хуже? Суд постановил, король утвердил, комиссары исполнили. Кто же смеет противиться королю? Именья Сусед и Стубица – родовое владение семьи Хенинг, а чужая кукушка залезла в мирное гнездо и завладела им самым наглым образом. Этот человек немилосердно угнетал и душил целый край, так что от воплей народа небо содрогалось. Вы были свидетелями кровавых событий, вы знаете, что гнев крестьян грозил уничтожить права дворянства. А кто виноват, кто? Тахи! Да, он! И теперь, когда столько народа погибло в братоубийственных боях, когда половина нашей земли превратилась в пустыню, залитую кровью, когда дремавшее правосудие наконец пробудилось после стольких бедствий, теперь этот человек – источник всех несчастий – предъявляет свои претензии. Где у него совесть? Где его честь? Позор! Грех! Теперь, когда комиссары поступают по закону, он их не признает, а когда они действовали противозаконно и передали ему все имение, он их небось признавал! И как он дерзает еще переступить порог этого высокого собрания? Как смеет становиться перед баном? Где же его честь?

– Остановись, – крикнул, дрожа, Тахи, оскалив зубы и сверкая глазами, как тигр, – обуздай ядовитое жало твоего языка. Кто подстрекал крестьян, кто их совращал? Ты! Я не к тебе обращаюсь, я обращаюсь ко всем дворянам в защиту своего права, которое король подтвердил собственноручной подписью. А ты лучше исправь-ка свои собственные грехи и

верни брату Бальтазару его часть, которую ты украл, пользуясь его слабоумием! Да, украл ты, его брат и опекун.

– Тахи лжет, лжет, – закричал в ярости Степко, грозя кулаками. – Я заложил имение брата, чтобы поправить наши дела...

– Господа, – кричал Тахи, – я протестую против насилия, признайте мое право! Признайте!

Старик окинул взглядом все собрание, которое в молчании слушало ссору двоих разъяренных людей.

– Признайте мое право! – хрипел старик.

Но те самые дворяне, которые прежде по одному взгляду Тахи принимались кричать, как безумные, для которых он был и царь и бог, эти самые дворяне теперь сохраняли гробовое молчание. У старика похолодело на сердце, и он опустил голову. Тогда раздался голос бана:

– Господин Тахи! Король и суд высказались, и так и будет. Кроме того, король поручил мне передать вам следующее: пусть госпожа Хенинг вернет вам деньги, которые вы заплатили Баторию, а вы должны будете покинуть Сусед. Таков совет короля, да и мой также!

– Никогда! – закричал Тахи и резким движением поднял голову. – Никогда, даже по приказу короля. Умру в Суседе, слышите ли? Пойдем, сын мой, пойдем. Тут нам делать нечего, здесь нет правды. Пойдем, чтоб не видеть этих ядовитых змей.

Опираясь на сына, Тахи медленно покидал молчаливое

собрание, но когда он дошел до двери, из тишины, словно из могилы, раздался голос господина Вурновича:

– Это тебе за Амброза Грегорианца!

Тахи вздрогнул, как ужаленный, и бессильно склонился на руки своего сына.

– Что же сказал бан? – нетерпеливо спросила Уршула Степко, только что вернувшегося из Загреба в Сусед.

– Тахи не согласен, – ответил недовольно вельможа. Теща его сидела у окна, а верная служанка Лоличиха расчесывала ей волосы. – Бан от своего имени предложил ему получить все деньги, которые он заплатил Баторию, с тем чтоб он выехал отсюда. Но Тахи отказался, несмотря на то, что его сломила ужасная болезнь.

– Я должна от него избавиться во что бы то ни стало, – ответила сердито Уршула. – Если б только знать...

– Госпожа, – прошептала Лоличиха, – вы помните, что я вам говорила о своей мести, которую так ловко придумал мой Дрмачич?

– Слишком уж гадко, – и Уршула махнула рукой.

– Предоставьте это мне, – усмехнулась Лоличиха, – мшуту я. Для вас будет лучше. Безумная девушка, которую люди нашли на дороге, живет в замке. Должна же я отомстить за тяжкие оскорбления. Я хорошо рассмотрела портрет и все приготовила. Дайте мне это сделать. Прошу вас, – сказала, наклоняясь, женщина, на лице которой были еще видны следы былой красоты.

– Посмотрим, что скажет Степко, – проговорила вдова и, нагнув голову к зятю, прошептала ему на ухо несколько слов.

Глаза Степко сверкнули.

– Чудесно, – воскликнул вельможа, вскакивая на ноги, – конечно, я согласен.

– Хорошо, – обратилась Уршула к Лоличихе, – делай что хочешь. Я умываю руки.

Служанка, смеясь, кивнула головой и вышла из комнаты.

4 августа 1573 года стояла чудная, ясная ночь. Лунный свет волшебным образом трепетал на зеленых вершинах лесов и на серебристых изгибах Савы. Далеко на горизонте, на фоне ясного неба вырисовывалась черная гора. Сказочный чудесный мир царил над землей, и разнообразные цветы разливали повсюду свое благоухание. Было уже поздно, все спали сладким сном. Только один человек не спал: Ферко Тахи. Сквозь сетку блестящего зеленого плюща серебристый лунный свет проникал в высокое окно того крыла замка, которое он занимал. Свет причудливо играл на оконных стеклах, на гладком каменном полу комнаты, на котором узорами лежала черная тень плюща; он играл и на бородатом лице седого старика, лежавшего в постели, и освещал в полумраке оружие, висевшее на стене у изголовья. Тахи был один. Мускулы его пожелтевшего лица изредка вздрагивали, в мутных глазах, освещенных луной, отражалось страдание. Сложив руки на груди, он то глубоко вздыхал, то сжимал губы и морщил лоб. Он весь скрюченный. Подагра ползает по его костям, словно змея, и так жалит, что можно с ума сойти. Он лежит и мол-

чит, терпит и смотрит в светлую ночь, смотрит на старинный портрет. И кажется ему, что портрет улыбается и показывает пальцем в темный угол, где скорчилось бледное, окровавленное существо с раскаленной короной на голове.

Тихо. Вдруг скрипнула дверь... послышался шорох.

Тахи приподнял голову. У дверей показалась какая-то темная, неясная фигура. Вот она задвигалась. Тахи закрыл глаза, потом снова открыл их, и по телу его пробежала легкая дрожь. Кровь забилась в его жилах, казалось, что череп треснет, мороз пробежал по коже. Послышались шаги, и темная фигура стала приближаться. Тахи от ужаса разинул рот. Вот... вот... Еще мгновение, и фигура вышла из темноты в полосу лунного света, который озарил ее лицо. Это была женщина в черном одеянии; в черных волосах ее блестела золотая корона, на шее переливался белый жемчуг. Худое лицо ее было бледно-серое, словно она вышла из могилы. Ее полуоткрытые губы тоже бледны; на них играет болезненная улыбка. Черные глаза изредка поблескивают, точно болотные огни. Она медленно движется вперед, слегка нагнув голову и растопырив тонкие пальцы, все ближе и ближе.

– Иисусе! – прохрипел Тахи, быстро приподнимаясь. – Привидение! Кто ты?... Кто ты? Дора?... Яна?

У него на лбу выступил холодный пот, глаза готовы выскочить из орбит.

Женщина словно пробудилась от сна, взглянула на портрет, заметила Тахи и вскрикнула, как грешная душа в аду:

– Я... я... Ха! ха! ха! Я... Дора и Яна... А ты... ты Тахи... Ох! Тахи... тот, что погубил мою жизнь... Тут... это было тут... Ха! ха! ха! Радуйся, Дора Арландова!

Сумасшедшая выпрямилась, темные зрачки ее расширились и горели огнем безумия, поблекшее, лишенное мысли лицо судорожно подергивалось, а белые пальцы в лунном свете казались когтями дикого зверя. И она стремглав бросилась на Тахи.

– Дай мне твое сердце, я хочу его съесть: верни мне жизнь, я хочу проснуться! Дай! Дай! Дай! – кричала Яна и громко хохотала.

Тахи собрал все свои силы. Опершись на подушки, он в отчаянии потянулся за ружьем, висевшим на стене. Уж близко, он его достанет... вот... вот...

– Ой! – заорал он от боли и упал на постель. Силы ему изменили. Над его лицом склонилась женщина, на него уставились горящие глаза, ему угрожали острые ногти. Глухое хрипение вырывалось из его груди. Он съежился, скорчился. Женщина взвизгнула, и ледяные пальцы ее коснулись его шеи. Он захрипел, вздрогнул – и затих – мертвый. Холодный пот дрожал еще на лбу мертвеца, а Яна прыгала в лунном свете и кричала:

– Возьми его, Дора Арландова! Вот он!

И так, продолжая прыгать, безумная вскочила на подоконник и через мгновение исчезла. В ночной тишине раздался страшный крик.

Наутро нашли в постели мертвого Тахи, а под окном труп безумной Яны в одеянии Доры Арландовой.

Так отомстила Лоличиха.

Хорватский народ побежден, словенский – задушен; погашен огонек человеческого сознания, которое из-под ярма тысячелетнего обмана, из-под кровавого меча простирало руки к небу, умоляя бога вспомнить о своих самых несчастных детях, того сознания, которое поднялось во весь свой богатырский рост, чтоб железным кулаком уничтожить вековые предрассудки. Но слишком рано распустился этот цветок. Мороз уничтожил первые ростки свободы, которая в несколько дней исчезла, как сон, оставив за собой лишь кровавый след действительности. Крестьяне поднялись и пали: поднялись – как люди, пали – как герои; и они должны были пасть, потому что против тех двух-трех полосок хорватской и словенской земли по Саве и Сутле, где люди дерзнули громко объявить, что все сыны Адама равны, двинулись войска и дворяне целого королевства. Гнев господ был страшен, месть их ужасна. В Загребе, Целе и Любляне тюрьмы были переполнены крестьянами; там «во имя святого правосудия» человеческая злоба обрекла их на кровавые муки, чтобы выведать у них все их тайны, но из дрожащих губ единодушно вырывался один лишь крик: «Мы хотели стать людьми, мы хотели быть свободными!»

Павлу Штерцу снесли голову в тюрьме Целе; в темнице загребского епископа томились Позебец и Лепоич. Позебец

погиб на плахе, а Лепоица спасла его трусость, потому что у Стубицы он первый покинул крестьянское войско. Император его помиловал по просьбе Джуро Драшковича. Илию Грегорица и Гушетича привезли в Загреб, туда, где скорая рука банского суда навеки заткнула рот Губцу, чтоб не вышли наружу все зверства аристократов. Но Илию ожидало иное. Император приказал, чтоб он и его товарищ предстали перед венским судом. Здесь дворяне немцы подвергали несчастных хорватских крестьян многим пыткам, но в ответ слышали они те же слова:

«Мы хотели стать людьми, мы хотели быть свободными!»

И когда черным по белому были записаны все зверства аристократов, когда неподкупная рука, которая пишет судьбу мира, запечатлела на лбу у господ вечное клеймо, тогда Илию и его товарища с раздробленными, по приказанию императорского суда, костями, в оковах, отправили обратно в Загреб.

Прошел год после смерти Тахи. Гушетич умер от последствий пыток. Но Илия остался жив и стал последней жертвой крестьянского восстания: голова его скатилась на площади Святого Марка от руки палача, потому что более мучительная казнь была запрещена императором, да и совесть господ, пробудившаяся наконец после кровавой расправы, этого не позволяла.

Не напрасно пролилась кровь крестьян, – дворянин почувствовал силу их кулака, и мучения крестьян несколько

уменьшились.

Оставалась еще небольшая горсточка, стонавшая в люблянской тюрьме, хорватские крестьяне Бистрич, Сврач, Дрводелич, Бартолич, Туркович и ускок Марко Ножица, которого поймал Йошко Турн. В ночь перед смертной казнью Ножица сказал своим товарищам:

– Братья! Завтра нас повесят. Мы погибнем позорной смертью. Уж лучше умрем сегодня, но умрем храбро. На свою жизнь мне наплевать, но я человек честный, я обещал Илии позаботиться о его жене и детях. Это-то меня и тревожит, и я не мог бы умереть спокойно. Стража невелика, а один из караульных – наш человек; ночью он угостит остальных вином. Вырвемся, а там посмотрим, что нам пошлет бог и наше удалое счастье.

– Вырвемся, Марко!

И рано утром нашли выломанные двери, разбитые окопы, а на земле связанного стражника. Хорваты благополучно скрылись, к ужасу краньских господ, которым досталось от эрцгерцога Карла за пьяную стражу.

В конце концов и спор о Суседе, источнике кровавого восстания, окончился. Уршула договорилась с сыном изверга, выплатила Гавро Тахи, банскому судье, сорок тысяч флоринов и вступила во владение всем имением.

В Кланце храмовой праздник. Пестрая толпа штирийских крестьян снует взад и вперед, торгует, пьет, кричит и шутит. Восстание давно минуло, и никто его не вспоминает. Больше всего народа столпилось вокруг слепого ускока в рваной одежде. Смуглый, бородатый человек спокойно сидит на земле; водя смычком по дребезжащим гусям, он хриплым голосом поет героические песни о том, как погиб Никола Зринский и прославился Янко Сибинянин. Странно звучала песня, странно качал головой слепой, гусли дребезжали, а в шапку сыпались деньги.

– Когда-то я видел этого человека, – сказал маленький, одетый по-крестьянски, рыжеватый человечек, обращаясь к стоявшему в кругу перед слепым соседу, – но где, не могу вспомнить, да и не могу как следует его разглядеть из-за его бороды. Ах да, знаю, только тогда он не был слепой. Ну, прощай, кум! Всенощная отошла, и мне пора идти. До моего села довольно далеко, тропинка идет в гору, а меня ждет жена.

– Эх, что за шутки, сосед, жена ждет! Слава богу, ведь уж три года прошло, как ты взял ее из служанок госпожи Хенинг, да и тогда она уже была вдовой. Вы уж, наверно, поостыли. Да и ты парень, выдавший виды.

– Молчи, – сказал человечек, – было, да сплыло. У меня дом в порядке. С небольшими деньгами, пятьсот талеров,

я обзавелся хозяйством, и теперь, слава богу, я независим. Прощай!

При первых словах человекка слепой слегка вздрогнул, смычок зазвучал тише, и он наклонил голову в его сторону. Вдруг он засунул смычок за струны, подобрал шапку и сказал, обращаясь к народу:

– Спасибо, братцы, за сердечное подаяние, и да не лишит вас господь никогда зрения. Спокойной ночи!

Слепой пробрался сквозь толпу и, постукивая перед собой палкой, направился в сторону гор.

Уже порядочно стемнело, когда маленький рыжий человек, шедший быстрым шагом, добрался до верха узенькой горной тропинки, с правой стороны которой подымался густой лес, а слева зияла глубокая пропасть. Взойдя на гору, он заметил расположившегося под дубом человека и, присмотревшись, увидел, что это был слепой. При виде давно знакомого лица ускока он испугался, но, вспомнив, что тот слеп, быстро оправился и заспешил, чтоб миновать его и спуститься с горы.

– Стой! – закричал вдруг ускок.

От звука знакомого голоса человек в крестьянской одежде передернулся и неохотно остановился. Хотел было продолжать путь, но ускок забежал вперед и устоялся на него дикими, но совершенно зрячими глазами.

– Здорово, Шиме Дрмачич! Очень рад опять встретиться с тобой после стольких лет. Долго я тебя искал и вот, слава

богу, нашел. Узнаешь меня, кум? – сказал ускок, хлопая того по плечу.

Рыжий человечек молчал и, побледнев, глядел себе под ноги.

– Не узнаешь? – крикнул ускок. – Ну и плохая ж у тебя память. Я тебе помогу. Помнишь ли ускока Марко Ножину, а?

– Помню, – прошептал дрожащий Шиме.

– Очень приятно, что память тебе не изменила, – продолжал как бы шутливо Марко. – Иди-ка сюда, присядь рядом со мной, я должен тебе сказать два слова, – и, схватив Дрмачича за руку, он потащил его к дубу, усадил рядом с собой, а потом спокойно сказал: – Ты, верно, не забыл, как крестьяне на Саве поднялись на господ. Ты был там, и я также. Последний раз мы виделись в Видеме, не так ли? Я понес письмо к ускокам, чтоб их поднять. Все шло хорошо, и братья должны были примкнуть, но однажды на заре, когда я вышел на порог своего дома, меня схватили солдаты, заковали и отвели в люблинскую тюрьму. Кто-то меня предал. Один из сопровождавших меня стражников был мне знаком, и он сказал, что какой-то щуплый человек был у подполковника в Костаневице. По описанию я понял, что это был ты. Так ли это?

Дрмачич молчал.

– Это ты был? – крикнул Ножина, выхватив из за пазухи пистолет.

– Да, – прошептал Дрмачич, опуская голову.

– Э, видишь, я угадал. Слушай дальше. В люблянской яме я сидел на черством хлебе и воде, как собака. Ничего не знал о том, какова судьба братьев. Однажды привели целую толпу крестьян в оковах, и от них я узнал, что Турн разбил Купинича у Кршко, а Дрводелич сказал, что здесь была измена. Слышишь, измена. Тогда начались для нас еще худшие мученья. Каждый день нас водили на допрос, растягивали нам на дыбе руки и ноги, стискивали их железными клещами, – вот, погляди, остались следы на руке! И должны были нас повесить. О себе я мало беспокоился. Но я знал, что мой названный брат Илия побежден и схвачен. Моя жена и дети нашли приют у родных, но у семьи Илии его не было. Мне стало их жаль. И я решил вырваться. Счастье улыбнулось нам. Вырвались и убежали. Я отделился от других и блуждал по горам и лесам, как горный волк, искал семью Илии. Тогда-то в одной корчме в горах я узнал, что ты в Шанине возбудил против нас народ и выдал в руки господ Павла Штерца, а потом, здесь уже, узнал, что измену под Кршко приписал мне. Говори, так это было или нет? – крикнул Марко с горящими глазами, наводя на ходатая пистолет.

– Так, – прошептал перепуганный Шиме.

– Видишь, я говорю правду. Днем я спал в кустах, а по ночам разыскивал детей Илии. Пришел к дому Освальда в Пищец. Освальда господу прогнали за то, что он приютил детей бунтовщика. Ката умерла, дети нищенствовали. Я их подобрал и отвел к дворянину Миличу, в горы близ Окича. Я ко-

гда-то освободил его из турецкого плена и попросил, чтобы в благодарность за это он принял детей Илии. И, слава богу, он их принял. Хотелось мне еще раз взглянуть на своих. Я пошел в наши горы. Пришел в село ночью. Увидел, что их дядя, поп, хорошо о них заботится. Расцеловал я их. Ох!., никогда их так не целовал. И вот этот-то дядя, поп, сообщил мне, как Иван Ковачевич рассказывал ему, что Грегори́ча поймали у Ясеновца и что какой-то Дрмачич получил за это пятьсот талеров. Так ли это, говори! – крикнул ускок, оскалив зубы и наводя пистолет на грудь Шиме.

– Да... да... – пробормотал тот, дрожа как в лихорадке.

– Видишь, кум, – и ускок вскочил на ноги, – ты сам виноват, что я еще и теперь жив. Не будь тебя, я бы предал себя суду и мне бы снесли голову. Нет, сказал я себе, Марко, надо найти кума Шиме. Но как? Показываться открыто нельзя, так как осужден на виселицу. Вот тогда я и придумал: отпустил себе бороду так, чтобы она покрыла мне все лицо, закрыл глаза, как будто я слепой, взял дубовые гусли и стал петь по ярмаркам и на храмовых праздниках. Кто станет обращать внимание на бедного слепого в лохмотьях, кто его узнает? Да и восстание давно прошло! Так ходил я, играя на гуслиях, из края в край, из села в село, чтоб отыскать тебя, слышишь ли, тебя!

Ускок замолчал. Луна стояла высоко над противоположной горой, и лучи ее причудливо освещали его темные глаза и лицо, но еще причудливее играли на бледных щеках Др-

мачича, который сидел, скорчившись, под дубом.

– Узнал я, что ты живешь в этих местах, что ты стал богатым крестьянином, женат. Захотел наслаждаться мирной жизнью, так, что ли? На кровавые денежки? Ну, и пришел я сюда. И сегодня в толпе услышал твой голос; смотрю – узнал, и вот поджидаю тебя, кум, для расчета.

Вперив глаза в Дрмачича, ускок едва дышал.

– Ну, кум, что скажешь? – усмехнулся Марко.

– Я дам тебе сто талеров! Отпусти меня! – прошептал Дрмачич.

– Мало.

– Дам двести.

– Мало.

– Половину своего имущества, – сказал дрожащий Шиме.

– Мало, мало, – загремел ускок, – да если ты мне целое царство дашь, и то будет мало. Голову дай, душу свою дай, скотина, за все слезы, за всю кровь, которая пролилась из-за твоего предательства. Голову свою дай! – проскрипел ускок и, подняв Дрмачича за шиворот, подвел его к краю пропасти, на дне которой в ночном молчании шумел горный поток.

– Загляни туда. Скала отвесная. До дна метров пятьдесят. А внизу вода и камни. Хороша постелька, а? И меня что-то клонит ко сну! Мой названный брат погиб, а я остался, как загнанный зверь, как сухая ветка, отрубленная от родного ствола. Мне хочется покоя. Прыгаю я хорошо, да и у тебя ноги легкие. А, ты как думаешь?

У Дрмачича на лбу выступил холодный пот, губы его дрожали, он озирался по сторонам, как бы ища выхода. Он попятился, уперся левой ногой в землю, но в эту минуту ускорился, поднял голову, быстро взмахнул руками, обвил их вокруг маленького человечка железным объятием, и оба стремглав полетели в пропасть. Воздух огласился отчаянным криком, эхо громко отозвалось в лесной чаще – потом все стихло. И только внизу шумел горный поток и пел похоронную песню, да луна над горой озаряла кровавые волны потока.

Как пестрая, златокрылая бабочка, впорхнула весна. В молодом лесу, из-под мягкого мха, бегут в долину серебристые ручьи, стыдливо высовываются благовонные головки цветов, веселые стаи птиц порхают с изгороди на изгородь, с куста на куст, на горах зеленеет полный жизни лес, приветливые золотые лучи солнца ласково играют на вершинах старых дубов и заглядывают в свежую зелень ветвей. У подножия горы Окич, на холме, уединенно стоит старый деревянный дом дворянина Милича. По всему строению, до самой крыши, ползет зеленая листва и алеют бесчисленные маленькие розы. На старой, почерневшей крыше, покрытой мхом, торчит громоотвод. Из-под карниза выпархивает ласточка, любопытно поглядывая во все стороны; множество золотистых пчел летает с розы на розу, садится на старые липы перед домом и на белые и розовые цветы плодовых деревьев, рядами спускающихся по холму вокруг дома. У подножья холма, под крутой крышей, стоит колодец, овитый густым плющом. Всюду царит чистота и порядок, все полно какой-то неизъяснимой прелести. Душа радуется, заглядывая в маленькие окна дома, на которых трепещет солнечный свет и в которых виднеются белые занавески, и кажется, что даже стройные тополя вокруг усадьбы, купающиеся в золотистых лучах солнца, весело трепещут и приветливо склоняют свои вет-

ви к дому. Был тихий, ясный вечер. Лес синел, небо рдело. На каменной скамье перед домом сидел крепкий, пожилой человек с живыми глазами; к нему прижималась красивая женщина средних лет, ласково глядя на двух стройных юношей, сидевших перед ней на земле, и на молодого, красивого священника, который стоял перед ней с опущенной головой. Старик закрыл большую книгу, лежавшую у него на коленях, и обратился к священнику:

– Сын мой! Я прочел тебе о бурных событиях кровавого крестьянского восстания. Я их записал собственноручно со слов очевидцев; сам я не был свидетелем этого бедствия. Когда вспыхнуло восстание, я с женой удалился в этот горный уголок, чтоб не обогреть рук невинной кровью крестьян. В этой книге упоминается и имя твоего отца, Илии Грегориша, который погиб на плахе. Не плачь – это был честный человек. А прочитал я это тебе сейчас, потому что ты свободный человек, потому что ты достойный и умный слуга божий, и чтоб ты знал, как все произошло и чего люди добивались. Не плачь; с того дня, как ускок привел вас, троих детей, я был вам вместо отца, а жена моя – вместо матери. Твои братья стали честными, счастливыми крестьянами, вольными людьми; я им подарил дом и землю возле своего поместья. Ты же захотел стать священником, чтоб всю жизнь молиться о душе своих родителей. Это похвально, но этого мало. Ты несешь светоч истины, над твоей головой витает благодать святого духа, твои уста произносят мудрые слова

закона любви, который нас учит, что все люди братья перед лицом бога. Иди же в народ, из которого ты сам вышел, позаботься о нем, как добрый самаритянин, коснись ангельскими крылами души этого запущенного цветка, покажи всю его красоту, и пусть его благоухание разольется по всему миру, постарайся, чтоб роса божьей любви, человеческой кротости и добродетели проникла в сердце нашего народа. Если кора у него и жесткая и ветви негибкие, если он и усеян колючками, то по природе своей он не таков. Твой отец погиб, погибли и сотни других, но на крови их выросли новые ростки. Уж и теперь гнет тирании ослабевает, но настанет день, когда после долгих, тягостных лет бог исправит все, что люди сделали нехорошего, и когда крестьянин поднимет свою голову так же гордо, как дворянин. Твой отец, как сквозь сон, предчувствовал новые времена и мечтал дожить до них. Но было еще не время. А теперь ты пойдешь и пламенной молитвой и силой любви подготовляешь путь этим новым временам. Вы же, дети мои, – обратился дворянин к своим сыновьям, – не забывайте, что вы люди, что все люди братья, что лишь тот настоящий дворянин, в ком бьется благородное сердце, помните, что заслуги дедов не могут служить оправданием порокам внуков. Будьте кроткими и добрыми. Не долог путь от колыбели до могилы, а праведный путь один как для дворянина, так и для кмета, и в раю и царь и нищий сядут рядом у божьего престола. Любите народ, как я его любил!

На глазах молодого священника заблестели слезы, он стал

на колени, обнял старика и поцеловал руку его жене.

– Да, клянусь вам, – воскликнул он, прикладывая руку к сердцу, – что я буду апостолом мира и любви, буду сеять в сердцах людей золотое семя братства, чтоб пошли они по стопам Авеля, чтоб ни богатый, ни бедный не могли стать Каином, и до последнего издыхания буду молиться о счастье вашем и вашей семьи.

Молодые дворяне вскочили, обняли священника и воскликнули:

– Обними и нас, брат, и благослови!

А у госпожи Софии блеснули на глазах слезы.

Вечер был тих, заходящее солнце ласково озаряло этот дом и этих людей; все было спокойно, в воздухе разливалось лишь благоухание цветов. В это время вблизи, на дереве, каркнул ворон, но один из молодых людей выхватил из-за пояса пистолет, прицелился, выстрелил, и черная птица упала мертвая на землю. Теперь ночную тишину оглашала лишь песнь соловья, который в роще пел золотым звездам в небе.

Посреди Стубицы стоит старая церковь. Под ее сводами, с левой стороны, лежит большая каменная плита. Чья-то могила. На камне изображен крупный человек в латах. Длинная борода, длинные усы, густая шапка волос, толстые губы, толстый нос. Надпись гласит, что здесь лежит Ферко Тахи и супруга его, Елена. Именитый человек! Так по крайней мере гласит камень. В течение трех царствований он прославлял свое имя, сражаясь за Венгрию, гласит камень. А народ он угнетал. Он был достойный, благородный и счастливый человек, гласит камень. Ох, не дай бог никому такого счастья! Когда на горную Долину спускается ночь, кости в могиле шевелятся, и Из-под плиты выходит призрак человека в латах и бежит вон из церкви – довольно стонал он в течение дня под тяжестью камня, да еще в доме божьем, где ему не место; Довольно топтали его крестьянские ноги, довольно наслушался он органа, гремевшего, как труба на Страшном суде. Если бы мог он стереть свое имя с камня, чтоб люди его позабыли. Но нет! Пусть это проклятое имя живет до Страшного суда, пусть смеется этот камень смехом дьявольского издевательства над славой, добродетелью и честью. И призрак бежит из церкви в ночную темноту. Но, о ужас! Ноги его спотыкаются о каждую кочку, к стопам прилипает пропитанная крестьянскими слезами земля. Он садится на камень перед церковью

и плачет, плачет целую ночь. Вон восток уж побледнел, на вершинах заиграла заря. Призрак еще раз поднимает голову, чтоб посмотреть на гору над местечком, полюбоваться своим гордым замком. Его охватывает ужас. Каменного замка больше нет. Там, на вершине, где некогда гордо развевалось знамя господина Тахи, там теперь за плугом идет крестьянин, весело распевая утреннюю песню. Призрак вздрагивает и снова скрывается в могилу под проклятый камень, а вольная песня льется далеко и широко по зеленым лесам, там, где разливается яркий багрянец утренней зари, где в небе расцветают розы мученической крови хорватского и словенского народов, попранных на заре золотой свободы надменной злобой господ. Расцветай, алая роза, священный цветок, над могилой подневольных людей, поднявших меч в защиту справедливых законов природы; цветы, потому что родился новый день, и чистая роса падает в душу народа, роса братской любви и кротости. А ты, хорватский добрый молодец, сорви тот цветок, приколи его к шапке и гордо неси его сквозь века на виду у всех народов.

Пояснительный словарь

Аман – здесь: пощади.

Вигилии – ночные службы в монастыре накануне религиозных праздников.

Вила – мифическое существо, лесная фея, русалка.

Влах – здесь: беженец из османских владений, поступивший в австрийскую армию.

Доломан – род мужского кафтана, отороченный гайтаном.

Жупан – глава крупной административной единицы – жупы, или жупании.

Жупник – приходской католический священник.

Кабаница – род плаща-накидки.

Колпак – меховая шапка с шелковым верхом.

Кастелян – управляющий имением, комендант крепости или замка; подкастелян – помощник кастеляна.

Кмет – здесь: крепостной крестьянин.

Коло – массовый народный танец.

Литерат – искусный в письме человек, знающий латынь.

Лумбарда – старинная пушка.

Мартолоз – здесь: солдат турецких вспомогательных войск, набравшихся из местных жителей-христиан.

Надзорник – чиновник бана, надзиравший за правильностью отправления правосудия.

Нотарий – чиновник банской канцелярии, писец.

Окка – старинная мера веса, 1283 гр.

Опанки – крестьянская обувь из сыромятной кожи.

Оплечак – короткая женская рубаха с вышивкой на груди.

Парта – украшение на голове, которое носят преимущественно девушки.

Рало – мера земли, равная 0,57 га.

Сурина – крестьянский кафтан из грубого серого сукна.

Фратер – католический монах-францисканец.

Харамия – здесь: солдат в войсках бана, формировавшихся частично за счет беженцев из краев, которые находились под властью османов.

Челенка – серебряное или золотое перо, прикреплявшееся к головному убору как награда за отвагу.

Экскактор – королевский чиновник по сбору податей.